This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Acquired through the

HOOVER INSTITUTION

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Библіотека Общественнаго Собранія
5-го
Финляндскаго
Стрѣлковаго полка.

Chirikov, E. N.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

Евгеній Чириковъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

РАЗСКАЗЫ.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

Цѣна 1 руб.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія „Энергія“, Загородный просп., 17.
1903.

PG 3460
C5
1903
v.3

Оглавленіе.

	стр.
Танино счастье	1
Въ лощинѣ межъ горъ	60
Какъ это случилось	121
Фаустъ	142
Именинница	168
Лунная ночь	237
Лошадка	255
Предатель	269
Обостренныя отношенія	281
Одуванчикъ	291

ТАНИНО СЧАСТЬЕ.

I.

Никифоръ нашелъ себѣ, наконецъ, мѣсто: онъ поступилъ банщикомъ въ торговыя бани купца Вавилова. Когда у него взяли паспортъ, онъ почувствовалъ, что „теперь дѣло ужъ крѣпко“, и довольная улыбка озарила его красивое лицо съ темной бородкой и съ такими ясными синими глазами, какіе бываютъ у нарядныхъ и дорогихъ дѣтскихъ куколъ. Онъ тряхнулъ головой, покрытой темной шапкой завившихся по концамъ въ кольца волосъ, и показалъ такіе бѣлые и свѣжіе зубы, словно онъ никогда еще не ѣлъ ими. Въ конторѣ Никифору выдали по двѣ смѣны красныхъ рубахъ и бѣлыхъ штановъ, два пояска, пестрые, съ вытканными на нихъ пословицами „безъ Бога ни до порога“, старые опорки и мѣдный гребень съ рѣдкими зубьями для ношенія на бедрѣ на тесемочкѣ, какъ это полагалось всѣмъ банщикамъ въ баняхъ Вавилова. Потомъ ему велѣли снять лоснящійся отъ грязи полушубокъ, съ дырами, чрезъ которыя выглядывалъ пожелтѣвшій овечій мѣхъ, размохрившіеся лапти съ онучами и, оставивъ все это на отведенной ему тутъ же, при баняхъ, квартирѣ, идти въ общее дворянское отдѣленіе за 10 к., хорошенько вымыться и надѣть выданную ему форму.

Квартира помѣщалась въ концѣ полутемнаго коридора нижняго этажа, гдѣ было мрачно, пахло вѣниками, плѣсенью и мыломъ, и всегда пѣли на разные тоны сверчки. Эта была крошечная комнатка, съ окномъ въ формѣ растянутаго прямоугольника подъ самымъ потолкомъ, и оттого, что окно это пропускало очень мало свѣта и было затянуто переплетомъ желѣзной рѣшетки, — комната напоминала тюрьму. Въ одномъ углу ея были свалены безпорядочной кучей вѣники и они страшно шумѣли сухими листьями, когда ихъ задѣвали; въ другомъ углу стоялъ некрашеный липовый столикъ съ табуреткой, а въ двухъ остальныхъ— нары: одна была пустая, гладкая и лоснящаяся, словно ее натерли воскомъ, а другая—покрыта сѣрымъ колючимъ байковымъ одѣяломъ съ красными поперечинами и забросана старымъ пальто, съ прорванными петлями и вытертымъ плисовымъ воротникомъ, жиденькой подушкой въ цвѣтной ситцевой наволочкѣ и еще разнымъ хламомъ изъ разныхъ видовъ мужской одежды. Пустая нара и должна была поступить въ распоряженіе Никифора.

— Свѣтится,—сказалъ онъ про эту нару, — видно, что достаточно на ней поелозили!..

И сталъ располагаться на новосельи. Снялъ свой полушубокъ и накрылъ имъ нару мѣхомъ вверхъ; пещеръ со своимъ движимымъ имуществомъ повѣсилъ на стѣну, на гвоздикъ, а лапти съ онучами снялъ и пихнулъ ногой подъ нару. Потомъ онъ сѣлъ на овечій мѣхъ и почувствовалъ себя очень хорошо... Лѣниво почесываясь, онъ прислушивался къ нестройному банному шуму. Сюда доносился глухой и отдаленный звонъ мѣдныхъ тазовъ, шумъ воды, стремительно вырывающейся изъ открываемыхъ кранов, гулъ безчисленныхъ визгливыхъ голосовъ изъ простонароднаго общаго женскаго отдѣленія... Все это сливалось въ пестрый, немолчный, какой-то странный хаосъ звуковъ, и казалось,

что весь этотъ большой каменный двухъэтажный домъ былъ пропитанъ какой-то безтолковой сутолокой, шумливой, кружащейся вихремъ...

— Весело у васъ!—замѣтилъ Никифоръ вошедшему въ комнату Василію, его будущему сотоварищу и сожителю. Тотъ былъ чѣмъ-то озабоченъ, забѣжалъ только на минутку и, увидѣвъ Никифора, сдѣлалъ недовольное лицо, потому что въ комнатѣ было и безъ этого Никифора очень тѣсно.

— Весело, говорю, у васъ!—повторилъ Никифоръ.

— Какъ въ сумасшедшемъ дому!—вскользь бросилъ Василій и скрылся.

Посидѣвъ минутъ пять въ пріятномъ самочувствіи, Никифоръ вышелъ изъ своей берлоги съ бѣльемъ подъ мышкой.

— Куда, почтенный, идти-то?—спросилъ онъ у кассира.

— Наверхъ, прямо, потомъ налѣво, первая дверь!—крикнулъ ему кассиръ изъ своего окошечка и показалъ пальцемъ на лѣстницу.

Никифоръ защелкалъ каблуками опорышекъ по каменнымъ ступенямъ лѣстницы и нашелъ дверь общаго дворянскаго отдѣленія.

Въ большомъ и высокомъ передбанникѣ стояли, какъ въ больницѣ, въ нѣсколько рядовъ мягкія, накрытыя простынями койки, блестѣли свѣтло начищенные и сложенные въ порядкѣ тазы, бѣлѣли новымъ деревомъ опрокинутыя вверхъ дномъ и уложенныя пирамидой шайки. Публики здѣсь было немного: на трехъ-четырехъ дальнихъ койкахъ сидѣли, какъ мертвецы въ саванахъ, люди въ бѣлыхъ простыняхъ, а на нѣкоторыхъ—лежали въ пріятномъ изнеможеніи, закинувъ руки за голову. На сѣромъ, аляповатой работы деревянномъ диванѣ спалъ, поджавъ ноги въ стоптанныхъ ботинкахъ, цирульникъ, Иванъ Павлычъ, человѣкъ съ рыжими торчащими щетиной усами,—и одной рукой

на всякій случай держался за свои часы съ цѣпочкой, а другую спряталъ подъ голову. Около дивана возвышалось старое трюмо со столикомъ, а на столикѣ лежала черная каучуковая гребенка съ выломанными зубцами, въ которыхъ такъ много скопилось грязи, что никто изъ посѣтителей не рѣшался этой гребенкой причесываться, и взявъ въ руки, сейчасъ же клалъ на старое мѣсто. Вдоль внутренней стѣны колыхалась похожая на широкій половикъ портьера, и за этой портьерой слышался смѣхъ и восклицанія: тамъ свободные банщики играли въ карты и позванивали мѣдными монетами. Въ узкомъ пространствѣ между пологомъ и вѣшалками дремалъ Игнатъ, старый солдатъ, который хранилъ платье и вещи публики и былъ, кромѣ того, начальникомъ надъ банщиками этого отдѣленія.

Никифоръ вошелъ и осмотрѣлся. Первое, что было опять-таки очень пріятно,—это теплота, а второе—чистота и обширность... Было похоже, что Никифоръ вошелъ къ господамъ, а между тѣмъ онъ здѣсь — на своемъ мѣстѣ. Однако, Никифоръ не рѣшился сѣсть на мягкую койку, потому что все-таки сомнѣвался... Онъ заглянулъ подъ „пологъ"—какъ онъ назвалъ мысленно портьеру—и, увидя людей въ красныхъ рубахахъ, понялъ, что это—свои люди и что ихъ можно спросить насчетъ коекъ:

— Поигрываете?—спросилъ онъ.

Но никто не отвѣтилъ: всѣ были въ азартѣ, сверкали бѣлками глазъ и стучали кистями рукъ по ящику, побивая „взятки".

— Надо мыться,—произнесъ Никифоръ, желая подойти къ рѣшенію вопроса издали. Ему не хотѣлось, чтобы новые его товарищи поняли то затрудненіе, въ которое онъ поставленъ своимъ невѣжествомъ, но такъ какъ никто не отвѣтилъ и на это „надо мыться", то Никифоръ спросилъ уже прямо:

— Чай, на этихъ мягкихъ-то мѣстахъ нельзя раздѣться?

— Валяй!—небрежно бросилъ кто-то.

Тогда Никифоръ, уже съ сознаніемъ права, расположился на одной изъ коекъ и началъ раздѣваться.

— Мягко!—произнесъ онъ, и опять улыбка удовольствія набѣжала на его лицо. Но очнулся отъ сладкой дремы Игнатъ и закричалъ на Никифора:

— Куда залѣзъ? Вотъ гдѣ ваше помѣщеніе! Деревня!

Никифоръ собралъ свою одежду и пошелъ за портьеру, а проснувшійся цирульникъ, Иванъ Павлычъ, первымъ дѣломъ справился рукой, не проспалъ ли онъ часовъ съ цѣпочкой, а потомъ, потягиваясь, спросилъ:

— Что такое за крикъ?

И когда Игнатъ объяснилъ, въ чемъ дѣло, — то Иванъ Павлычъ опять прилегъ на диванѣ и, подбирая свои ноги, сказалъ:

— Посади свинью за столъ, она и ноги—на столъ!.. А я сплю и вижу, будто брею господина и обрѣзалъ ему щеку, а онъ закричалъ...

— Мочалку возьми! Деревня! — ворчливо крикнулъ Игнатъ шедшему мыться Никифору и бросилъ ему комокъ желтой спутанной мочалы.

— А мыло у тебя есть?— спросилъ онъ опять сердито.

— Нѣтъ! Обойдемся...—отвѣтилъ Никифоръ.

— Обойдешься... Васъ надо скребкомъ лошадинымъ, а не то что безъ мыла... На! Возьми! Вымойся, какъ люди!.. Деревня!

Въ банѣ Никифоръ удивлялся, какъ хорошо все прилажено и пригнано: если тебѣ надо кипятку, — отверни одинъ кранъ, если надо студеной воды – отверни другой... Дождемъ можно себя облить.

Полъ былъ здѣсь асфальтовый, гладкій и мокрый, и было такъ хорошо ходить, что Никифоръ безъ нужды, а лишь для удовольствія, расхаживалъ изъ конца въ конецъ и все думалъ: „десять цалковыхъ и квартира—

жить можно". Примостившись около крановъ, онъ началъ, наконецъ, мыться. Обмылокъ, который ему далъ Игнатъ, былъ изъ хорошаго сорта, и Никифоръ все удивлялся, какой хорошій духъ идетъ отъ этого мыла.

Когда Никифоръ вымылся, надѣлъ свою форму и подошелъ къ зеркалу, чтобы сдѣлать на головѣ проборъ, то цирульникъ долго смотрѣлъ на него и потомъ сказалъ:

— А ты, братецъ мой, имѣешь видъ настоящій, пріятный! И здоровъ ты, вѣрно, какъ быкъ?!

— Здоровье ничего себѣ, слава Богу, не хвораемъ...

— А докторъ тебя смотрѣлъ ужъ?—спросилъ Иванъ Павлычъ.

— Нѣтъ... Нечего насъ смотрѣть-то, — отвѣтилъ въ смущеніи Никифоръ и сталъ разсматривать мѣдный гребень на бедрѣ.

— Въ нашихъ мѣстахъ народъ гладкій, красивый, здоровый, какъ яблочко съ дерева—безъ одной червоточенки!—похвастался изъ своего уголка Игнатъ.

— А вы съ нимъ развѣ изъ однихъ краевъ? — полюбопытствовалъ Иванъ Павлычъ.

— Сосѣдскихъ губерній: я — Ярославской, а онъ — Нижегородской...

— Разница между вами, однако, есть! — иронически воскликнулъ Иванъ Павлычъ.

Игнатъ былъ плюгавъ и невзраченъ, и потому цирульникъ имѣлъ основаніе ухмыльнуться...

— Теперь ужъ, конечно, старъ, износился, — пояснилъ Игнатъ,—а раньше былъ тоже и я этакій...

Никифоръ пошелъ къ товарищамъ за „пологъ". Въ карты здѣсь уже не играли, а кто лежалъ, кто стоялъ или сидѣлъ, и тихо разговаривали о разныхъ удивительныхъ случаяхъ, какіе бываютъ въ жизни. Разговоры были занятные, и Никифоръ со вниманіемъ входилъ въ каждый такой случай. Вся эта жизнь, изъ которой разсказывались разные случаи, была для Ни-

кифора новой, полной интереса и немножко страшной,— и Никифоръ неподвижно останавливалъ свои синіе кукольные глаза на разсказчикѣ, раскрывалъ ротъ и весь уходилъ въ положеніе героевъ повѣствованія.

День прошелъ незамѣтно. Къ вечеру банный шумъ сталъ усиливаться; стеклянная дверь на блокѣ то и дѣло хлопала и звенѣла, посѣтители въ нее лѣзли и лѣзли, и мягкія койки начинали кишмя-кишѣть отъ одѣвающихся и раздѣвающихся, которые безпрестанно кричали повелительно и громко: „банщикъ!“ Дѣло шло бойко, суетливо. На стулъ, къ зеркалу, то и дѣло присаживались люди,—и Иванъ Павлычъ, нагнувшись, ходилъ вокругъ и звонко пощелкивалъ ножницами... Большой раздѣвальный залъ былъ наполненъ разговорами сосѣдей, звонкими голосами дѣтей, приведенныхъ чадолюбивыми отцами, шумомъ, который врывался сюда изъ бани и состоялъ изъ смѣшанныхъ звуковъ отъ стука тазами, шайками, плеска воды, кашля и кряхтѣнія... Никифоръ немного растерялся отъ всей этой суматохи, хотя и она ему нравилась. Онъ подавалъ тазы, шайки и мочалки публикѣ, свертывалъ уходящимъ разбросанное бѣлье и приводилъ въ порядокъ освободившіяся койки. День, однако, кончился для Никифора не совсѣмъ ладно: съ нимъ стряслась бѣда, которая испортила ему пріятное настроеніе. Позвали банщика, а всѣ они были заняты, и Игнатъ послалъ Никифора.

— Кто требовалъ? Кого мыть?—спросилъ Никифоръ, довольный, что и онъ попалъ въ настоящее дѣло.

— Сюда, голубчикъ!—отвѣтилъ сидѣвшій на лавкѣ человѣкъ.

— Ложись!—сказалъ Никифоръ...

— Дуракъ! Невѣжа! Какъ ты смѣешь мнѣ такъ говорить! Я—полковникъ!

— Ну, сиди... можно и такъ устроить,—сказалъ оторопѣвшій Никифоръ.

Кругомъ всѣ перестали мыться и, обернувшись, смотрѣли на полковника и Никифора. Полковникъ долго ругалъ Никифора, а потомъ растворилъ дверь въ раздѣвальный залъ и началъ шамкающимъ беззубымъ ртомъ ругать всѣхъ: и купца Вавилова, и Никифора, и самую баню. Никифоръ потихоньку прошелъ за „пологъ“ и, сѣвъ на кушетку, сталъ усиленно думать, чѣмъ онъ не угодилъ этому старику и что теперь будетъ? Время отъ времени „пологъ“ раздвигался, и въ отверстіе заглядывало сердитое лицо Игната:

— Дуракъ! Деревня! Олухи! — говорилъ Игнатъ, и „пологъ“ закрывался, потому что Игнату было некогда хорошенько поругать Никифора и онъ пользовался для этого только свободными минутами.

Когда банный день кончился, общія отдѣленія опустѣли и были приведены въ порядокъ, — банщики разошлись по своимъ конурамъ. Войдя въ свое помѣщеніе, Никифоръ зажегъ спичку, чтобы на что-нибудь не наткнуться въ темнотѣ, и увидѣлъ, что Василій уже лежитъ подъ своимъ сѣрымъ, съ красными каймами, одѣяломъ и смотритъ въ потолокъ.

— Не спишь еще?—спросилъ Никифоръ.

— Долго мнѣ не спится... Все шумъ въ ушахъ, тазами бренчатъ и, какъ стану засыпать, то чудится все, что банщика кричатъ... О Господи Іисусе! Какъ сверчки верещатъ, окаянные!..

Чрезъ окошечко подъ потолкомъ падалъ свѣтъ отъ ближайшаго уличнаго фонаря и дрожалъ на сухихъ листьяхъ вѣниковъ. Глазъ мало-по-малу привыкалъ къ темнотѣ, и когда Никифоръ улегся и, вытянувъ ноги, завернулся въ свой овечій мѣхъ, — то ясно уже сталъ различать потолокъ и стѣны.

— За что онъ меня?—произнесъ Никифоръ.

— Кто? Полковникъ-отъ?

— Да.

— Вспыльчивый онъ... даромъ, что отставной!.. Гаррячій!

— Вотъ како дѣло-то!—прошепталъ Никифоръ.

— Господамъ долженъ ты сказать: „вы, ваше благородіе“ или еще можно: — „ваша милость, а чтобы прямо—ложись!—этого нельзя, деликатность не дозволяетъ...

— Конешно.

— Охо-хо!.. Хотя оно, наше дѣло, съ виду, и легкое, а все-таки надо приноровиться,—позѣвнувъ, сказалъ Василій,—самый разнообразный народъ у насъ: и благородные, и купцы, и изъ простыхъ, и чиновники, и изъ духовнаго званія... Хорошо, ежели ты его знаешь, если ужъ извѣстно тебѣ, какъ къ нему подойти и какъ за него взяться... А вѣдь много и новыхъ бываетъ... У всякаго своя привычка, свой характеръ... Охо-хо! Господи Іисусе!..

Василій опять позѣвнулъ и, понизивъ тонъ, опять заговорилъ съ какимъ-то умиленіемъ:

— Боже ты мой, сколь я на своемъ вѣку людей перемылъ и перепарилъ! Пропасти! Легіоны людей!

— А давно служишь по этой части?

— Давно ужъ... Годовъ пятнадцать, если не больше... Спервоначалу каждому трудно бываетъ. Боишься, конечно, что не угодишь, и смѣлости въ рукахъ нѣтъ. Либо больно стараешься, либо слабо берешь, а это—кто какъ любитъ. Опять же эта духота одолѣваетъ: весь день—въ жару, мокрый, спать—охота, голову клонитъ... Да ужъ и бѣлъ больно! Однимъ словомъ—банный человѣкъ!...

Никифоръ слушалъ, и ему дѣлалось все страшнѣе и страшнѣе: дѣло, по разсказамъ Василія, казалось теперь Никифору такимъ сложнымъ, запутаннымъ и труднымъ, что тревога и безпокойство начинали овладѣвать имъ, и въ душу прокрадывалось сомнѣніе: справится ли онъ съ этимъ труднымъ дѣломъ?..

II.

Къ Рождеству Никифора перевели въ номера. Переводъ этотъ былъ вызванъ не заслугами Никифора, какъ банщика, а тѣмъ, что онъ былъ видный, красивый и не пилъ водки, ходилъ опрятно и расположилъ въ свою пользу управляющаго простотой и честностью. Товарищи завидовали Никифору и ругали его „стерьвой", потому что всѣмъ имъ хотѣлось попасть къ номерамъ и всѣ этого добивались и вели по этому поводу интригу другъ противъ друга. Попасть туда было выгодно, потому что, хотя жалованье оставалось и то же самое, но было много доходовъ постороннихъ и, при умѣньи и сноровкѣ, можно было заработать рублей тридцать-сорокъ въ мѣсяцъ.

— Вотъ счастье стерьвѣ проклятой! Безъ году недѣля служитъ, а къ номерамъ попалъ, окаянный!—говорили между собой банщики.

Но самъ Никифоръ не понималъ еще хорошенько преимуществъ своего новаго служебнаго положенія и думалъ, что всѣ они заключаются въ большемъ спокойствіи и въ томъ, что дѣло при номерахъ – чище и благороднѣе...

У номерныхъ банщиковъ была въ коридорѣ комната съ большимъ настоящимъ окномъ на улицу, безъ желѣзной рѣшетки, и жили они, вообще, съ бо́льшими удобствами и комфортомъ, чѣмъ всѣ другіе. Къ этому времени Никифоръ успѣлъ немного оправиться отъ бѣдности: онъ завелъ сапоги и крытый чернымъ солдатскимъ сукномъ полушубокъ, купилъ коричневый войлокъ для подстилки и подушку изъ сѣна. Онъ былъ очень аккуратенъ и любилъ, чтобы постели были прибраны и чтобы не было на полу сора и окурковъ. Съ нимъ вмѣстѣ жилъ теперь новый товарищъ, по имени Петръ, который ходилъ не въ красной рубахѣ, а въ парусиновомъ пиджакѣ и въ лѣтнихъ старыхъ брюкахъ

сиреневаго цвѣта; поэтому Никифоръ на первыхъ порахъ относился къ нему съ почтеніемъ и называлъ его „вы, Петръ Петровичъ“. У Петра были серебряные часы съ эмалью на крышкѣ и цѣпочка съ массой самыхъ разнокалиберныхъ брелоковъ, и это обстоятельство сильно поднимало Петра въ глазахъ Никифора.

— Сколько дали?—спрашивалъ онъ, покачивая въ рукѣ тотъ или другой изъ брелочковъ, показываемыхъ ему товарищемъ.

— Три рубля!

— А энтотъ?

— Пять!—вралъ нагло Петръ Петровичъ, а Никифоръ проникался уваженіемъ и убиралъ постель своего сожителя и ставилъ самоваръ, который тоже принадлежалъ будто бы Петру Петровичу и тоже дѣйствовалъ, какъ часы съ эмалью и цѣпь съ брелоками.

Но это продолжалось недолго. Никифоръ былъ все-таки человѣкъ неглупый и смѣтливый: видя, что управляющій называетъ Петра Петровича—Петькой, а его—Никифоромъ, Никифоръ сталъ сомнѣваться въ правильности установившихся отношеній и, когда Петръ Петровичъ начиналъ на него покрикивать,—Никифоръ начиналъ говорить: „а вы потише! Не страшно!“ Часы съ эмалью и цѣпь съ брелоками какъ-то тоже перестали импонировать, а про самоваръ и говорить нечего. Мало-по-малу Никифоръ сталъ выходить изъ-подъ власти сожителя и начиналъ чувствовать себя ничуть не хуже. Постепенно онъ спускалъ въ разговорахъ съ сожителемъ тонъ почтительности и съ „Петра Петровича“ перешелъ на „Петра“, съ „вы“ — на „ты“, а затѣмъ и на „Петьку“.

Петька былъ шустрый и хитрый, и всѣми силами старался отстранить Никифора отъ доходныхъ банныхъ предпріятій, охотно уступая ему право мыть, парить и получать за это „на чай“. Но и такое положеніе дѣлъ не могло продержаться долго. Сперва Никифоръ ду-

малъ, что Петька лѣнится мыть людей и что онъ—зажиточный, потому что, когда онъ раскрываетъ свой большой замшевый кошелекъ, то тамъ всегда есть кредитки. Но потомъ и въ этомъ сталъ сомнѣваться. Какъ-то разъ прежній сожитель Никифора, поймавъ его на лѣстницѣ, спросилъ:

— Скоро ты за умъ возьмешься?

— А что?

— Вчера Петька пятерку получилъ, а далъ ли онъ тебѣ хоть двугривенный съ дырой?

Они поговорили, и Никифоръ понялъ, почему у Петьки всегда деньги въ кошелькѣ.

И съ этого дня Никифоръ сталъ оборонять свое право на участіе въ доходахъ.

— Это что же означаетъ?—спросилъ онъ разъ Петьку.—По какой причинѣ ты людей мыть не хочешь? Ты думаешь, дурака нашелъ? Мы это очень хорошо даже понимаемъ!

И когда вышелъ такой случай, что потребовали банщика, а Петька хлопоталъ по спеціальности, Никифоръ уперся:

— Поди, мой вонъ энтого стрикулиста въ 6-мъ номерѣ! Требуетъ банщика. Я сейчасъ вымылъ одного, теперь ты ступай!

Петька сперва прикрикнулъ, но видя, что крикъ не дѣйствуетъ, сталъ заискивать:

— Никифоръ! Или не видишь, что я не могу? Нѣшто товарищи такъ дѣлаютъ?

— Не вижу и видѣть не хочу! Пойду къ управляющему,—пусть онъ скажетъ, почему я одинъ всѣхъ парить долженъ.

Дверь изъ номера отворилась: въ коридоръ вышелъ пьяный господинъ въ одной жилеткѣ и сталъ кричать Петьку. Петька подбѣжалъ, о чемъ-то они тихо поговорили между собой, и потомъ Петька взялся за картузъ.

— Ты куда? Я захворалъ, не могу.

— Какъ это „не могу?“

— А очень просто! Я сегодня четверыхъ вымылъ, а ты ни одного... Пойду къ Михалъ Павлычу и скажу...

Петька постоялъ, произнесъ „эхъ!“ и, отозвавъ Никифора въ сторонку, сказалъ:

— Постарайся ужъ! Я тебѣ пару пива выставлю.

— Не надо пива... Не пью. Мой людей!

— Да вѣдь видишь,—мнѣ ѣхать надо? Какъ это ты понять не можешь?

— Понимаю, очень даже хорошо понимаю... И я, братъ, съѣздить-то могу. Не велика тутъ мудрость.

Когда Петька увидалъ, что ничего не подѣлаешь,— онъ сказалъ: „ну поѣзжай ты! Все одно! Потомъ разочтемся“... и подробно разсказалъ, куда ѣхать.

— Вотъ давно бы такъ!—ухмыляясь, сказалъ Никифоръ и отправился.

У бань всегда стояли извозчики до самаго свѣту и всѣ они знали, зачѣмъ теперь выскочилъ изъ дверей Никифоръ въ накинутомъ на плечи полушубкѣ.

— Куда тебѣ?

— На Мокрую.

— Садись!

Никифоръ вскочилъ въ санки, и извозчикъ погналъ лошадь. Городъ уже спалъ, на улицахъ было пусто и тихо; изрѣдка стучали ногами по обмерзшему тротуару запоздавшіе пѣшеходы, иногда тянулись шажкомъ пустые и рысцой—занятые извозчики; магазины и лавки были заперты, караульщики звонко постукивали своими трещетками, и порой рѣзкій полицейскій свистокъ прорѣзалъ тихій морозный воздухъ. Ночь была ясная, звѣздная, — снѣгъ визжалъ подъ санками и казался усыпаннымъ синими огоньками... Никифоръ ѣхалъ такъ быстро, какъ ѣздятъ только на пожаръ, и въ глазахъ его мелькали окна и фонари, и замиралъ духъ. Когда лошадь уморилась и пошла шагомъ, Никифоръ сталъ

думать, хорошо ли онъ сдѣлалъ, что вмѣшался въ это мерзкое дѣло. „Все-таки, что ни говори, а мерзость всегда мерзостью останется!“ И былъ моментъ, когда Никифоръ готовъ былъ выпрыгнуть изъ санокъ. Но извозчикъ опять пустилъ лошадь быстрой рысью, и санки опять полетѣли словно на крыльяхъ.

— Тпру!

Извозчикъ разомъ осадилъ лошадь, и Никифоръ чуть не вылетѣлъ изъ саней.

— На этомъ дворѣ... Иди прямо, мимо помойной ямы, а потомъ — налѣво, увидишь тамъ домикъ маленькій съ крылечкомъ...

Никифоръ вылѣзъ и пошелъ отыскивать. Дворъ былъ тѣсный и грязный, съ лабиринтомъ тропочекъ и закоулковъ между хлѣвушками и амбарушками. Нашелъ Никифоръ и маленькій домикъ съ крылечкомъ. Въ одномъ окнѣ свѣтился огонекъ. „Надо быть, тутъ“. Никифоръ осторожно пошелъ къ огоньку и посмотрѣлъ въ окошко: видитъ — столъ, на столѣ лампа съ зелснымъ бумажнымъ абажуромъ и круглое зеркало; передъ зеркаломъ сидитъ женщина въ бѣлой кофточкѣ и расчесываетъ длинные волосы; видно, что она собирается спать: постель раскрыта. Когда эта женщина стала заплетать косу и повернулась, Никифоръ увидалъ молодое и красивое лицо; лицо это было задумчиво и такимъ оставалось все время, пока женщина заплетала свою русую косу. „Не больше семнадцати лѣтъ... вотъ она мерзость-то!“...—подумалъ Никифоръ и продолжалъ стоять и смотрѣть, потому что ему было очень любопытно посмотрѣть со стороны, что это за люди такіе и какъ живутъ и что дѣлаютъ, когда сидятъ дома одни. Когда женщина кончила заплетать косу и отбросила ее рукой за спину, то облокотилась на столъ и опять стала о чемъ-то думать. „Пригорюнилась“, — подумалъ Никифоръ, а онъ никакъ не думалъ, чтобы такіе люди тосковали, и ему стало жалко эту женщину. „Съ виду

совсѣмъ барышня, молоденькая, хорошенькая... Ей бы за хорошаго человѣка замужъ выйти, счастье свое найти, а оно-вонъ что!“ — подумалъ Никифоръ. Особенно заболѣло у него сердце, когда онъ увидалъ, что дѣвушка встала и начала молиться Богу; помолившись, она перекрестила подушку, загасила лампу и задернула занавѣску. Никифору стало неловко и стыдно чего-то. Тихонько ступая по снѣгу, онъ отошелъ отъ окна и началъ въ раздумьи похаживать около крылечка. И все онъ не рѣшался стучаться: въ его головѣ осталась эта картина, какъ молилась дѣвушка и какъ она перекрестила свою подушку, и это отнимало у него смѣлость.

— Что же, долго я буду ждать? — спросилъ извозчикъ, похрустывая снѣгомъ подъ ногами.

— Да все не знаю, куда стучаться... Какъ бы тутъ кого не обидѣть...

Тогда извозчикъ крупными, рѣшительными шагами подошелъ къ крылечку и началъ сердито стучать въ дверь сперва кнутовищемъ, а потомъ желѣзной защелкой. Стукъ этотъ звонко разносился по двору, и Никифору было неловко, и онъ чего-то боялся.

— Кто тамъ безобразничаетъ?—спросилъ, наконецъ, голосъ изнутри.

— За Таней!—отвѣтилъ извозчикъ.—Дома она?

— Дома-то дома, да, пожалуй, что не поѣдетъ... Скучаетъ она сегодня.

— Изъ этого ничего не выходитъ, что скучаетъ... Ты—куфарка, твое дѣло сказать, а не разговаривать...

Никифоръ стоялъ въ сторонѣ и, слушая эти переговоры, чувствовалъ себя такъ, словно онъ въ чемъ-то былъ виноватъ, и онъ думалъ опять, что не слѣдовало бы впутываться въ это мерзкое дѣло. Отворивъ дверь, кухарка убѣжала, потому что была въ одной юбкѣ.

— Стервы!—вслухъ подумалъ извозчикъ и сказалъ, обращаясь къ Никифору:

— Иди!.. Скажи,—порядочный господинъ требуетъ, а не то, чтобы шваль какая,—скорѣе соберется...

Появился огонекъ и въ другомъ окнѣ: это кухарка принесла въ залу лампу и пригласила войти туда Никифора. Никифоръ вошелъ и началъ съ любопытствомъ осматривать помѣщеніе: чисто, прибрано, стульчики по стѣнкамъ разставлены, на столѣ вязаная скатерть, на окнѣ — кисейная занавѣсь, у порога половичокъ... Въ переднемъ углу—образъ... Все, какъ у людей... На стѣнѣ висѣла картина: старикъ со звѣздой у борта фрака стоялъ рядомъ съ молоденькой дѣвушкой подъ фатой, и лицо у дѣвушки было печальное, а у старика—важное и довольное. Никифоръ разсматривалъ эту картину; онъ понялъ, что это — за немилаго замужъ отдаютъ... Гдѣ-то торопливо стукали маятникомъ маленькіе стѣнные часики, а чрезъ стѣну былъ слышенъ разговоръ:

— Не хочется, Ариша... Смерть не хочется!

— А коли такъ,—нечего томиться...

— А ничего, Ариша, не подѣлаешь... Вѣрно, ужъ ѣхать, что ли...

Никифоръ вздрогнулъ и кашлянулъ.

— Скучно вамъ дожидаться? — спросилъ женскій голосъ изъ сосѣдней комнаты.

— Ничего, подождемъ!—отвѣтилъ Никифоръ.

— Можетъ быть, пива выпьете?

— Много благодарны, не употребляю...

— Соскучитесь, покуда я стану одѣваться — опять сказала Таня и сладко позѣвнула, шурша крахмальной юбкой.

— Спать бы теперь, а ужъ что касается пива, окончательно не могу...

Въ это время вышла кухарка и замѣтила съ досадой Никифору:

— Вы думаете, только вамъ однимъ спать-то хочется?.. Она вонъ третью ночь отдыха не видитъ!

— Надо бы себѣ спокой дать!—отвѣтилъ Никифоръ,

а въ оправданіе свое добавилъ:—посылаютъ насъ, ничего не подѣлаешь...

— На томъ свѣтѣ всѣмъ спокой будетъ, — сказала Таня, появляясь въ дверяхъ.

Никифоръ всталъ и опять ему стало неловко. Онъ смотрѣлъ на Таню и думалъ: „шубка, шляпка, мухта въ рукахъ!.. Настоящая барышня и красотка!“

— Вы отъ кого?

— Отъ Вавилова присланъ...

— А Петръ развѣ не служитъ ужъ тамъ?

— Служитъ, а только его нѣтъ... Меня послали,— немного смутившись, отвѣтилъ Никифоръ.

— А васъ какъ зовутъ?

— Никифоръ... Миколаичъ по батюшкѣ.

— Смотрите, Никифоръ Николаичъ, я только рубль посыльному даю. Чтобы не было потомъ непріятностей— я этого не люблю! — сказала Таня, а Никифору такъ стало вдругъ стыдно, что у него загорѣлись уши.

— Что вы! Мнѣ ничего не надо... Я не возьму ничего...

— Зачѣмъ же ничего! Я даромъ не хочу. Какъ обыкновенно, рубль... Вотъ еще какой добрый. Петръ все торгуется и все недоволенъ, а вы—даромъ! Добрый человѣкъ нашелся...

Они пошли и, пока проходили дворомъ, Таня говорила:

— Добрый человѣкъ нашелся!.. А то всѣ наровятъ кусокъ изо-рта вырвать: извозчику плати вдвое, за квартиру — вдвое, коридорному дай, посыльному дай!.. Больше половины вырвутъ... Вотъ добрый человѣкъ нашелся!

— Совсѣмъ лошадь застыла... Этакъ ждать—рубля не возьмешь!—заворчалъ извозчикъ, когда они вышли изъ воротъ и стали усаживаться въ санки.

Лошадь рванула съ мѣста, сдѣлала крутой поворотъ и помчалась, играя селезенкой. И опять стало захватывать духъ, огоньки замигали кое-гдѣ по окнамъ, и фо-

нари побѣжали назадъ длинной цѣпью... Никифоръ сидѣлъ и сбоку посматривалъ на сосѣдку: она дремала, уткнувшись лицомъ въ муфточку, и покачивала перомъ шляпки. На одномъ ухабѣ ихъ сильно подбросило: Таня ахнула и отняла отъ лица муфточку.

— Сонъ видѣли?—спросилъ Никифоръ.

— Мочи нѣтъ, какъ спать хочется... Такъ бы, кажется, ѣхала и ѣхала, чтобы и конца не было.

— А зачѣмъ поѣхали! Надо бы себѣ передышку дать,—сказалъ Никифоръ.

— Нельзя. Нынѣшній мѣсяцъ совсѣмъ плохо... Жить тоже и намъ надо...

— Это конешно!

— Въ субботу срокъ за квартиру,—десять рублей надо, а у меня въ карманѣ-то всего полтинникъ... Маменькѣ въ среду красненькую послала... Трудно очень жить...

И Таня замолчала и опять спрятала лицо въ муфточку. А Никифору стало ее жалко, и онъ думалъ: „хорошая дѣвушка! Богу молится, мать родную помнитъ—сердце, значитъ, доброе; а вотъ поди же! Отъ мерзости человѣческой живетъ, сама кормится и родительницѣ помогаетъ“, — и это ему было непонятно, и онъ тупо смотрѣлъ на снѣгъ, скользившій подъ санками... Нѣкоторое время они ѣхали молча; а потомъ Таня спросила:

— Вы мнѣ скажите, Никифоръ Николаичъ, по правдѣ: къ трезвому или пьяному гостю меня везете?

— Надо правду сказать: выпимши, хотя не такъ,; чтобы окончательно...

— Если бы раньше сказали,—я, можетъ быть, и не поѣхала бы...

— Этого я не зналъ, а то, конечно, почему не сказать... Въ другой разъ буду знать...

— Мука-мученская съ пьяными... Очень ужъ противно!...—сказала Таня.

— Пьяный человѣкъ—охальникъ... это правильно...

— Нѣкоторые, если пьяные, добрѣе бываютъ... Но ужъ очень трудно! Скандалистовъ я очень боюсь. На прошлой недѣлѣ одинъ такой — еще чиновникъ! — все платье изорвалъ... А платье новое, только къ праздникамъ шила, шерстяное...

— Тпру! — фальцетомъ выкрикнулъ извозчикъ, и санки остановились.

— Пріѣхали,—со вздохомъ произнесла Таня и стала вылѣзать изъ саней.

Долго въ эту ночь не спалъ Никифоръ. Онъ все думалъ о Танѣ и о человѣческой мерзости, а когда онъ закрывалъ глаза, то предъ нимъ свѣтилось окно, а въ окнѣ было видно, какъ молится дѣвушка въ бѣлой кофточкѣ съ косой и потомъ креститъ подушку...

— Фу ты, Боже мой! Нѣтъ сна—и кончено! — тихо говорилъ онъ, поворачиваясь съ боку на бокъ.

А Петька храпѣлъ, и вся комната наполнялась его сопѣньемъ.

„Не гребтится человѣку“ — думалъ Никифоръ и отдувался.

III.

Одинъ разъ Никифоръ встрѣтилъ Таню на улицѣ. Онъ бѣжалъ изъ бани, безъ шапки, въ портерную за пивомъ, а Таня проходила по панели.

— Никифоръ Николаичъ! Постойте-ка! Я вамъ рубль должна... Куда-то вы тогда пропали, и я не могла вамъ заплатить... Извините меня!...

— Я не возьму,—сказалъ Никифоръ и отмахнулся рукой,—я такъ считаю, что мнѣ не за что!..

— Вотъ добрый человѣкъ нашелся! — сказала Таня и весело засмѣялась, съ удивленіемъ оглядывая Никифора своими карими глазами. — Когда-нибудь зайдите ко мнѣ такъ, по знакомству—я буду очень рада, если зайдете посидѣть...

— Съ большимъ удовольствіемъ! Отчего же не зайти, если вамъ мое знакомство непріятности не сдѣлаетъ.

— Что вы, Богъ съ вами! Чѣмъ же это мнѣ гордиться передъ вами? Нечѣмъ, Никифоръ Николаевичъ!

— Такъ-то оно такъ, а все-таки интересу я для васъ мало имѣю!—отвѣтилъ Никифоръ.

— Напрасно такъ думаете! Я безъ всякаго интереса васъ зову... Хорошій человѣкъ мнѣ очень пріятенъ, потому что у меня нѣтъ вовсе такихъ знакомыхъ, которые бы такъ, безъ интереса, меня знали...

— Въ такомъ разѣ зайду... Весьма благодаренъ, Татьяна Семеновна, что не гнушаетесь моимъ знакомствомъ!

— Будетъ вамъ! Какіе пустяки говорите! Ну, до свиданья! Буду ждать васъ! — сказала Таня и подала Никифору руку въ лайковой перчаткѣ. Никифоръ пожалъ эту руку, и опять у него скользнула мысль, что Таня похожа на настоящую барышню... Онъ долго смотрѣлъ ей вслѣдъ, пока не вспомнилъ, что въ банѣ ждутъ пива...

Въ первое же воскресенье Никифоръ отпросился до обѣда. Свѣтло начистивъ свои сапоги со сборками и нарядившись въ пиджакъ, купленный имъ за цѣлковый у Петьки, онъ сперва пошелъ къ обѣднѣ, а оттуда отправился съ визитомъ къ Танѣ.

— Вотъ это вы хорошо сдѣлали, что пришли!— встрѣтила его Таня.—Вы меня извините, я не успѣла еще и голову причесать... Присаживайтесь! Я — сейчасъ...

— Спали долго?

— Какой нашъ сонъ!

Кухарка Ариша принесла и поставила на столъ самоваръ, поздоровалась съ Никифоромъ за руку и спросила:

— У Вавилова служите?

— У него.

— Много-ль получаете?

— Пустое! Всего десять цалковыхъ,—отвѣтилъ Никифоръ, которому теперь десять цѣлковыхъ не казались уже такими большими деньгами, какъ сначала, когда онъ поступилъ...

— Сбѣгай, Ариша, за булками! На вотъ тебѣ десять копеекъ,—сказала Таня, выходя изъ спальной, а потомъ поклонилась еще разъ Никифору и подсѣла къ столу, съ другого края.

— Кофіемъ я васъ угощу, Никифоръ Николаевичъ... У обѣдни, вѣрно, были?

— Былъ, у Спаса, поютъ тамъ очень хорошо...

— А я не помню, когда ужъ и въ церкви-то была!.. Гдѣ ужъ намъ! Некогда о Богѣ-то вспомнить, — произнесла Таня и поджала губки...

Она была нарядная. На ней было голубое платье съ бѣлыми кружевцами по вороту и обшлагамъ рукавовъ, въ русыхъ волосахъ алѣлъ воткнутый искусственный цвѣточекъ отъ лѣтней шляпки, а въ рукахъ она держала носовой платокъ и обмахивалась имъ, какъ вѣеромъ... Глаза у ней оставались какъ-то прикрытыми, а когда она приподнимала вѣки съ рѣсницами, и каріе глаза останавливались на лицѣ Никифора, то онъ смущался и не зналъ, о чемъ бы еще поговорить.

— Сегодня морозитъ порядочно... Всѣ деревья, какъ будто мукой, обсыпаны!

— А у меня, слава Богу, тепло! Я очень довольна своей квартирой, а только вотъ хозяйка очень ужъ неделикатная, навязчивая...

— Дорого платите?

— Десять.

— Дороговато...

— Кушайте кофій, пожалуйста! — сказала Таня и, положивъ въ стаканъ очень много сахару, подала Никифору и спросила:

— Можетъ быть, вы—безъ молока привычку имѣете?

— А какъ сказать? Не доводилось этого кофію пить,— смутившись, отвѣтилъ Никифоръ.

Когда Таня доливала кофейникъ изъ самовара, то держала мизинецъ на отскочкѣ, и рука ея, бѣлая и маленькая, съ колечкомъ на безыменномъ пальцѣ, удивляла Никифора: „какъ барышня“,—думалъ онъ и опять начиналъ стѣсняться передъ Таней. Въ моментъ такого стѣсненія онъ смотрѣлъ на висѣвшую на стѣнкѣ олеографію, гдѣ былъ изображенъ старикъ со звѣздой и дѣвушка подъ фатой, и, замѣтивъ это, Таня сказала:

— Очень ужъ печальная эта картина! Называется „неравный бракъ“. Видите, онъ старикъ, лысый, а она— совсѣмъ херувимъ...

— Что же, родители силкомъ выдаютъ? — спросилъ Никифоръ, подходя къ картинѣ.

— А ужъ это неизвѣстно... Можетъ, родители, а можетъ—и сама, для выгоды... Нужда заставитъ—выйдешь за всякаго,—вздохнувши, сказала Таня.

— Случается, — отвѣтилъ Никифоръ, присаживаясь опять къ столу.

Потомъ они стали разговаривать о родинѣ.

— Лѣтомъ домой собираюсь съѣздить... Маменька ужъ старая, умереть можетъ, такъ и не увидишь... Только все съ деньгами не соберусь... Буду вотъ каждый мѣсяцъ по рублю откладывать... Какъ уѣхала,— не видала маменьку. Три года, четвертый... Пятнадцати лѣтъ не было, меня увезли...

Таня покраснѣла, потому что вспомнила что-то, и замахала платочкомъ.

— Жарко очень!—сказала она.

Вамъ бы вмѣстѣ съ матерью жить надо...

— Этого никакъ нельзя... Она не знаетъ, что я такая стала... А узнаетъ, не дай Богъ что будетъ!..

Никифоръ напился кофею, вытеръ краснымъ платкомъ потъ съ лица, потомъ еще посмотрѣлъ картину

и сталъ прощаться. Таня стала его упрашивать, чтобы посидѣлъ.

— Служба не дозволяетъ. Только до часу отпущенъ... Зайду въ другой разъ, а теперь счастливо оставаться, покорно благодарю на угощеніи!..

— Будемте знакомы! Я васъ буду ждать... Не обманете?

— Зачѣмъ же...

Таня вскинула на Никифора свои каріе глаза и улыбнулась ему.

— Возьмите вотъ этотъ цвѣточекъ, — сказала она, вынувъ изъ волосъ алый бутончикъ съ двумя листочками.—Когда увидите его, вспомните обо мнѣ и придете...

— Я и такъ буду помнить, — отвѣтилъ Никифоръ, взялъ бутонъ, разсмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ и положилъ въ карманъ пиджака.

— Счастливо оставаться!

— Ну, смотрите: я буду ждать!

Никифоръ ушелъ, и Танѣ стало скучно. Она подбѣжала къ окну и увидѣла, какъ Никифоръ, мелькнувъ на мгновеніе, исчезъ за хлѣвушкомъ. Таня сѣла на стулъ, и лицо ея сдѣлалось печальнымъ.

— Что пригорюнилась? — спросила Ариша, убирая со стола посуду.

— Такъ что-то... Сердце что-то скучаетъ... Когда, Ариша, съ хорошимъ человѣкомъ поговоришь, то всегда тоска нападаетъ...

— Пошла бы погулять! Праздникъ, на улицѣ весело...

— Не хочется, Ариша... Что ходить одной!... Никто не подойдетъ, точно къ гадинѣ какой...

Потомъ Таня пошла въ спальню, легла въ постель и стала тихонько плакать...

Когда наступилъ праздникъ, Таня, какъ проснулась, такъ сейчасъ же вспомнила, что, можетъ быть, сегодня придетъ Никифоръ Николаевичъ. Она принарядилась и долго смотрѣла въ зеркало и поправляла волосы,

потому что ей все казалось, что не выходитъ прическа... До двѣнадцати часовъ она была веселая, напѣвала „За рѣкой на горѣ лѣсъ зеленый шумитъ“, а послѣ двѣнадцати стала нетерпѣливой и все смотрѣла въ окошко. Но Никифоръ не приходилъ, и Танѣ было такъ скучно, что она опять стала тихонько плакать...

Зато въ слѣдующее воскресенье ея ожиданья не были напрасными: Никифоръ пришелъ, и ей было почему-то смѣшно и хотѣлось шутить. Она опять напоила его кофеемъ, а потомъ принесла бутылку вишневки, колбасу въ ломтикахъ на тарелкѣ и двѣ рюмочки.

— Выпейте, Никифоръ Николаичъ?

— Одному какъ-то не выходитъ...

— И я съ вами за конпанію выпью! Ну, за наше знакомство съ вами!

Они чокнулись и выпили, а когда Никифоръ поставилъ свою рюмку на столъ, то на скатерти осталось красное пятно.

— Экій грѣхъ! Изгадилъ вамъ вещь!

— Пустяки! Оставьте! Ничего не составляетъ,—успокаивала Таня и смѣялась звонко и весело надъ Никифоромъ, который былъ очень обезкураженъ промахомъ и все старался какъ-нибудь ослабить пятно, а оно только шире расползалось по скатерти.

— Вы не были въ моей комнатѣ? Подите-ка посмотрите, какъ у меня мило!—похвасталась Таня, и когда Никифоръ вошелъ туда, ему очень понравилось. Надъ круглымъ зеркаломъ былъ приколотъ японскій бумажный вѣеръ, столъ накрытъ кумачемъ до самаго пола, а на столѣ разныя бездѣлушки, пузырьки и коробочки. И все это въ порядкѣ.

— Одѣяло новое купила, — сказала Таня, видя, что главнаго-то Никифоръ и не замѣчаетъ.

— А чьи это патретики?—спросилъ Никифоръ, показывая рукой на стѣну, гдѣ была цѣлая коллекція старыхъ выцвѣтшихъ фотографическихъ карточекъ.

— Кто ихъ знаетъ!—Это такъ! Для виду...

— А я думалъ, сродственники или знакомые...

— Кто намъ дастъ свою карточку? Никто. Нехорошо... И васъ, если я попрошу, тоже вѣдь не дадите?!

— Почему не дать? Нѣтъ только у меня.

Таня стала упрашивать, чтобы Никифоръ снялся и чтобы подарилъ ей карточку,

— Я васъ на столѣ у себя поставлю въ спальной и буду на васъ каждый день смотрѣть.

Съ тѣхъ поръ Никифоръ началъ захаживать къ Танѣ каждый праздникъ, а иногда забѣгалъ не надолго и будднями. Когда не удавалось вырваться изъ бани, Никифоръ сердился и начиналъ ворчать: „нѣтъ никакого спокою человѣку... даже въ праздникъ отдыху не знаешь!“ и кому-то потихоньку грозилъ, что какъ только получитъ жалованье, то сейчасъ же сойдетъ съ мѣста. А когда онъ получилъ это жалованье, то первымъ долгомъ отправился въ фотографію и снялся, заказавъ двѣ карточки: одну для Тани, а другую рѣшилъ послать въ деревню, къ своимъ... Потомъ когда Никифоръ получилъ эти карточки, то долго смотрѣлъ на себя и все удивлялся, что онъ такой красивый вышелъ... А съ карточки смотрѣло какое-то испуганное лицо, съ черными, словно вылѣзавшими съ картона глазами, и было похоже на то, что въ то время, когда фотографъ снималъ Никифора, то его кто-то крѣпко и неожиданно ударилъ въ спину. Когда Никифоръ показалъ свою карточку Петькѣ, тотъ завистливо ухмыльнулся и сказалъ:

— Больно ужъ тутъ ты красивъ вышелъ!

И потомъ Петька смотрѣлъ на себя въ зеркало и все думалъ, что и ему тоже надо сняться.

Танѣ карточка не особенно понравилась.

— Въ натуральности вы, Никифоръ Николаичъ, много лучше, чѣмъ здѣсь! — застѣнчиво сказала она, но все-таки была такъ довольна подаркомъ, что сейчасъ же сбѣгала въ кухню показать карточку Аришѣ:

— Кто это?—спросила она съ улыбкой Аришу.

— Кто! Конечно, Никифоръ!.. Какъ живой!

Потомъ она вернулась и то и дѣло вынимала карточку изъ кармана, смотрѣла сперва на нее, потомъ на настоящаго Никифора и смѣялась.

Когда черезъ недѣлю Никифоръ пришелъ къ Танѣ, она вынесла на подносѣ бѣлую расшитую по воротнику и рукавамъ розами рубаху и шелковый поясъ съ кисточками.

— Это примите отъ меня въ знакъ памяти! — сказала она и добавила:

— Къ брюнетамъ бѣлое очень идетъ...

— За что это, Татьяна Семеновна?—смущенно произнесъ Никифоръ.

— Ни за что, а такъ!.. Хорошаго человѣка пріятно подарить... Я этимъ себѣ удовольствіе дѣлаю...

Однажды Никифоръ вечеромъ зашелъ къ Танѣ и увидѣлъ въ передней на гвоздѣ пальто съ свѣтлыми пуговицами, а на полу резиновые полуботинки на красной фланелевой подкладкѣ съ мѣдными буквами на пяткахъ. И какъ только онъ это увидѣлъ, то ему стало обидно, и лицо его сдѣлалось недовольнымъ и серьезнымъ. Войдя въ залу, онъ осмотрѣлся: здѣсь было очень свѣтло, потому что горѣли двѣ лампы, одна на столѣ, другая—на стѣнкѣ; Таня была не одна. Сама она сидѣла въ одномъ углу, въ томъ самомъ голубомъ платьѣ, въ которомъ впервые принимала Никифора, и опять у ней въ рукѣ былъ носовой платочекъ; а въ другомъ углу, около окна, сидѣлъ студентъ въ тужуркѣ и пьяными глазами смотрѣлъ на Таню. Онъ развалился и, сдерживая икоту, что-то говорилъ.

Увидѣвъ Никифора, Таня встрепенулась, покраснѣла и улыбнулась виноватой улыбкою.

— Съ праздникомъ поздравляю! — сказалъ серьезнымъ тономъ Никифоръ.

— Садитесь, гостемъ будете, — смущенно отвѣтила Таня, поправляя одной рукой—юбку, а другой—волосы.

— У васъ, Татьяна Семеновна, и такъ гости. Къ гостямъ-то кстати! — произнесъ Никифоръ, но руки не протянулъ.

— Тань, а Тань!—бурчалъ пьяный студентъ.

— Что вамъ?

— Тань-встань! Тань-встань! — повторилъ пьяный студентъ и сталъ манить ее рукой.

Вѣрно, ему очень понравилось это „Тань-встань", потому что онъ повторялъ его много разъ.

— Ну, что вамъ? вы мнѣ прискучили!—раздраженно воскликнула Таня.

— Поди сюда и сядь! Тань! Встань и... сядь!—клоня голову и указывая себѣ на колѣни, пробурчалъ студентъ.

— Ровно при людяхъ-то и нехорошо, господинъ!— злобно сказалъ Никифоръ.—А еще студенты!

— Что такое?—грозно спросилъ студентъ, поднимая голову.

— А вотъ то же самое! — сказалъ Никифоръ, тряхнувъ кольцами волосъ. — А между прочимъ, дѣло Татьяны Семеновны... Можетъ, онѣ и сядутъ, а мнѣ прикажутъ вонъ уйти.

Таня вскочила съ мѣста и скрылась за дверью спальни, а потомъ шопотомъ позвала Никифора.

— Что скажете? — холоднымъ и недовольнымъ тономъ спросилъ Никифоръ, войдя къ Танѣ.

— Что это вы, Никифоръ Николаичъ! Богъ съ вами! Развѣ я васъ на кого-нибудь промѣняю?! Какъ вамъ не стыдно! Только какъ онъ гость, такъ приходится терпѣть... Мое дѣло такое...

— А въ такомъ разѣ мнѣ уйти? Хорошо, я уйду.

— Не пущу! Ни за что не пущу! Сиди тутъ!—прошептала Таня, и не успѣлъ Никифоръ опомниться, какъ Танины руки обвили его шею. Оторвавшись, Таня вы-

шла въ залъ и притворила за собой дверь, а Никифоръ сѣлъ на постель и былъ похожъ теперь на свой портретъ, какъ двѣ капли воды. Онъ очнулся лишь тогда, когда услыхалъ стукъ въ залѣ и сердитый голосъ Тани „оставьте!“ Тогда онъ выбѣжалъ, какъ звѣрь, схватилъ студента въ охапку и поволокъ его къ дверямъ. Затѣмъ онъ пихнулъ дверь ногой и, когда дверь съ шумомъ раскрылась, ткнулъ студента въ спину, и онъ стремительно застучалъ по сѣнямъ ногами.

— Никифоръ! Опомнись! Что съ тобой? Вѣдь — гость онъ!..—сказала Таня.

— Я здѣсь гость! — закричалъ Никифоръ и, схвативъ съ гвоздя форменное пальто, а съ полу галоши, выкинулъ ихъ въ сѣни. Потомъ вернулся, сѣлъ и сталъ тяжело дышать.

— Какой ты ревнивый! — прошептала Таня и стала смѣяться нервнымъ смѣхомъ отъ страха и непонятной радости.

— И стоитъ того, ревновать ихняго брата! Плюнь и все тутъ! На-ка выпей водицы!..

Покуда Никифоръ пилъ воду, Таня смотрѣла на него пристально своими карими глазами и, улыбаясь, говорила:

— Чисто бѣшеный ты! Право! Стоитъ ревновать! Я такъ даже ихъ и за мужчинъ не считаю... Что вотъ этотъ столъ, что они—для меня все равно...

Потомъ Таня наклонилась къ Никифору и прошептала:

— Тебя я, бѣшеный, люблю... А эти... все равно, что нѣтъ ихъ! Слышишь?

— Какъ-то не ладно будто, Танюша, выходитъ...— произнесъ Никифоръ.

— А чего не ладно-то? Ты—мой предметъ, а они—гости! Имъ моя любовь не нужна, а мнѣ на ихнюю—наплевать... А ты... Тебя буду любить всѣмъ сердцемъ... Одного только! Понялъ?

Когда, поздно ночью, Никифоръ возвращался домой—

и, похрустывая крѣпкимъ снѣгомъ, шагалъ по дорогѣ, то онъ думалъ о Танѣ и о томъ, что случилось, и совсѣмъ не удивлялся этому, будто такъ и должно было быть... Ему казалось, что онъ любитъ Таню очень давно и что только любовь эта не выходила наружу, а сидѣла гдѣ-то внутри и пряталась...

— Гдѣ шатался?—спросилъ Петька, когда Никифоръ вошелъ въ комнату.

Но Никифоръ не отвѣтилъ, а поскорѣй раздѣлся, легъ и сталъ думать о Танѣ...

IV.

Петька былъ доволенъ, потому что Никифоръ пересталъ въ его дѣла вмѣшиваться. Никифоръ сталъ задумчивымъ и молчаливымъ и часто не слышалъ, что ему говорятъ: установится своими кукольными глазами, смотритъ и ничего не слышитъ и не видитъ.

— Что ты шальной какой! — замѣтилъ однажды Петька.

— Это не твоего ума дѣло,—презрительно отвѣтилъ Никифоръ.

Онъ тосковалъ по Танѣ и томился отъ праздника до праздника. По ночамъ ему плохо спалось, и онъ все думалъ о Танѣ и о томъ, что онъ—предметъ... „Такъ-то такъ, да все что-то неладно“,—шепталъ онъ, а Петька спрашивалъ:

— Съ кѣмъ ты это говоришь?

— Не съ тобой!

Никифоръ мечталъ по ночамъ о томъ, какъ было бы хорошо, если бы они съ Таней состояли въ законѣ; мечты эти въ тишинѣ ночи разростались, и Никифоръ засыпалъ со счастливою улыбкою на лицѣ. Но утромъ мечты улетали и оставляли на душѣ Никифора только смутную тревогу и горечь. И одѣваясь, чтобъ топить печи, мыть коридоръ шваброй и чистить мѣдные тазы,

Никифоръ упрекалъ себя въ глупости: „Разе ты можешь?—мысленно говорилъ онъ себѣ, шаркая тряпкой по звенящей мѣди,—она ходитъ въ шубкѣ, въ шляпкѣ, съ мухтой, квартира у ней десять цѣлковыхъ; каждый мѣсяцъ родительницѣ десять посылаетъ, кофій тамъ и прочее... Жизнь у васъ совсѣмъ неподходящая... На щи да кашу этакую кралечку не посадишь... А ты всего-то десять цѣлковыхъ получаешь“... И тазъ стучалъ подъ его руками, и казалось, что онъ хочетъ протереть его тряпкой насквозь.

Иногда, глядя на Танюшу, Никифоръ говорилъ:

— Кабы бросить тебѣ эту самую мерзость!..

— Вотъ накоплю денегъ, тогда брошу... А покуда... молчи. Терпѣть надо... Маменька старая ужъ, надо ей помогать, надо самой жить...

— На мѣсто бы поступила...

— Куда поступишь? Съ желтымъ билетомъ некуда дѣться... И денегъ мнѣ надо столько, что нѣтъ этакихъ мѣстъ... Вотъ накоплю, тогда... Потерпи!

А у Никифора все меньше и меньше дѣлалось этого терпѣнія, и все чаще онъ дѣлалъ непріятности Танѣ и ея „гостямъ“.

— Бѣшеный ты, право! Какъ это ты сдержать себя не можешь?

— Не могу и не могу!—разводя руками, отвѣчалъ Никифоръ.

Чтобы не было этихъ непріятностей, и чтобы самъ Никифоръ не терзался напрасно, Таня разрѣшила ему приходить только разъ въ недѣлю, по субботамъ, и никого уже въ этотъ день не принимала. Когда Никифоръ, послѣ субботней каторги, усталый, приходилъ къ Танѣ, Ариша сейчасъ же запирала ставни на болты, двери — на крючки и защелки и никому не отпирала, говоря, что „нѣтъ ея дома“. На столѣ появлялся свѣтло-начищенный самоварчикъ, наливочка, колбаса,

французская булка, и у Никифора дѣлалось на душѣ покойнѣй.

— Теперь моя, окончательно!

— Твоя, твоя!.. Ты одинъ и словно ничего не было...

Таня начинаетъ ластиться и придумывать для Никифора разные эпитеты, которые приводятъ того въ восторгъ и заставляютъ смѣяться.

— Экая ты выдумщица!—говоритъ онъ, а самъ радъ.

Но вдругъ раздается стукъ въ дверь, требовательный и нетерпѣливый. Они вздрагиваютъ и умолкаютъ.

Со двора доносятся голоса, смѣхъ, крики.

— Дома ея нѣтъ! — говоритъ, не отпирая двери, Ариша.

— Отопри!

И опять стукъ, болтанье, ругань... А когда все стихнетъ, прежнее настроеніе къ Никифору больше не возвращается, въ душѣ опять начнетъ подниматься тревога, и онъ дѣлается задумчивымъ и хмурымъ.

— На что ты сердишься?

— Не то, чтобы сержусь, а не могу! Мысли разныя въ башку лѣзутъ...

— Брось! Не думай! Выпей вотъ лучше наливочки... Рѣдко видимся, а ты еще—думать! Что тутъ думать? Часы-то, милый, бѣгутъ, бѣгутъ и все въ одну сторону, а тамъ и жизнь пройдетъ... Давай чокнемся — что ли? ничего не придумаешь, все равно...

Никифоръ выпьетъ и какъ будто станетъ повеселѣй

— Давай польку танцовать! Ну, вставай!

Таня силой стаскиваетъ Никифора со стула и начинаетъ его вертѣть. Но у нея не хватаетъ силъ, потому, что Никифоръ—неповоротливъ.

— Не выходитъ ничего съ тобой... уфъ!

Никифоръ смѣется:

— Гдѣ ужъ намъ польку! Только ногу тебѣ отдавилъ... Больно?

— Это ничего не составляетъ!—запыхавшись, отвѣ-

чаетъ Таня. — А ты смотри, какъ полька танцуется, гляди мнѣ на ноги!

Она схватываетъ вѣнскій стулъ вмѣсто дамы и, подпѣвая „трала-тата-трала-ла“, начинаетъ вертѣться по комнатѣ. А Никифоръ смотритъ и, довольно ухмыляясь, думаетъ:—„барышня да и только! А, между прочимъ, моя она“, и ему не вѣрится глазамъ, словно все это—во снѣ, а не на яву.

Но когда Никифоръ раннимъ утромъ шагалъ по улицамъ города, окутаннаго еще сумерками уходящей ночи, къ своимъ банямъ, онъ былъ печаленъ и чувствовалъ, что все-таки ему чего-то недостаетъ, и что все-таки на душѣ нѣтъ покоя... И ночью онъ опять думалъ, почему нѣтъ спокою и почему „все что-то какъ будто неладно“... И, наконецъ, онъ додумался: „любитъ, такъ на всякую бѣдность пойдетъ, мухта не остановитъ“, и когда онъ додумался, то пошелъ къ Танѣ и серьезно и тихо началъ:

— Надо, Танюша, все это устроить... Надо тебѣ замужъ пойти...

— За кого это? ты что?!

— Само собой, за меня! Пойдешь?

— Нѣтъ, не пойду.

— Это почему же такъ? — обиженно и удивленно спросилъ Никифоръ.

— Какая же я тебѣ жена? Ужъ жениться задумалъ, такъ—честную возьми...

— Это опять же мое дѣло, кого взять... Ты говори: пойдешь?

— Нѣтъ.

— Не можешь отъ этой самой мерзости отстать?

Таня не отвѣтила, а только вздохнула.

— Паскуда!—закричалъ вдругъ Никифоръ и ударилъ кулакомъ по столу.

Таня убѣжала въ спальню, уткнулась головой въ подушку и начала вздрагивать плечами.

Никифоръ подошелъ, и ему стало жалко Таню. Подсѣвъ въ ногахъ, на постели, онъ сказалъ:

— Прости, Танюша!

— Бѣшеный ты! — сказала сквозь слезы Таня и, сѣвъ на постели, стала смѣяться и плакать вмѣстѣ.

— Вотъ ты теперь меня паскудой ругаешь, а когда женой стану,—и подавно! А все-таки, Никифоръ, тебѣ стыдно: кому другому я—паскуда, а для тебя—честная...

Потомъ она встала, налила двѣ рюмки наливки и сказала:

— Что тутъ говорить да плакать! Люби, покуда любишь... На! Бери! Да не ругай впередъ такъ, а лучше брось—и все тутъ!.. Пей!

Никифоръ приласкалъ Таню. Гладя ее по волосамъ, онъ сказалъ:

— Какъ же бросить-то, когда у меня сердце по тебѣ болитъ, когда тоска по тебѣ спать не даетъ!?

Дѣйствительно, Никифоръ тосковалъ. Иногда онъ плакалъ въ своей комнатѣ, лежа ночью въ постели, и Петька, просыпаясь, прислушивался и удивленно спрашивалъ:

— Никифоръ! А Никифоръ! Во снѣ ты, что ли, это?

Но Никифоръ не отвѣчалъ, потому что ему дѣлалось стыдно того, что онъ плачетъ,—и Петька рѣшалъ, что это—во снѣ.

— Налакался, видно, ночью-то!—произносилъ онъ и скоро начиналъ всхрапывать.

А Никифоръ вздыхалъ. Онъ думалъ о томъ, что вотъ онъ здѣсь лежитъ, а теперь, можетъ быть, у Тани—какой-нибудь гость, или за ней прислали извозчика и увезли куда-нибудь.

Только на Страстной недѣлѣ Никифоръ немного смирился, и любовь его сдѣлалась тихой и ровной. Таня говѣла и ни съ кѣмъ, кромѣ Ариши, не хотѣла видѣться: ей хотѣлось подальше уйти отъ всѣхъ житейскихъ помысловъ.

— Не ходи ужъ и ты, Никифоръ Николаичъ! Надо немного опомниться хоть передъ святыми-то днями...

И Никифоръ не ходилъ, но былъ спокоенъ и скучалъ какъ-то кротко, со смиреніемъ. Иногда его подмывало пойти хоть на минутку, чтобы только увидать Таню и услыхать ея голосъ, но великопостное настроеніе всего окружающаго, сравнительная тишина на улицѣ, протяжный трезвонъ колоколовъ, грусть вечеровъ предвесенняго времени,—все это помогало ему бороться со своимъ желаніемъ, и онъ оставался дома и думалъ: „пусть отдохнетъ отъ всего, бѣдная!“

Таня, дѣйствительно, отдыхала. По утрамъ она ходила къ „часамъ“, не пивши чаю, читала дома нараспѣвъ Евангеліе, не пропускала вечеренъ... Она стала такой серьезной и тихой, и ей казалось, что все, что было такъ недавно, отодвинулось, отошло далеко назадъ, и что началась совсѣмъ новая жизнь, и сама она—стала другая... Въ церкви она стояла такая скромная, съ сокрушеннымъ выраженіемъ въ глазахъ, въ позѣ, во всей фигурѣ и молилась усердно, все больше на колѣняхъ, передъ образомъ Спасителя. Когда на амвонъ выходилъ батюшка въ черномъ, съ серебряными крестами, облаченіи и начиналъ „Господи, Владыко живота моего“, Таня сейчасъ же опускалась и не поднималась, пока батюшка не уходилъ... Къ вечернѣ она приходила очень рано, когда церковь была еще почти пустая, и тишина храма, съ его сводами, полусумракомъ и рѣдкими огоньками восковыхъ свѣчъ и лампадъ, сообщала ея душѣ благоговѣніе, почти страхъ... Но у ней была твердая вѣра въ прощеніе грѣховъ, и она трепетала благодарностью передъ ликомъ Спасителя, устремляя на него свои глаза, печальные и умоляющіе... Здѣсь она была просто человѣкомъ, такимъ же грѣшнымъ, какъ всѣ люди, и ей казалось, что и другіе всѣ думаютъ теперь такъ же и видятъ въ ней равнаго себѣ по грѣхамъ человѣка. Она такъ же, какъ и всѣ, прикладывалась къ Евангелію,

къ образамъ, къ плащаницѣ, хоронила вмѣстѣ со всѣми Христа и держала, какъ и всѣ другіе, горящую свѣчу... Какъ всѣ, исповѣдывалась и причащалась... И не было никакой разницы ни въ чемъ... Когда пѣли: „Не рыдай мене, Мати, зряще во гробѣ“, на рѣсницахъ Тани дрожали слезы, и ей казалось, что она сама лежитъ въ гробѣ, а мать плачетъ, и ей поютъ „Не рыдай мене, мати“... И Никифоръ Николаичъ стоитъ тутъ же у гроба и, опустивъ голову, вспоминаетъ о Танѣ и о томъ, какъ она его любила...

А Никифоръ, дѣйствительно, стоялъ тутъ, почти рядомъ: онъ узналъ, гдѣ говѣетъ Таня, и хотѣлъ только спросить, куда она пойдетъ къ заутренѣ, чтобы быть вмѣстѣ... Когда вечерня кончилась, и Таня вышла изъ калитки церковной ограды, Никифоръ подошелъ къ ней, скромно поздоровался и спросилъ,—такъ что Великую заутреню они стояли рядомъ и, какъ только священникъ громко сказалъ съ амвона „Христосъ Воскресе!“, а на клиросѣ отвѣтили ему радостнымъ тропаремъ,—они похристосовались и дали другъ другу по красному яичку. Потомъ они вмѣстѣ разговлялись и у обоихъ было такъ хорошо, свѣтло и ясно на душѣ, словно они были не взрослые люди, а дѣти, у которыхъ нѣтъ ни грустныхъ воспоминаній, ни злобы, ни корысти...

На Святой недѣлѣ они часто видѣлись и однажды ходили на Арское поле, за городъ, гдѣ стояли балаганы, качели съ ящиками и съ лошадками, была панорама и гдѣ весело гудѣли голоса пестрой нарядной толпы, заглушаемые неистовымъ ревомъ военной музыки, одновременно гремѣвшей во всѣхъ балаганахъ, отъ чего всѣ заботы, казалось, отлетали, и хотѣлось прыгать, что и дѣлали мальчуганы и дѣвчурки, шныряя между взрослыми... Таня и Никифоръ были одѣты франтовато: Таня—въ розовомъ, съ зонтикомъ, въ перчаткахъ, въ весенней кофтѣ съ широкими модными рукавами, а Никифоръ—въ новомъ лѣтнемъ пальто ярко-синяго

цвѣта, въ новомъ картузѣ съ блиставшимъ на солнышкѣ козырькомъ, въ новыхъ сапогахъ и новыхъ пристукивающихъ и поскрипывающихъ калошахъ, съ часами, которые онъ только-что выигралъ въ лоттерею у пропившагося цирюльника, Ивана Павлыча... Таня ходила съ Никифоромъ подъ-ручку, и кавалеръ держалъ свою руку вполнѣ правильно. Они катались на качеляхъ: сидѣли рядышкомъ въ ящикѣ и высоко возносились надъ толпой и радовались открывавшейся панорамѣ на городъ, блиставшій на солнцѣ множествомъ церковныхъ куполовъ и крестовъ... Когда ящикъ съ быстротой падалъ внизъ и при этомъ откидывался далеко впередъ, душа у Тани трепетала отъ страха и пріятнаго замиранія, и Таня крѣпко прижималась къ Никифору и смѣялась... Таня была такъ счастлива, какъ никогда въ жизни: она то и дѣло заглядывала веселыми, задорными глазами въ лицо Никифора, потомъ сжимала своей рукой его руку, за которую держалась, и шептала: „милый ты мой!“... А Никифоръ былъ страшно добръ и ласковъ къ ней.

— Можетъ, хочешь въ балаганъ?.. Пойдемъ... деньги есть! — предложилъ онъ, когда на живодрягущихъ мосткахъ-балконѣ появился въ желтомъ, съ зелеными разводами, паяцъ въ колпакѣ съ бубенчикомъ и, потрясая колоколомъ, закричалъ:

— Сейчасъ начинается! Сейчасъ начинается!

Тутъ грянула музыка, и Таня сказала: „ну, пойдемъ ужъ!“ Никифоръ взялъ билеты сидѣть, а не стоять, и это очень польстило Танѣ.

— Сколько заплатилъ? — съ благодарностью спросила она.

— По три гривенника... Видать тебѣ? Можетъ, сюда сядешь, на мое мѣсто?

— Сиди, сиди! Видно, хорошо видно...

— Танечекъ!—прошепталъ сзади чей-то голосъ.

Таня слышала, но не обернулась, а только покрас-

нѣла. Тогда голосъ опять слащаво сказалъ: „Танечекъ“.

Никифоръ обернулся, злобно сверкнулъ своими круглыми синими глазами и нашелъ того, кто сказалъ.

— Вамъ, господинъ, что нужно?

— Не съ тобой!

— Однако?

— Оставь, наплевать... Хуже!—шепнула на ухо Никифору Таня.

— Я вамъ покажу „Танечка!“ – проворчалъ Никифоръ и еще много разъ оборачивался назадъ.

— Тоже — чиновникъ: рожу слѣдуетъ раскровенить... — ворчалъ онъ, не будучи въ силахъ успокоиться.

А Таня чувствовала молчаливую благодарность къ Никифору, и у ней было такое ощущеніе, словно она—маленькая, а онъ—большой и сильный и не дастъ ее никому въ обиду...

V.

Но прошла Пасха, перестали трезвонить колокола, и все пошло по старому. И по старому на Никифора стала находить тоска, попрежнему въ душѣ закопошилась тревога, и ревность мѣшала ему спать по ночамъ. Особенно стала одолѣвать Никифора эта тоска и ревность, когда пришла настоящая весна, зацвѣла въ садахъ сирень и черемуха, вишни одѣлись бѣлымъ цвѣтомъ, какъ снѣгомъ, и ночи, тихія и свѣтлыя, сдѣлались такими коротенькими, что вечерняя заря потухала, а утренняя уже шла ей на смѣну, и не успѣвалъ замолкнуть соловей, какъ начинали просыпаться и чирикать воробушки, а подъ окномъ ворковать голуби... Часто въ такія ночи Никифоръ не отходилъ отъ раскрытаго окна въ коридорѣ; перекинувшись всѣмъ кор-

пусомъ чрезъ подоконникъ, онъ слушалъ, какъ шаркаютъ по панелямъ сапоги прохожихъ, какъ гдѣ-то звонко лаетъ собака, какъ внизу, близко гдѣ-то, должно быть, на лавочкѣ, у воротъ, потихоньку бесѣдуетъ влюбленная парочка, какъ изъ общественнаго сада разносится по городу послѣдній печальный маршъ военной музыки и какъ все тише и тише становится на улицѣ, и только собака гдѣ-то все лаетъ, не унимается. „Что-то подѣлываетъ Танюша?“—думалъ Никифоръ и вздыхалъ. И какъ нарочно, теперь у Никифора стало больше хлопотъ по службѣ и днемъ было легче вырваться, чѣмъ вечеромъ. Всю ночь нельзя отлучаться. Одинъ разъ Никифоръ не вытерпѣлъ и безъ спроса утекъ, и за это—два рубля штрафу... Только въ праздникъ и можно было отдохнуть и позабыть баню, тазы и мочалки... Какъ только этотъ праздникъ наступалъ, Никифоръ надѣвалъ поддевку поверхъ красной рубашки и, поскрипывая сапогами въ своихъ кожаныхъ калошахъ, которыя онъ надѣвалъ и въ сухую погоду,—шелъ на Мокрую улицу къ Танѣ. Тогда они отправлялись либо въ общественный садъ, гдѣ въ крашеномъ павильончикѣ ѣли мороженое и пили баварскій квасъ, либо за городъ, на Арское поле, въ рощу, а потомъ приходили и пили чай въ сѣняхъ, для прохлады и еще потому, что здѣсь было меньше мухъ. Но къ семи часамъ Никифору надо было быть дома,—и онъ, ругаясь, возвращался. Однажды, въ такой праздничный день, Танѣ вздумалось покататься на лодкѣ. Рѣка уже стала спадать, но воды было еще много, и катанье на лодкахъ было въ самомъ разгарѣ.

— Въ лодкѣ бы покататься!—сказала Таня.

— Ну такъ что? Пойдемъ и только... Вотъ только никакъ денегъ-то...

— У меня есть! Ничего не составляетъ!

Они пошли; дорогой Таня купила вяземскихъ пряниковъ и воложскихъ орѣховъ.

— Угодно вамъ?—сказала она, сіяя отъ охватившей ее радости.

— Съ нашимъ удовольствіемъ!—отвѣтилъ Никифоръ, запуская руку въ бумажный пакетъ съ орѣхами.

Когда они вышли на крутую набережную, и подъ горой засверкала гладкой, какъ стекло, поверхностью тихая рѣка, а взоръ ушелъ въ глубь зеленыхъ луговъ зарѣчья, Таня даже засмѣялась отъ радости: она почувствовала себя такъ, словно вырвалась на свободу послѣ долгаго заключенія. Рѣка катилась подъ городомъ, широкая и спокойная, за рѣкой тянулся яркій зеленый коверъ только-что обмытыхъ вешнею водою луговъ, и вдали бѣлѣла колокольня пригороднаго села Савинова; на голубоватой рѣчной поверхности тамъ и сямъ скользили, разрѣзая носомъ воду, крашеныя лодки, сверкавшія на солнцѣ веслами, бѣлыя чайки кувыркались надъ водой; гдѣ-то пѣли хоромъ „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“...

Таня проворно сбѣжала подъ горку и затопала каблуками по мосткамъ купальни, гдѣ можно было взять напрокатъ лодку. Лодочникъ сильно запрашивалъ и дорожился, и Никифоръ назвалъ его „татарской мордой“, потому что онъ былъ татаринъ. Но Таню брало страшное нетерпѣніе и хотѣлось поскорѣе поѣхать въ лодкѣ.

— Ну ладно, ладно... Сорокъ, такъ сорокъ!.. Наплевать!—сказала она и прыгнула въ одну изъ лодокъ, выкрашенную внутри бѣлой краской. Лодка закачалась, и Таня вскрикнула, но прыгнулъ въ лодку Никифоръ и поддержалъ Таню. Никифоръ сѣлъ на весла, а Таня на руль. Татаринъ, погремѣвъ цѣпью, на которой была прикована лодка, сильнымъ движеніемъ мускулистой руки оттолкнулъ ее,—и она тихо поплыла отъ берега... Таня смотрѣла въ воду, гдѣ отражалось голубое небо съ разбросанными на немъ тамъ и сямъ бѣлыми облачками, и ей казалось, что они полетѣли по воздуху...

Вверху—голубыя небеса, внизу—тоже небеса; городъ съ его хаосомъ зеленыхъ, красныхъ и сѣрыхъ крышъ, съ каланчой, куполами, сверкающими на солнцѣ стеклами, съ длинными фабричными трубами и отдаленнымъ гуломъ извозчичьихъ пролетокъ, сталъ отодвигаться назадъ, и спустя полчаса отъ него остались только куполъ съ крестомъ, фабричная труба и полицейская каланча... Съ нагорнаго берега поползли къ водѣ сады и роща, по другому—безконечный зеленый коверъ луговъ, пропадающихъ въ дымкѣ горизонта, и стало наносить оттуда ароматомъ травъ и полевыхъ цвѣтовъ... Впереди, посединѣ рѣки, возвышались кудрявыми, зелеными головами острова, куда горожане ѣздили съ самоварами и удочками, и тамъ курился тонкой струйкой палевый дымокъ костра.

— Хорошо!—сказалъ Никифоръ, переставая грести, и сбросилъ картузъ въ лодку.

— Ужъ какъ я рада, какъ рада, что мы съ тобой поѣхали!—отвѣтила Таня и улыбнулась Никифору.

— Главное—одни, вдвоемъ... И никому до насъ нѣтъ дѣла,—добавила она и спросила:

— Хочешь пряничка?

— Съ нашимъ удовольствіемъ!

Когда навстрѣчу имъ плыла лодка, въ которой сидѣли: господинъ въ соломенной щляпѣ съ большими полями, дама подъ свѣтлымъ зонтикомъ съ кружевами и дѣвочка лѣтъ шести съ вьющимися локонами, Таня подумала, что это проѣхали мужъ съ женой и что она, Таня, тоже не одна, и что у ней есть свой предметъ, котораго она любитъ все равно, какъ мужа, и который любитъ ее, какъ любятъ настоящихъ женъ...

Но счастье Тани всегда чѣмъ-нибудь омрачалось. Когда они были уже близко къ островамъ, бокъ-о-бокъ съ ними проплыла большая лодка, полная военными писарями. Писаря были пьяны, играли на гармоникѣ и пѣли нестройно, но очень громко.

И одинъ изъ этихъ писарей, когда уже лодки разъѣхались, всталъ на ноги и, замахавъ фуражкой, закричалъ: „здравствуй, Танька!..“

А всѣ другіе захохотали и стали свистать и мяукать по-кошачьи...

Таня вспыхнула и закрылась отъ Никифора зонтикомъ, и вся радость души куда-то улетѣла сразу, и ей было обидно до слезъ...

Никифоръ нахмурился и налегъ на весла, чтобы поскорѣй уѣхать отъ непріятности, а Таня круто свернула руль, чтобы направить лодку въ затопленные водою кусты тальника и закрыться отъ оскорбленій, но на большой лодкѣ, медленно уплывавшей къ городу, стоялъ безъ мундира военный писарь, махалъ фуражкой, и по тихой водѣ неслось „Тань-ка-а-а“, а острова отвѣчали эхомъ и тоже кричали „Тань-ка!“

— Никуда не скроешься отъ этой мерзости! — сказалъ Никифоръ, оставляя весла, и въ его сердцѣ шевельнулась досада на Таню.

Послѣ катанья на лодкѣ Никифоръ вернулся домой злой и недовольный, и когда Петька показалъ ему свою фотографическую карточку, то онъ послалъ его къ чорту.

— Я твою глядѣлъ, ничего... А ты не можешь?

— А песъ тебя возьми совсѣмъ и съ твоими патретами.

Ночью онъ, по обыкновенію, сидѣлъ на подоконникѣ и слушалъ, какъ изъ раскрытыхъ свѣтящихся оконъ дома противоположной стороны вырывались то громкіе, то тихіе аккорды рояля. И слушая эту музыку, Никифоръ ощущалъ какую-то тревогу, и ему было жаль чего-то и хотѣлось сказать Танѣ о чемъ-то, чего онъ и самъ не зналъ хорошенько... Откуда-то наносило ландышемъ и отъ этого было еще грустнѣе и сильно тянуло къ Танѣ, потому что ему вспомнился стаканъ съ пучкомъ ландышей, который онъ видѣлъ у Тани

на столикѣ, въ спальнѣ. Военные писаря испортили имъ прогулку, и изъ-за нихъ Никифоръ неласково простился съ Таней,—и это его теперь безпокоило, и онъ жалѣлъ объ этомъ... Такъ онъ просидѣлъ до тѣхъ поръ, пока слабый отблескъ наступающаго утра не заставилъ поблѣднѣть коротенькую ночь и пока въ садахъ, за заборами, не стали чирикать проснувшіеся воробьи. Тогда Никифоръ, осторожно ступая по коридору и по лѣстницамъ, вышелъ на дворъ, а оттуда на улицу. За воротами онъ нѣкоторое время постоялъ въ нерѣшительномъ раздумьи, а потомъ скорымъ шагомъ направился къ Мокрой улицѣ; ему все казалось, что идетъ онъ медленно, а что идти далеко и времени остается до утра мало, поэтому онъ сѣлъ на извозчика... Уже востокъ сталъ алѣть, и начали попадаться громыхающія тяжелыми колесами крестьянскія телѣги, тянущіяся къ базарной площади, когда Никифоръ подъѣхалъ къ дому Иванова.

У Никифора билось сердце тревожно, и ему было немного страшно, когда онъ взялся за скобу двери маленькаго домика. Сперва онъ стукнулъ тихо и подождалъ, что будетъ... Все оставалось попрежнему тихо. Тогда онъ застучалъ громче и нетерпѣливѣе, но все-таки не было отвѣта. Никифора стала разбирать досада, и онъ, стиснувъ зубы, заботалъ въ дверь каблукомъ сапога.

— Кто это безобразничаетъ? — спросилъ сонный и сердитый голосъ Ариши изнутри.

— Отвори! Я!

— А, это ты, Никифоръ!.. Не узнала по голосу-то... Къ намъ нельзя.

— Все равно, отопри! Покурю да уйду!

— Погоди... Схожу, спрошу Таню...

Ариша ушла, а Никифоръ стоялъ, держась рукой за скобу двери, и злоба и обида боролись въ немъ между собою.

— Не велитъ пускать, — сказала, наконецъ, Ариша.

— Не велитъ?—Меня не велитъ?

— Нельзя... нехорошо... Иль не понимаешь?

— Понимаю! Очень даже хорошо понимаю васъ, шлюхъ проклятыхъ!—громко и злобно отвѣтилъ Никифоръ и, спрыгнувъ съ крылечка, подбѣжалъ къ окнамъ,—и стекла зазвенѣли и посыпались на землю.

На крыльцѣ появилась Таня, въ накинутомъ на голыя плечи каньевомъ бѣломъ одѣялѣ, съ такими испуганными и негодующими глазами.

— Что ты, бѣшеный, въ своемъ умѣ или нѣтъ?

— Въ своемъ собственномъ!—ухмыляясь, надменно произнесъ Никифоръ.

— Не имѣешь права! Что я тебѣ? жена, что-ли? Мужикъ!

— Вотъ ты какъ?!

Никифоръ развернулся и наотмашь ударилъ Таню по щекѣ съ такой силой, что она покачнулась. А когда она, оправляя сползшее съ плеча одѣяло, со слезами на глазахъ, хотѣла что-то сказать, то Никифоръ не далъ ей опомниться и, размахнувшись, звонко ударилъ по другой щекѣ и, злобно прошипѣвъ „стерьва“, толкнулъ ее въ грудь кулакомъ, послѣ чего Таня покатилась на землю и закричала раздирающимъ душу воплемъ, немного хриплымъ и визгливымъ, похожимъ на крикъ человѣка, котораго душатъ... А Никифоръ повернулся и пошелъ прочь и скоро исчезъ за амбарушками...

На дворъ выбѣжала растрепанная, въ одной юбкѣ, Ариша и помогла Танѣ, задыхавшейся отъ оскорбленія и безсильной злобы, встать на ноги и подняться на крылечко.

— Посиди! Отдышись! Я тебѣ воды сейчасъ принесу...

Таня сидѣла въ темной кухнѣ, на постели у Ариши, и тяжело дышала... Бѣлки ея глазъ сверкали въ темнотѣ, и голыя руки дрожали на колѣняхъ... Она еще

не чувствовала физической боли, но оскорбленіе клокотало у нея въ груди, и она ненавидѣла въ этотъ моментъ Никифора всѣми силами поруганной и оплеванной любимымъ человѣкомъ женщины... Только когда Ариша дала ей напиться воды и помочила голову,— Таня разрыдалась. Упавъ головой на грудь къ Аришѣ, она жалобно и безпомощно завыла.

— Перестань, перестань! — шептала ей на ухо Ариша,—вспомни, что тамъ гость... слышитъ... нехорошо...

Но Таня рыдала и тряслась, цѣпляясь кистями рукъ за худыя костлявыя плечи Ариши.

— Чортъ знаетъ, что за безобразіе!.. Сволочь!—раздался чей-то грубый голосъ, и дверь громко стукнула въ передней.

— Вотъ видишь и ушелъ! И нехорошо!.. Надо сдержать себя...—шептала Ариша.

— Это за что же? за что же это, Аришенька?!— вскрикивала Таня между воплями.

— Вотъ ты ничего не понимаешь, дѣвка... Послушай-ка! Не реви-ка!

И Ариша стала, наклонившись надъ Таней, говорить, что если бы Никифоръ любилъ ее такъ же, какъ всѣ прочіе гости, то онъ не сталъ бы марать рукъ, а только плюнулъ и ушелъ бы... Значитъ, Никифоръ ее любитъ совсѣмъ по-другому, по-настоящему, какъ жену или милую любовницу. Ревность его терзаетъ, и нѣтъ мочи у него сердце сдержать... А иначе не сталъ бы марать рукъ...

— Ты, дѣвка, радуйся, а не плачь! Вѣрно тебѣ говорю! Кабы не любилъ, не сталъ бы такъ звѣровать. Это все—отъ большой настоящей любви... Такъ-то, сударушка! Выпей-ка еще водички-то!

Ариша зажгла свѣчу и, сладко позѣвнувъ, пошла въ сѣни за водой...

— Пей! Да не плачь, а радуйся!.. Я вотъ тебѣ разскажу, сударушка...

И Ариша стала разсказывать про деревенскіе обычаи и примѣты и разсказала много случаевъ изъ жизни, когда мужъ, любившій жену, билъ ее, а какъ любовь въ немъ остывала, такъ переставалъ бить...

— А твой Никифоръ нашъ деревенскій... Это у васъ, у городскихъ, по-другому, а у насъ—этакъ, сударушка!

Таня прилегла на кровати у Ариши, поджала ноги и слушала, и обида какъ будто дѣлалась меньше, но зато горѣли щеки, закрывался глазъ, и было очень больно въ груди.

— Принеси-ка, Аринушка, зеркальце маленькое!.. Тамъ, у меня на столикѣ...

Ариша принесла круглое зеркальце, и Таня, глядясь въ него однимъ не закрывшимся глазомъ, сквозь слезы говорила:

— Обезобразилъ, бѣшеный! Ужъ какой характеръ ревнивый—нѣтъ силъ никакихъ!..

А сама смѣялась, потому что, дѣйствительно, чувствовала, что все это—отъ большой настоящей любви.

— Это все пустяки, пройдетъ!—ворковала Ариша.— Милые бранятся, только тѣшатся... Вотъ какая пословица есть!..

— Не смѣши ты меня, Аринушка! Хорошая потѣха! Ха-ха-ха! Посмотри-ка, глаза не видать!

И Таня опять хохотала сквозь слезы и прикладывала къ вздувшемуся глазу намоченное водой полотенце...

— Вотъ ужъ фабрика гудитъ... До которыхъ поръ прокаталажились...—сказала Ариша, — люди выспались да и за работу, а мы только спать собираемся...

VI.

„На зло Танькѣ“ Никифоръ пошелъ шататься по разнымъ скернымъ мѣстамъ и, потушивъ злобу и потребность мести, вернулся домой, растерянный и несчастный, очень поздно. Весь день онъ провалялся на

кровати съ головной болью, и у него не было никакого страха, когда Петька сообщилъ, что управляющій хочетъ прогнать его съ мѣста. Случилось что-то скверное и непоправимое, предъ которымъ боязнь за мѣсто совсѣмъ стушевалась... Пусть выгонятъ съ мѣста... Наплевать! Теперь ужъ все равно, потому что прежнее не вернется, а безъ этого „прежняго“ все равно тяжело и горько— будетъ онъ при мѣстѣ или безъ мѣста... Никифоръ слонялся по коридорамъ, потерянный и странный, и у него было такое чувство, словно онъ потерялъ самое дорогое и главное въ жизни... Равнодушно выслушалъ онъ выговоръ управляющаго, и ему было нисколько не совѣстно, когда тотъ говорилъ:

— Это тебѣ и не совѣстно, пьяная твоя рожа? Какъ ты людямъ-то будешь въ глаза глядѣть? а?

А Никифору было наплевать на всѣхъ людей, и въ то время, когда управляющій читалъ ему нотацію и объяснялъ, что значитъ честный человѣкъ, а что—подлецъ, Никифоръ думалъ о томъ, что, когда придетъ суббота, онъ пойдетъ къ Танѣ и будетъ просить у ней прощенія...

— Понялъ? — спросилъ управляющій, кончивъ нотацію.

— Такъ точно,—отвѣтилъ Никифоръ, хотя и не слышалъ даже хорошенько, что говорилъ управляющій.

— И если я еще замѣчу, что ты... Покаешься!—сказалъ управляющій и погрозилъ пальцемъ.

— Такъ точно,—безучастно отвѣтилъ Никифоръ, а управляющій пошелъ и думалъ, что Никифору очень стыдно и что онъ все-таки имѣетъ совѣсть, которая его, видимо, мучаетъ...

Наступила суббота. Когда Никифоръ освободился отъ работы, онъ одѣлся и пошелъ бродить по улицамъ города. Зашелъ въ трактиръ съ задняго хода и потребовалъ себѣ бутылку пива: гулъ пьяныхъ голосовъ, тресканье билліардныхъ шаровъ, звонъ посуды, табач-

ный дымъ — все это на первыхъ порахъ какъ будто и ослабляло немного глухую тоску о потерѣ „прежняго“, но только — на первыхъ порахъ. А потомъ, когда онъ допилъ пиво и расплатился, то не зналъ, что ему еще сдѣлать,—и опять тоска задрожала въ немъ, и явилось чувство, что онъ потерялъ самое дорогое и главное въ жизни и никогда не найдетъ его... Выйдя изъ трактира, онъ опять сталъ бродить по улицамъ. Его тянуло къ Танѣ, но идти къ ней было страшно и совѣстно, и не было надежды, что она проститъ ему обиду, потому что она—гордая... „За что я ее?“ — думалъ Никифоръ и самъ разводилъ руками. Однако, ноги словно распоряжались теперь Никифоромъ, и онъ все приближался къ Мокрой улицѣ, колеся обходами и проулками и значительно удлиняя тѣмъ путь къ дому Иванова. И незамѣтно Никифоръ дошелъ до этого дома и остановился у воротъ его. Долго онъ не рѣшался войти въ калитку, сидѣлъ на лавочкѣ у воротъ и прислушивался, что дѣлается во дворѣ дома Иванова. А тамъ ровно ничего не дѣлалось и было тихо, потому что было очень поздно, и всѣ обитатели перестали шевелиться. Вздохнувъ, Никифоръ медленно пошелъ прочь отъ воротъ, но потомъ вдругъ остановился, подумалъ и вернулся къ воротамъ. Нырнувъ подъ желѣзную цѣпь калитки, онъ сталъ тихо пробираться между хлѣвушками и амбарушками къ маленькому домику съ крылечкомъ и былъ похожъ на вора, который все оглядывается и боится, какъ бы его не увидали и не поймали. Когда въ окошкѣ маленькаго домика мигнулъ огонекъ, то Никифору вспомнилось, какъ онъ смотрѣлъ когда-то въ это окно и видѣлъ, какъ дѣвушка въ бѣлой кофточкѣ молилась Богу и крестила свою подушку... И теперь, какъ тогда, Никифоръ подошелъ къ этому окну и, затаивъ дыханіе, сталъ смотрѣть. Но окно было плотно закрыто занавѣской, и ничего не было видно, кромѣ человѣческой тѣни, то мелькавшей, то исчезав-

шей на бѣломъ фонѣ занавѣски. Но Никифоръ не уходилъ, стоялъ и все не рѣшался стукнуть два раза пальцемъ въ стекло, какъ у нихъ было условлено. Только когда огонь потухъ, и у Никифора вздрогнуло сердце, онъ робко стукнулъ два раза. Занавѣска моментально приподнялась, Таня стукнула тоже два раза, и послышался ея голосъ:

— Ты это, Никифоръ Николаевичъ?

— Я.

— Иди! Иди!

Слышно было, какъ метнулась Таня и босыми ногами застукала по полу. Защелка брякнула, дверь пріотворилась, и послышался опять Танинъ голосъ:

— А я ждала-ждала... Думала ужъ, что ты не придешь... никогда не придешь больше, — радостно прошептала Таня и, пропустивъ впередъ Никифора, заперла дверь, попробовала, крѣпко ли заперто, и тогда обхватила шею Никифора теплыми голыми руками.

— Пришелъ, небойсь! — сказала она, ластясь и смѣясь.

— Задержали...—отвѣтилъ Никифоръ, который былъ и обрадованъ, и пораженъ столь неожиданнымъ для него концомъ всѣхъ терзаній, пережитыхъ имъ за послѣдніе дни. И отъ такого конца ему было еще больше стыдно, и онъ избѣгалъ смотрѣть въ лицо Тани.

Таня зажгла свѣчу и сказала:

— Посмотри, бѣшеный, что ты со мной сдѣлалъ!.. Ахъ ты, ревнивый мой!..

— Что-то такое нашло на меня... И самъ не понимаю...

— Ну ладно, все равно!.. Хотѣла я разсердиться на тебя, да нѣтъ сердца, ничего не подѣлаешь... Не смотри на меня! Не надо!—конфузясь и закрывая лицо ладонью руки, сказала Таня и погасила свѣчку.

— Некрасивая я стала... Глазъ вздулся, на щекѣ ссадина... Гостямъ не показываюсь, а тебѣ, бѣшеному,

и подавно!.. Разлюбишь! Некрасивая! Третій день сижу дома, никого не принимаю... Денегъ нѣтъ ни копейки, сахару нѣтъ... въ приглядку съ Аришей пьемъ! Вотъ ты что съ нами надѣлалъ!

— И самъ понять не могу...

— У-у! Ревнивецъ! Не сержусь ужъ я!.. Неужели не вѣришь ты, что я передъ тобой невинна? а?

— Ну оставь! Больше этого не будетъ!

— Ахъ ты, маловѣрный! Да вѣдь ты у меня одинъ! На кого я тебя промѣняю?

— Оставь! Больше этого не будетъ!..

Но прошла недѣля, и опять вышло то же самое: Никифоръ опять разбилъ окна, избилъ Таню, и она опять плакала отъ обиды и боли, а затѣмъ опять ждала Никифора и встрѣчала его съ такой радостью, словно ничего не было: ни этихъ побоевъ, ни мукъ обиды и оскорбленія...

А потомъ это стало повторяться чаще и чаще. Но разница была въ томъ, что Никифоръ съ каждымъ такимъ случаемъ все меньше мучался раскаяніемъ, переставалъ при этомъ чувствовать, что онъ теряетъ что-то самое дорогое и важное въ жизни и, когда Таня, ластясь, вспоминала о своихъ синякахъ и побояхъ, то онъ начиналъ сердиться и говорилъ: „оставь!“ такимъ тономъ, въ которомъ было больше раздраженія, чѣмъ сознанія своей жестокости и несправедливости по отношенію къ Танѣ. Но Таня крѣпко держалась за свое счастье и убѣждала себя, что все это — отъ любви, отъ настоящей любви, какой любятъ мужья своихъ женъ.

— Онъ у меня бѣшеный характеръ имѣетъ!.. А все-таки я знаю, что онъ терзаетъ меня отъ любви,—говорила она, показывая портретъ Никифора своей сосѣдкѣ Кларѣ, такой же, какъ она, дѣвушкѣ съ желтымъ билетомъ, которую офицеры называли „Кларочка“, а студенты—„Клярисима“.

Клара — это былъ ея псевдонимъ, а попросту она звалась Ольгой — было завидно, потому что ее некому было терзать, и никто не любилъ ея никогда настоящей любовью.

— Видный изъ себя мужчина! — говорила Клара, разсматривая портретъ Никифора, и со вздохомъ добавляла:

— А у меня никого нѣтъ, и некого мнѣ бояться...

Однажды Никифоръ засталъ Таню въ слезахъ. Она не вышла, какъ всегда, съ радостной и счастливой улыбкой встрѣтить Никифора, и онъ подумалъ, что ея нѣтъ дома, и разсердился на то, что понапрасну „такую даль отмахалъ".

— А гдѣ Татьяна? — недовольно спросилъ онъ у Ариши, отворившей ему на этотъ разъ дверь.

— Плачетъ все она что-то... — шопотомъ отвѣтила Ариша и показала рукой по направленію спальной.

— Это почему такъ?—спросилъ Никифоръ.

— Спроси самъ!—махнувъ рукой, сказала Ариша.

Таня сидѣла на постели, поджавъ подъ себя ноги, и, увидѣвъ Никифора, грустно улыбнулась ему навстрѣчу.

— Что это означаетъ, что у васъ глаза красные?

— Такъ, ничего.

— Али глаза на мокромъ мѣстѣ? Что-то неладное происходитъ...

— Такъ себѣ... Что-то тоскливо мнѣ...

— А ты скажи прямо! Вижу, что есть что-то... Другой, что ли, завелся? а?

— Что ты, Никифоръ, говоришь! Какъ не стыдно?— сказала Таня, и слезы сдѣлали ея глаза влажными.

— А въ такомъ разѣ почему ревѣла?

Таня закрыла лицо руками и заплакала. Никифоръ подсѣлъ на кровать и снисходительно приласкалъ ее. Ему все-таки эти слезы не нравились и его раздражало, что у Тани нѣтъ радости отъ его прихода.

— Будешь ревѣть, такъ уйду! Всю недѣлю маялся, а тутъ еще бабьи слезы... Не люблю я этого — вотъ что!—сказалъ онъ и всталъ съ постели.

— Что со мной случилось... Подойди, не сердись, я тебѣ все скажу... — прошептала Таня и разсказала то, что съ ней случилось: она захворала, надо идти въ больницу... Теперь лучше покуда Никифору не приходить... Завтра ей велѣли прійти... И, можетъ быть, ее оставятъ тамъ...

— Лучше ужъ ты покуда не ходи... Когда выздоровѣю, тогда опять будешь приходить... А то еще и самъ черезъ меня захвораешь... Этого я не хочу... — сказала она и опять стала плакать.

Никифоръ почесалъ въ затылкѣ и задумчиво произнесъ:

— Это весьма и очень непріятно... Хм!

— А будешь ты ко мнѣ приходить, если оставятъ меня тамъ, въ больницѣ?—не поднимая опущенной головы, тихо спросила Таня.

— Само собой! Хм!..

Они сидѣли долго, но оба молчали. Никифоръ все выпускалъ „хм!“, а Таня исподлобья какъ-то взглядывала на него, но сейчасъ же опускала глаза и начинала вертѣть въ рукахъ свою косу съ ленточкой въ хвостѣ.

Слезинки скатывались съ ея рѣсницъ на щеки и струйками катились и щекотали.

— Теперь ты меня разлюбишь,—сказала она.

— Зачѣмъ же! Изъ этого ничего не выходитъ! Поправишься, чай... — отвѣтилъ Никифоръ.

— А когда я выздоровѣю, я тебѣ скажу...

— Само собой! Дѣло неважное...

И они опять замолчали и сидѣли, словно впервые увидавшіе другъ друга люди, и не знали, о чемъ имъ говорить.

— Затѣмъ надо отправляться, — сказалъ Никифоръ.

Но прежде, чѣмъ проститься, сталъ ходить по залѣ, разсматривая картину „Неравный бракъ“, которую сто разъ разсматривалъ раньше, и, наконецъ, вернулся въ спальню и протянулъ Танѣ руку.

— Ну, надо отправляться! Покуда досвиданьеце!

— Посиди хоть маленько... Больно ужъ тошно что-то и тоскливо...

— Конечно, хорошаго мало,—согласился Никифоръ.

— Посиди, Никифоръ Николаевичъ, маленько!... Давай хоть въ дурачки сыграемъ!.. Больно ужъ тошно мнѣ одной оставаться... Поиграемъ въ карты маленько!— растягивая слова, упрашивала Таня. Они стали играть въ дурачки. Никифоръ былъ разсѣянъ и все о чемъ-то думалъ, нехотя покрывая и принимая карты, но все-таки Таня три раза осталась дурой. Послѣ этого Никифоръ посмотрѣлъ на свои выигранные у цирульника часы и, звонко щелкнувъ крышечкой, произнесъ:

— Пора отправляться.

— Ну, еще одну, послѣднюю партію, сыграемъ? Скучно тебѣ со мной?—печально спросила Таня.

— Нѣтъ, Танюша, зачѣмъ скучно, а только идти надо... Сегодня Петька нездоровъ, я — одинъ въ коридорѣ... Не вышло бы какихъ опять непріятностей... Одинъ разъ ужъ это было... Управляющій грозилъ разсчитать...

— Ну, тогда нечего дѣлать, ступай ужъ, — сказала Таня и разсыпала карты по одѣялу, выкинувъ ихъ изъ руки.

— Можетъ, забѣжишь завтра узнать, какъ со мной будетъ...

— Надо зайти, постараюсь...

Когда Никифоръ уходилъ, Таня стояла въ передней и смотрѣла, какъ онъ надѣвалъ свои кожаныя калоши. А потомъ она накинула на плечи платокъ, сказала „знобитъ что-то меня“ и пошла провожать Никифора до улицы. За воротами она долго стояла, смотрѣла

вслѣдъ удалявшемуся быстрой походкой Никифору и думала о томъ, что красивѣе и лучше Никифора она никого не встрѣчала на свѣтѣ... А когда она вернулась въ комнаты, то ей стало грустно, какъ тогда, когда Никифоръ ушелъ послѣ перваго визита. Она пошла въ свою комнату, сѣла опять на постель и, вынувъ изъ кармана портретъ Никифора, долго смотрѣла на него... И опять у ней скатывались съ рѣсницъ слезинки и щекотали щеки.

Ночью Ариша услыхала, что Таня плачетъ, и пришла въ спальню въ одной рубашкѣ.

— Что ты, дѣвка, ревешь? Полно тебѣ!—сказала она, подходя къ постели.

— Все теперь пропало, Аринушка, все, все! — не отрываясь отъ подушки, прошептала Таня.

— Экій грѣхъ!..

Дня черезъ три послѣ этого зашелъ Никифоръ. Никто его не встрѣтилъ. Дверь была не заперта, и онъ прошелъ черезъ всѣ комнаты и потомъ заглянулъ въ кухню. Здѣсь Ариша гладила бѣлую кофточку и, увидя Никифора, сказала:

— Нѣтъ нашей Танюши! Оставили ее тамъ...

— Оставили, — задумчиво повторилъ Никифоръ и, присѣвъ на табуретъ, сталъ крутить на указательномъ пальцѣ свой картузъ съ лакированнымъ козырькомъ.

— Бѣлье вотъ ей глажу... Завтра пойду къ ней... Не забыть бы еще: наказывала твой патретъ захватить...

— Хм!—выпустилъ Никифоръ и закурилъ папиросу.

— Чай, зайдешь къ ней какъ-нибудь въ больницу-то провѣдать? Очень просила тебя...—сказала Ариша, продолжая гладить утюгомъ кофточку.

— Само собой! Эхе-хе! — вздохнулъ Никифоръ и всталъ. Потомъ онъ пустилъ въ папиросу слюны, подавилъ мундштукъ и отбросилъ окурокъ въ сторону.

— Надо отправляться,—сказалъ онъ, но, надѣвъ на голову картузъ, продолжалъ стоять.

— Надо отправляться...

— Кланяться, чай, отъ тебя?

— Само собой! Эхе-хе! Ну, пока досвиданьеце!.. Надо идти...

И Никифоръ вышелъ, и медленно и задумчиво прошелъ дворомъ, и скрылся за воротами.

VII.

На первыхъ порахъ Никифоръ сильно тосковалъ, особенно когда наступала суббота и кончался банный день. Но въ больницу онъ все-таки не шелъ: что-то совѣстно было ему идти, и онъ все откладывалъ. Да, какъ нарочно, и обстоятельства складывались такъ, что шли навстрѣчу совѣсти: въ больницу допускали посѣтителей только по четвергамъ да по воскресеньямъ и лишь отъ двѣнадцати до трехъ часовъ; въ будни Никифору уходить было совсѣмъ нельзя, а по праздникамъ было бы можно, да опять разныя препятствія вставали неожиданно. Въ одно, первое воскресенье послѣ того, какъ Таня лежала въ больницѣ, Никифоръ пошелъ, долго бродилъ около параднаго входа въ больничное зданіе, но зайти было совѣстно: всѣ тамъ знаютъ, какого Таня поведенія, и будутъ думать, что онъ ей родственникъ... Въ два слѣдующихъ праздника отъ 12 до 3-хъ часовъ нельзя было вырваться: Петька запилъ и нельзя было „безъ никаго“ коридоръ верхній бросить... А потомъ ужъ какъ-то не тянуло особенно и позабывалось... Никифоръ сталъ поигрывать съ сотоварищами въ домино и началъ увлекаться этой игрой до такой степени, что готовъ былъ съ утра до ночи стучать костями и мѣдными деньгами. Такъ прошелъ мѣсяцъ и другой... Потомъ и въ субботу не являлось уже у Никифора никакого томленія, и онъ шелъ въ трактиръ съ задняго хода и пилъ пиво въ товариществѣ съ извозчиками, съ интересомъ слушалъ чтеніе

о разныхъ случаяхъ, напечатанныхъ въ выписываемой трактиромъ газетѣ, и самъ любилъ поговорить и побалагурить о томъ, о семъ... Только разъ вернулась къ Никифору тоска по Танѣ, но и то не надолго: роясь однажды въ своемъ сундучкѣ съ имуществомъ, онъ увидалъ подаренную ему Таней рубашку; рубашка уже износилась, розы совершенно вылиняли и мѣстами просвѣчивали дыры. Долго Никифоръ смотрѣлъ на эту рубаху,—и воспоминанія о Танѣ стали выплывать, проясняться и тревожить сердце... Знакомая тоска вспыхнула вдругъ яркимъ, но послѣднимъ пламенемъ. Вспомнились Никифору тихія лунныя ночи, вспомнились балаганы, острова, святая заутреня, вспомнилось, какъ Таня танцовала со стуломъ польку, нарядная и хорошенькая, какъ барышня,—и Никифоръ ушелъ изъ бань куда-то... Вернулся онъ на другой день поздно и совершенно пьянымъ.

— Это что же такое за безобразіе, братецъ мой?— сказалъ ему управляющій.

— Никакого нѣтъ безобразія,—отвѣтилъ Никифоръ,— выпилъ лишнее и все тутъ!

— Молчать, пьяная рожа!—крикнулъ управляющій.

— А вы все-таки не кричите, Михаилъ Павлычъ, я—не изъ пугливыхъ,—дерзко отвѣтилъ Никифоръ.

Никифора позвали въ кассу, выдали ему паспортъ и два рубля заслуженнаго жалованья и велѣли уходить вонъ. Долго Никифоръ шатался безъ мѣста, продалъ свое лѣтнее пальто, кожаныя калоши, а потомъ и выигранные имъ у цирульника часы съ цѣпочкой,—и ему всякій разъ, когда онъ продавалъ эти вещи, было досадно, и онъ думалъ, что „все это изъ-за Таньки...“ Промотавшись безъ мѣста болѣе двухъ мѣсяцевъ, Никоforъ упалъ духомъ. Какъ-то разъ онъ зашелъ къ своему первому сожителю, Василію, посидѣть и погрѣться въ его похожей на тюрьму конуркѣ и отъ Василія узналъ одинъ „случай изъ жизни“: Петька заложилъ

хозяйскій самоваръ, который когда-то выдавалъ Никифору за свой собственный, и за это управляющій набилъ ему морду и спустилъ съ лѣстницы, предварительно отобравъ закладную квитанцію.

— Сходи... можетъ, опять поступишь... — посовѣтовалъ Василій.

Никифоръ пошелъ. Управляющій встрѣтилъ его на лѣстницѣ и спросилъ:

— Ну что, Никифоръ, гдѣ служишь?

— Безъ мѣста, Михаилъ Павлычъ! Богъ наказалъ,— жалобно отвѣтилъ Никифоръ.

— То-то вотъ и есть! — моргнувъ бровями, сказалъ Михаилъ Павлычъ, и тонъ его отвѣта былъ такой, словно онъ былъ радъ, что Никифоръ безъ мѣста.

— Все это, Михаилъ Павлычъ, изъ-за шлюхъ этихъ проклятыхъ!

— То-то вотъ и есть! Что имѣемъ, не хранимъ — потерявши, плачемъ...

— Именно, Михаилъ Павлычъ, именно!

Видя, что управляющій въ добромъ расположеніи духа, Никифоръ смиренно сказалъ:

— Что-жъ, Михаилъ Павлычъ, съ кѣмъ грѣха не случается?... Теперь ученый... этого не будетъ... Къ вамъ бы хотѣлъ опять поступить, сдѣлайте такую милость! Никогда больше этого не будетъ...

— То-то вотъ и есть!.. Да! Ну, поди въ кассу и отдай паспортъ... Скажи, что я велѣлъ записать!

И Никифоръ, дѣйствительно, сталъ стараться и скоро опять завелъ часы, и даже съ эмалью, и цѣпочку съ брелоками и опять купилъ кожаныя калоши. Петьки не было, пересталъ Никифоръ стыдиться и скоро не уступалъ Петькѣ ни въ ловкости, ни въ хитрости..

Была поздняя осень. Небо было облачно, и вѣтеръ гналъ по тротуарамъ снѣговую порошу. Смеркалось теперь очень рано, поэтому съ четырехъ часовъ появлялись уже въ окнахъ магазиновъ огни, какіе-то

тусклые и печальные. Прохожіе ходили торопливо и были непривѣтливы и раздражительны. Появлялись уже люди въ шубахъ... Въ одинъ изъ такихъ дней, подъ вечеръ, Никифоръ, ежась отъ вѣтра и холода, перебѣгалъ черезъ улицу, возвращаясь изъ портерной, куда былъ посланъ за пивомъ. Когда онъ уже готовъ былъ скрыться въ дверяхъ бань, его кто-то окрикнулъ по имени и отчеству. Никифоръ пріостановился и оглянулся.

— Здравствуйте, Никифоръ Николаичъ! Не хотите и оглянуться...

Никифоръ съ трудомъ узналъ Таню. Она была худая и блѣдная, и все лицо ея было покрыто какими-то красными точками; глаза смотрѣли тускло, и не было въ нихъ прежней радости жизни. На Танѣ была кофта на ватѣ, какую носятъ кухарки неважныхъ господъ, и рукава этой кофты были коротки и открывали красныя кисти рукъ; на головѣ у Тани былъ сѣрый платочекъ, а на ногахъ некрасивые разношенные башмаки.

Никифоръ сердито посмотрѣлъ, но узнавъ „Таньку“, принужденно улыбнулся и сказалъ:

— А! Мое почтеньеце! Какъ живете-можете?

— Плохо, Никифоръ Николаичъ, совсѣмъ плохо... Что вы такъ на меня смотрите: нехорошая я стала?

— Конечно, болѣзнь не краситъ человѣка...

У Тани навернулись слезы.

— Знаете, Никифоръ Николаичъ, у меня маменька умерла, и теперь я одна на свѣтѣ осталась.

— Что же, при вашемъ дѣлѣ это сподручнѣе, а, между прочимъ, что вамъ угодно?

— Повидаться захотѣлось... Вы ко мнѣ ни единаго разика такъ и не пришли...

— Не доводилось... дѣловъ много, некогда...

— А еще хотѣла я васъ объ одномъ попросить...— опустивъ глаза, начала Таня и замолчала. На блѣдныхъ щекахъ ея показался румянецъ, и съ рѣсницъ скатилась на щеку слеза.

– Что такое? говорите!..

— Не дадите ли вы мнѣ рубля три денегъ?—понизивъ голосъ, сказала Таня.—Совсѣмъ теперь бѣда!.. все продала и нѣтъ ни копѣйки... Повѣрите ли, Никифоръ Николаичъ...

— Три рубля?.. Хм!

Никифоръ долго рылся въ своемъ кошелькѣ и, наконецъ, вытащилъ измятую рублевую бумажку и подалъ Танѣ.

— Извините ужъ... сколько могу... Не при деньгахъ я.

— Что же, и за это спасибо... Трудно. Совсѣмъ невозможно!..

— Однако, я заболтался... Счастливо оставаться!— бросилъ Никифоръ и, не подавъ Танѣ руки, скрылся въ дверяхъ.

Таня стояла на мѣстѣ, крѣпко сжавъ рублевую бумажку въ рукѣ, и слушала, какъ стучали по лѣстницѣ сапоги Никифора. Когда шаги его замерли въ отдаленіи, она тихо побрела по панели, стуча тяжелыми башмаками по ледянымъ кочкамъ и скрылась за угломъ...

И съ тѣхъ поръ Никифоръ никогда не видалъ Тани.

Потомъ, спустя много лѣтъ, когда молодость прошла и улетѣла, когда въ головѣ у Никифора засеребрилась сѣдина, кровь стала не такая горячая, когда Никифоръ былъ женатъ и имѣлъ уже много ребятишекъ,—онъ все чаще и чаще вспоминалъ о Танѣ. Когда все это отодвинулось назадъ, то издали будто стало Никифору виднѣе... Онъ любилъ разсказывать своимъ товарищамъ этотъ „случай изъ жизни“, и когда заканчивалъ свой разсказъ, то непремѣнно добавлялъ:

„Припомню теперь, какъ я издѣвался надъ человѣкомъ, какъ билъ ее, какъ надругался--и какъ только терпѣла! Уму, братецъ, непостижимо! Изъ-за меня ее

съ квартиры гнали, изъ-за меня въ бѣдность впала, родительницѣ перестала помогать, сколько всякихъ непріятностей—и-и! конца краю не было!.. А вотъ, значитъ, любила крѣпко: посердится, поплачетъ, обругаетъ мужикомъ и... забудетъ... да-да!.. Вотъ я теперь ужъ женатъ давно, ребятишекъ имѣю, а все-таки скажу: дай Богъ, чтобы жена кого такъ любила, какъ любила меня Таня!.. Вѣрно говорю! Теперь все прошло и ничего не будетъ, не воротится... Конечно, грѣшная была женщина, ну... что же подѣлаешь? Господь блудницу простилъ и намъ прощать велѣлъ... Конечно, какъ, значитъ, не своей смертью померла,—спичекъ она наѣлась... Ну, опять же это дѣло суда Божьяго, не наше!"

И когда Никифоръ кончалъ эти размышленія, то ему дѣлалось тяжело на душѣ и всегда вспоминалось, какъ онъ вмѣсто трехъ рублей далъ Танѣ только рублевку. Тогда онъ вздыхалъ и тихо произносилъ, глядя себѣ въ бороду:

— Сколько, братецъ, этого зла въ человѣкѣ! Боже мой, сколько зла!..

Въ лощинѣ межъ горъ.

I.

Волга дремала подъ лучами жаркаго лѣтняго дня. На песчаную отмель нагорнаго берега набѣгала лѣнивая волна прибоя, нехотя играла скопившимися здѣсь гальками, ракушками, обломками древесной коры и тихо скатывалась, и отходила, оставляя на желтомъ пескѣ неровную влажную полосу. Прямо, на самой серединѣ рѣки, на стрежнѣ, громоздились, сверкая на солнцѣ новымъ деревомъ, двѣ несуразныя, похожія на недостроенные дома, „бѣляны“, двигавшіяся такъ медленно, что казались неподвижными. На луговой сторонѣ Волги, въ золотистой дымкѣ солнечныхъ лучей, синѣлъ далекій лѣсъ. На горизонтѣ, межъ далекихъ горъ, окутанныхъ синимъ туманомъ, небо сливалось съ поверхностью сонной рѣки, и тамъ бѣлой змѣйкой курился дымокъ невидимаго парохода. Надъ спокойной гладью рѣки время отъ времени тянулись, едва шевеля крыльями, бѣлыя мартышки и исчезали въ золотистой пыли лугового берега... И на всемъ этомъ лежалъ отпечатокъ истомы и лѣни, полнѣйшаго нежеланія шевелиться... Казалось, Волгѣ было лѣнь посылать волну на песчаную отмель, бѣлянамъ—лѣнь плыть, и онѣ дѣлали это какъ попало, то бокомъ, то кормой, вполнѣ отдаваясь волѣ теченія, мартышкамъ—лѣнь взмахивать крыльями, кувыркаться и ловить рыбу, и онѣ улетали куда-то

спать... Кругомъ было тихо и невыносимо жарко... Слабый шорохъ рѣчного прибоя еще сильнѣе оттѣнялъ это томленіе неподвижнаго лѣтняго зноя, потому что этотъ шорохъ постоянно поддразнивалъ влагою и прохладой, которыя такъ отчетливо чувствовались въ лѣниво ползущей водяной громадѣ... Изрѣдка „бѣляны“ скрипѣли своими великанами-рулями, и этотъ скрипъ, похожій на скрипъ колодезнаго журавля, звонко разносился по рѣкѣ и, долетая до обмелѣвшаго у берега плота изъ сосновыхъ необдѣланныхъ бревенъ, заставлялъ сидѣвшаго здѣсь рыбака, въ бѣломъ пиджакѣ и соломенной шляпѣ, раскрывать глаза и потрогивать повисшія надъ водою удилища; тогда рыбакъ позѣвывалъ, перемѣнялъ позу и снова застывалъ и дѣлался похожимъ на чучело, какихъ показываютъ въ плохихъ музеяхъ восковыхъ фигуръ. Позади рыбака, межъ двухъ раздвинувшихся бревенъ плота, былъ воткнутъ въ воду садокъ изъ тонкихъ зеленоватыхъ тальниковыхъ прутьевъ, а въ садкѣ плавалъ вверхъ брюшкомъ пойманный рыбакомъ ершъ.

Иванъ Васильевичъ, секретарь уѣзднаго полицейскаго управленія, какъ только вышелъ на кручу берега и увидалъ на плотахъ, внизу, человѣка въ бѣломъ пиджакѣ и соломенной шляпѣ, такъ сейчасъ же догадался, что это Лука Лукичъ удитъ рыбу. Секретарь долго стоялъ неподвижно, смотрѣлъ на рыбака, который казался съ кручи берега такимъ маленькимъ бѣленькимъ человѣкомъ, и думалъ о томъ, что удить рыбу очень скучно, и что удивительно, какъ почетный мировой судья можетъ заниматься такими пустяками... Иванъ Васильевичъ прилегъ на пригоркѣ, поросшемъ чахлой выгорѣвшей отъ солнцепека травкою, потомъ медленно, не торопясь, вынулъ портсигаръ, вытащилъ папиросу и закурилъ. Потягивая и выпуская черезъ ноздри табачный дымокъ, Иванъ Васильевичъ смотрѣлъ на застывшую гладь рѣки, съ отраженными въ ней го-

— Жарко, сударь, жарко!..—сердито бросилъ Лука Лукичъ.

Онъ чувствовалъ на своей спинѣ взглядъ Ивана Васильевича и поводилъ плечами отъ ощущенія какой-то неловкости во всемъ тѣлѣ.

— Клюетъ? а? Лука Лукичъ?

Лука Лукичъ вздохнулъ отъ скрытой энергіи скапливающагося раздраженія и сказалъ:

— Плохо, сударь, плохо...

А Иванъ Васильевичъ не унимался: онъ вытянулъ изъ бревенъ садокъ рыбака, — вода, скатываясь съ прутьевъ, забулькала позади, и оставшійся на сушѣ ершъ сталъ безпокойно колотиться о стѣнки садка...

— Э! Одинъ ершъ... не стоило хлопотать...

— Одинъ! Рѣшительно одинъ!..

— Ухъ, жарко! Такъ бы, кажется, залѣзъ въ воду по самую шею да и сидѣлъ бы... О Господи, Боже мой!

Нѣкоторое время они оба молчали, а потомъ Иванъ Васильевичъ заговорилъ о султанѣ:

— Кто теперь султанствуетъ у турокъ-то? а? Лука Лукичъ?

— Абдулъ-Гамидъ, сударь!—произнесъ Лука Лукичъ и, вынувъ изъ воды крючокъ, поплевалъ на червяка и спять закинулъ леску.

— Мм-да... Чтобъ ихъ черти задавили!.. Гаремы эти у нихъ... Мм-да, недурно!—подумалъ вслухъ Иванъ Васильевичъ.

Тогда Лука Лукичъ оглянулся и удивленно и вопросительно посмотрѣлъ на Ивана Васильевича, а тотъ отвѣтилъ на этотъ молчаливый вопросъ:

— Жарко ужъ очень: вотъ всякая дребедень и лѣзетъ въ башку...

И опять они замолчали, и стало тихо. Слышно было, какъ хлопалъ плицами пароходъ—по водѣ въ тихую погоду это бываетъ слышно верстъ на десять—и какъ весла лодки скрипѣли объ уключины.

— Удить рыбу очень скучная исторія... Вотъ у насъ сегодня такъ была охота. Такихъ лещей натаскали, что мое почтенье... да!.. Про свиней-то, небойсь, слыхали?— спросилъ Иванъ Васильевичъ, во что бы то ни стало желавшій поговорить съ угрюмымъ рыбакомъ.

— Что такое?

— Вотъ тебѣ и разъ! Не слыхали? Сегодня у насъ была охота на дикихъ свиней. Чуть свѣтъ... Столько этого визгу было—ужасъ!

Лука Лукичъ слегка обернулся; на лицѣ его появилось выраженіе досады.

— Ну-съ!—произнесъ онъ.

— Всѣхъ переловили. Четыре свиньи, одна съ поросятами, и при нихъ—боровъ, жирнущій боровъ!.. Въ родѣ гарема у него было это устроено...

— Ничего не понимаю.

— У васъ клюетъ, клюетъ!..—крикнулъ Иванъ Васильевичъ, приподнимаясь на ноги.

Лука Лукичъ опрометью схватился за одно изъ удилищъ, но конецъ его оказался подъ ногой Ивана Васильевича, отчего и произошла эта ложная тревога.

— Ну-съ! Какія же это собственно свиньи?

— Хлѣбные амбары знаете? На Воложкѣ? Такъ подъ этими самыми амбарами жили... Неизвѣстно кому принадлежащія... Чья-нибудь свинья тамъ, вѣроятно, опоросилась и воспитала дикое поколѣніе... Питались онѣ хлѣбомъ изъ амбара... Жирнущія твари!

— Ну-съ!

— Исправникъ позвалъ хозяевъ этихъ самыхъ амбаровъ и спрашиваетъ: „Ваши свиньи?“—Нѣтъ. „А можетъ быть, ваши?“—Нѣтъ. А разъ нѣтъ, — приказалъ переловить. Сегодня, чуть свѣтъ, облаву и устроили... Городовые, пожарные... Съ баграми, съ вилами... Старый бредень достали... Визгу этого было...

— Теперь все объясняется, — серьезно произнесъ Лука Лукичъ, приподнимаясь.

Дѣйствительно, теперь все было ясно.

Сегодня на разсвѣтѣ, когда у людей бываетъ самый сладкій и крѣпкій сонъ, жена разбудила Луку Лукича, встревоженная и перепуганная. Окно спальной было распахнуто настежь для прохлады, и черезъ это окно было слышно что-то ужасное... „Слышишь?“—спросила жена. „Слышу“,—отвѣтилъ Лука Лукичъ. Надъ мирно и сладко спавшимъ городомъ въ предразсвѣтной тишинѣ умирающей ночи проносились какіе-то дикіе крики и душу раздирающіе вопли. Можно было подумать, что весь городъ рѣжутъ или душатъ... „А? мм... не понимаю... но все-таки не волнуйся“—сказалъ Лука Лукичъ, а на всякій случай закрылъ окно и заперъ на задвижку... Долго они съ женой не спали и ждали все, что вотъ-вотъ случится что-то ужасное, невѣроятное, сверхъестественное. Но ничего не случилось. Они заснули, а когда проснулись,—солнце было высоко, щебетали птицы, и не было никакого страха...

— Теперь понятно!—еще разъ сказалъ Лука Лукичъ и, посмотрѣвъ на часы, сталъ свертывать удочки, а когда свернулъ, то сѣлъ и сталъ снимать сапоги.

— Можетъ быть, и вы, сударь, за компанію?

— Съ плотовъ? А удобно ли?.. Дамы...

— Какія тамъ дамы!—перебилъ Лука Лукичъ.—Я всегда, какъ кончу удить, купаюсь... И никогда не видалъ никакихъ дамъ... Когда искупаешься, то легко идти на гору, больше силъ, прохладнѣе...

— А пожалуй...

Иванъ Васильевичъ раздѣлся раньше, но ему не хотѣлось первымъ лѣзть въ воду и онъ поджидалъ Луку Лукича.

— Такъ всѣхъ, говорите, переловили?

— Всѣхъ. Четыре свиньи, семь поросятъ и борова. Борова вилами поранили... Силища въ немъ—невозможная... Чуть справились... Теперь всѣ они при полиціи.

— Куда же ихъ, сударь, дѣнутъ?

— Съѣдятъ.

— Господи, благослови!—произнесъ Лука Лукичъ, перекрестился и, мелькнувъ въ воздухѣ обнаженнымъ тѣломъ, съ шумомъ ухнулъ въ воду и поплылъ, пыхтя и отдуваясь.

Иванъ Васильевичъ тоже перекрестился и сталъ осторожно спускаться ногами въ воду, а когда досталъ дна, то окунулся три раза съ головой и сейчасъ же вылѣзъ на плотъ и, обнявъ себя собственными руками, сталъ дрожать, какъ въ лихорадкѣ.

— Рѣдко, сударь, купаетесь... Ухъ! Хорошо!.. Съѣдятъ, говорите?.. Кто же ихъ, сударь, съѣстъ?

— Начальство, конечно... Господи, благослови!

И Иванъ Васильевичъ опять тихо и нерѣшительно полѣзъ въ воду ногами впередъ.

— Теперь все понятно... все объясняется... А мы съ женой, признаться, перепугались...

Потомъ они одѣлись и полѣзли на гору. Мировой судья былъ тощій и жилистый, а секретарь – сырой и малоподвижный, и когда они влѣзали по извилистой тропинкѣ, то Лука Лукичъ двигался очень энергично, несмотря на свою сѣдую бороду, а Иванъ Васильевичъ пыхтѣлъ, пріостанавливался и говорилъ шопотомъ:

— Чортъ меня сунулъ спускаться...

— Уфъ! Посидѣть немножко,—черезъ силу сказалъ онъ, сдѣлавъ послѣднее усиліе, чтобы ступить на достигнутую, наконецъ, кручу, и, какъ куль съ мякиной, опустился на травку.

— Какой видъ! Какіе, сударь мой, горизонты!—воскликнулъ Лука Лукичъ, озирая съ высоты рѣку, зеленѣющіе за Волгой луга, синѣвшій лѣсъ...

— Да... очень... очень великолѣпно... едва переводя духъ, тихо отвѣтилъ Иванъ Васильевичъ, и на лицѣ его было столько грусти и страданія, что Лука Лукичъ замѣтилъ:

— Васъ, сударь, словно только-что высѣкли...

Когда они спускались съ горы въ лощину, гдѣ пестрѣлъ своими крышами маленькій городъ съ высившимися надъ нимъ куполами двухъ церквей и желтою пожарною каланчею со шпицемъ на вершинѣ, то навстрѣчу имъ быстро приближался будочникъ. Онъ шелъ размашистыми шагами, придерживая лѣвою рукою болтавшуюся на боку шашку, и весь былъ полонъ тревоги и озабоченности. „Это—за мной“, подумалъ Иванъ Васильевичъ и тоже сталъ безпокоиться и прибавилъ шагу.

— Что, Игнатъ?—крикнулъ Иванъ Васильевичъ, когда будочникъ былъ еще шаговъ за десять.

— За вашимъ благородіемъ. Барыня послала...

— Ну, что тамъ еще?

— Баринъ уѣхалъ, а барыня не знаетъ, которую свинью оставить—посылать въ Бѣлые хутора?..

— Борова, борова!—раздраженно крикнулъ Иванъ Васильевичъ.

— Какъ бы онъ дорогой не померъ: его маленько вилами помяли,—сказалъ будочникъ, прикладывая руку къ потному лбу.

— Не твое дѣло разсуждать. Приказано — борова, значитъ—борова!

— Барыня послала... Не вѣритъ...—сказалъ Игнатъ и, повернувшись, побѣжалъ назадъ къ городу рысью, мотая своей шашкой и сильно пыля по дорогѣ тяжелыми сапогами.

— Безтолковый чортъ!—обругался Иванъ Васильевичъ.—Сто разъ говорено, что борова... Нѣтъ, все-таки лѣзетъ.

— Кому же это, сударь, отправляете борова?—спросилъ Лука Лукичъ.

— Въ Бѣлые хутора, въ имѣніе къ земскому,—недовольно махнувъ рукой, отвѣтилъ Иванъ Васильевичъ.

— Зачѣмъ же?

— Спросите ихъ, — съ протестомъ въ голосѣ отвѣтилъ Иванъ Васильевичъ и развелъ руками. —Одну помощникъ исправника себѣ взялъ, — съ грустью добавилъ онъ.

Исправникъ занималъ квартиру въ бѣломъ каменномъ домѣ, при полиціи, на городской площади, поросшей травой и въ разныхъ направленіяхъ перерѣзанной дорогами и тропинками. Когда спутники приблизились къ этому дому, около воротъ его толкалась кучка жителей, съ любопытствомъ заглядывавшихъ во дворъ. Игнатъ стоялъ у воротъ и разгонялъ любопытныхъ:

— Ну чего не видали?

— Что тамъ за исторія?

— Нѣтъ никакой исторіи, а просто свиней рѣжутъ.. проходите! Экій народъ, пра-а-во, хуже свиней...

И будочнику отвѣчали дружнымъ хохотомъ, словно всѣмъ было пріятно и весело, когда ихъ называли свиньями. Когда Лука Лукичъ съ Иваномъ Васильевичемъ приблизились къ воротамъ, а Игнатъ отдалъ подъ козырекъ, жители стали боязливо разступаться.

— Можетъ, зайдете борова-то посмотрѣть?—спросилъ Иванъ Васильевичъ,—интересная скотина.

— А Богъ съ нимъ, сударь!—сказалъ Лука Лукичъ и, махнувъ рукой, пошелъ мимо.

Полицейскій дворъ былъ большой, усыпанный гальками, обросшими травкой. По одной его сторонѣ тянулся навѣсъ пожарнаго обоза, и зеленыя бочки, дроги и насосы были разставлены въ линію въ величайшемъ, ласкавшемъ глазъ порядкѣ. Одна бочка была вывезена изъ-подъ навѣса и показывала въ небо оглоблями, а тамъ, гдѣ она стояла раньше, происходило обдѣлываніе свиныхъ тушъ. Два пожарныхъ, безъ шапокъ и мундировъ, съ засученными по локоть рукавами, очищали окровавленными руками свиныя туши и острили грубо и пошло надъ трупами животныхъ. Въ одномъ

углу двора дымился костеръ, приготовленный для того, чтобы палить свиней, а въ сторонѣ, въ тѣни, бросаемой стѣною зданія, лежалъ пораненный вилами, связанный боровъ, тяжело вздымавшій при дыханіи свою тушу и время отъ времени, когда пожарные, проходя мимо, безъ всякой надобности пинали его концомъ сапога, испускавшій визги и сердитое хрюканье. Около этого борова прыгали въ экстазѣ ребятишки, дѣти исправника, а мать громко и испуганно кричала имъ чрезъ раскрытое окно:

— Дѣти! Ради Бога не дразните свиней! Онѣ могутъ васъ укусить.

— Онѣ, мамочка, мертвыя, а боровъ связанъ.

— Все равно! Долго ли до грѣха? Иванъ Васильичъ! Подите-ка сюда.

Иванъ Васильевичъ услужливой рысью подбѣжалъ къ окну. Онъ былъ „свой человѣкъ“ и притомъ подчиненный, и потому Марья Петровна показывалась ему въ тѣхъ же непринужденныхъ, приспособленныхъ для всесторонней вентиляціи костюмахъ, какъ и мужу.

— Что вы тамъ все путаете? Не можетъ быть, чтобы мужъ велѣлъ отправить борова!—раздался женскій голосъ, крайне недовольный.

— Даю вамъ, Марья Петровна, честное слово, — борова! — приложивъ руку къ сердцу, отвѣтилъ Иванъ Васильевичъ.

— Съ какой стати?.. Да и какъ везти его: онъ проколотъ вилами, надо не имѣть сердца, чтобы трясти его двадцать верстъ.

— Марья Петровна, вотъ подлинныя слова Александра Алексѣича: „борова—въ хутора, а всѣхъ остальныхъ прикончить“. Я готовъ вамъ поклясться, чѣмъ угодно.

Въ этотъ моментъ въ растворенныя ворота вкатилъ порожній тарантасъ, запряженный парою карихъ земскихъ лошадей, съ колокольчиками подъ дугою, и ко-

ренникъ, почуявъ близкое присутствіе пожарныхъ лошадей, заржалъ звонко и весело, а тряснійся на козлахъ мужикъ Павелъ огрѣлъ его больно кнутомъ и закричалъ:

— Баловать!

Коренникъ не успокаивался, подплясывалъ ногами и продолжалъ ржать. Тогда Павелъ рванулъ возжи, и лошадь, поднявъ высоко свою морду, стала грызть желѣзныя удила, сверкать бѣлкамй глазъ и раздувать ноздри.

— Ну, принимайте, принимайте! Нечего тутъ чесаться,—крикнулъ Иванъ Васильевичъ.

Двое пожарныхъ, ямщикъ Павелъ и будочникъ Игнатъ, подсунувъ веревки подъ борова, потянули его по двумъ доскамъ на тарантасъ, и, при ужасномъ визгѣ животнаго, втиснули его туда, на сѣно.

— Теперь съ Богомъ!—сказалъ вспотѣвшій отъ напряженія Игнатъ, похлопалъ борова по боку и отошелъ.

— Хороша Маша, да не наша!—пошутилъ онъ, подмигнувъ однимъ глазомъ.

Павелъ вскочилъ на козлы, поправилъ себѣ подъ сидѣньемъ, обдернулъ рубаху, чтобы не топырилась отъ вѣтру, и тронулъ лошадей. Сытыя лошадки дружно рванули съ мѣста, и тарантасъ вылетѣлъ за ворота и покатился, оставляя за собою клубящуюся пыль по дорогѣ... Колокольчики задорно трезвонили, Павелъ ухарски посвистывалъ, и лошадки мчались: коренникъ рысью, а пристяжка вскачь, отбросивъ свою голову на сторону и красиво искрививъ шею.

Жители приподнимали на окнахъ занавѣски и выглядывали, чтобы узнать, кто скачетъ по улицѣ, а нѣкоторые изъ обывателей, смирныхъ и неважныхъ, шагая по деревяннымъ тротуарамъ и слыша настигающіе ихъ колокольчики, оглядывались и съ нѣкоторой робостью брались за козырекъ, приготовляясь раскланяться.

II.

Земскій врачъ, Николай Григорьевичъ Окуневъ, проснулся, раскрылъ глаза и прищурился отъ массы яркаго свѣта, ударившаго прямо ему въ глаза. Было очень рано; солнце только-что поднялось надъ деревьями окружавшаго домъ съ трехъ сторонъ сада и еще не успѣло расплыться съ блеска собственнаго золота, улыбаясь какимъ-то пурпуровымъ оттѣнкомъ пробудившейся природѣ.

Въ распахнутое настежь окно вливалась изъ сада прохлада утра, вся пропитанная ароматомъ спѣлой земляники и меда цвѣтущей липы. Нѣсколько вѣтвей сиреневаго куста, примостившагося вплоть у самаго дома, заглядывали изъ сада въ комнату и, тихо покачиваясь отъ тяжести прыгавшихъ на нихъ птичекъ, кланялись и поздравляли Николая Григорьевича съ добрымъ утромъ. Изъ сада неслось неугомонное щебетаніе птицъ, гдѣ-то безпокойно кудахтала курица, а изъ пригородной рощицы доносилась грустная пѣсня кукушки, которая о чемъ-то и кому-то жаловалась...

Комната имѣла веселый, бодрый видъ. Плохенькіе обои ея казались дорогими, бѣлоснѣжно-яркими, и всѣ предметы въ ней приняли рѣзкіе контуры и яркіе цвѣта. Все здѣсь казалось новымъ, свѣжимъ и все смотрѣло весело, улыбаясь навстрѣчу яркому лѣтнему утру. Пыльный пучокъ солнечныхъ лучей, прорываясь чрезъ листву сиреневаго куста, растянулся прозрачной золотистой дымкой черезъ всю комнату и, ударяясь въ противоположную стѣну, прыгалъ веселымъ зайчикомъ на стеклѣ большого, въ овальной орѣховой рамкѣ, портрета Добролюбова.

Николаю Григорьевичу хотѣлось еще подремать, но, справившись съ лежавшими на стулѣ, у кровати, часами, врачъ моментально приподнялся и сталъ одѣваться. Когда онъ одѣлся, то, забравъ шляпу, поло-

тенце и трость, отправился на Волгу, къ купальнѣ. Солнце еще не успѣло подняться высоко, поэтому по лужку двора протягивались долговязыя тѣни отъ сараевъ, погребковъ и амбаровъ. Кухарка Маланья развѣшивала на протянутыхъ крестъ-на-крестъ черезъ дворъ веревкахъ мокрое бѣлье и, завидѣвъ молодого барина, спросила:

— Миколай Григоричъ! Поѣдешь въ Поповку-то?

— А то какъ же?.. Приготовь въ саду самоваръ. Я сейчасъ вернусь, искупаюсь только...

— Слышалъ, Миколай Григоричъ, ночью-то что было?

— А что? Ничего не слыхалъ.

— Такой крикъ былъ, и бабы, что ли, визжали... Что-нибудь неладное вышло. Я хотѣла тебя будить, да боялась — осердишься...

Николай Григорьевичъ вернулся съ купанья бодрый и свѣжій, какъ это раннее утро, и съ такимъ самочувствіемъ, словно онъ только началъ жить и еще совсѣмъ не тратилъ клокочущей въ немъ энергіи и здоровья... Да оно, въ сущности, такъ и было, потому что Николай Григорьевичъ только-что окончилъ университетъ и не болѣе полугода, какъ служитъ въ земствѣ. У него еще громадная охота трудиться, некуда дѣвать иниціативы, желанія все передѣлывать и усовершенствовать на избранномъ поприщѣ, а главное, вся вѣра въ свои силы—въ наличности, не израсходована и не ослаблена пока тѣми мелкими препонами и каверзами, съ которыми ему пришлось уже встрѣтиться на коротенькомъ пока пути практическаго дѣятеля...

Было воскресенье, и по воскресеньямъ Николай Григорьевичъ ѣздилъ въ село Поповку, на одинъ изъ фельдшерскихъ пунктовъ своего медицинскаго участка. По воскреснымъ днямъ въ Поповкѣ бывали базары, куда съѣзжалась масса крестьянъ изъ окрестныхъ селъ и деревень, и маленькая амбулаторія, состоявшая подъ непосредственнымъ наблюденіемъ фельдшера, старичка

Игнатія Анемподистовича, буквально осаждалась, какъ крѣпость безчисленнымъ непріятелемъ,—наѣзжимъ людомъ: тутъ были и старики съ отнявшимися поясницами, и старухи, привезенныя, какъ кладь, на возахъ вмѣстѣ съ предназначенными къ продажѣ продуктами, и молодыя бабы, чахнувшія отъ непосильной работы, побоевъ и сосущихъ ихъ, какъ піявки, заботъ и грудныхъ младенцевъ; были парни, съ землистыми лицами и сверкавшими въ глубокихъ орбитахъ глазами, изнуренные неотвязными лихорадками, дѣти съ большими животами, тоненькими ножками и съ тоской предсмертной агоніи въ тускнѣющихъ глазкахъ; были безобразные сифилитики обоего пола и разныхъ возрастовъ,— и все это стремилось пролѣзть впередъ, къ источнику исцѣленія, протягивая руки за лѣкарствомъ, стонало, вздыхало и поминало Спасителя и Его святую Матерь... Каждый базаръ здѣсь бывало до полутораста паціентовъ, которымъ время было очень дорого и которые, только пользуясь случаемъ базара, обращались за помощью къ наукѣ. А наука была здѣсь безсильна, потому что требовала хорошаго питанія, ухода и спокойствія, чего именно и не полагалось этимъ невѣжественнымъ людямъ, въ потѣ лица не имѣющимъ возможности ѣсть хлѣбъ свой...

Прежде, при старомъ врачѣ, давно примирившемся съ независящими обстоятельствами, порядокъ здѣсь былъ упрощенный: врачъ считалъ свое присутствіе совершенно безполезнымъ и оставлялъ амбулаторію на полномъ попеченіи Игнатія Анемподистовича. А Игнатій Анемподистовичъ не особенно церемонился съ наукой: онъ заранѣе приготовлялъ порціи медикаментовъ, среди которыхъ главную, если не исключительную роль играли: хина, касторка и іодистый калій. Эти лѣкарства Игнатій Анемподистовичъ давалъ такъ: если жаръ или ознобъ—хина, если что-нибудь неладно съ животомъ и вообще съ „нутромъ“ — касторка, если

гнуситъ, жалуется на горло, или носъ какъ будто начинаетъ подтаивать — іодистый калій. Если паціентъ приходилъ вторично и жаловался, что не помогаетъ— Игнатій Анемподистовичъ спрашивалъ:

— Что я тебѣ давалъ: въ порошкѣ или стклянкѣ?

— Въ бумажкѣ, Игнатій Подистычъ!

— Теперь на въ пузырькѣ! Натощакъ три ложки выпей! Очистись!—говорилъ „Подистычъ“ и давалъ касторку, а если давалъ касторку раньше и не помогало, то — хину, а если и тогда не помогало, — закатывалъ іодистый калій. Діагнозъ „Подистычъ“ ставилъ моментально:

— Знобитъ?

— Знобитъ, Подистычъ.

— Получи!.. А у тебя?—обращался онъ къ слѣдующему.

— Сосетъ что-то подъ сердцемъ.

— Получи! Три столовыхъ ложки—натощакъ... Проходи, не мѣшай! А ты?

— Носъ что-то пучитъ.

— Носъ? Гдѣ схватилъ? Провалится у тебя носъ... На—порошки.

И дѣло шло бойко. Съ 12 до 2 часовъ дня „Подистычъ“ ставилъ до полутораста діагнозовъ, съ удовлетвореніемъ страждущихъ лѣкарствомъ, при чемъ нѣкоторымъ паціентамъ онъ не желалъ совсѣмъ ничего давать:

— Уходи! Давно умирать тебѣ, бабушка, пора!.. Нечего зря лѣкарства изводить.

Съ тѣхъ поръ, какъ завѣдываніе участкомъ перешло къ молодому, свѣжему человѣку, Николаю Григорьевичу, многіе порядки тамъ измѣнились. Окуневъ, съ непочатой энергіей студента, весь, такъ сказать, пропитанный добросовѣстнымъ отношеніемъ къ своему дѣлу, началъ усиленную борьбу съ рутинными традиціями, сталъ перестраивать всю постановку дѣла въ

своемъ участкѣ, вводить различныя нововведенія и усовершенствованія и осаждать земскую управу своими требованіями, безпрестанно раздражая начальство своей добросовѣстностью, причинявшей много хлопотъ, мелкихъ и надоѣдливыхъ, какъ мухи. Еще у всѣхъ на памяти, напримѣръ, исторія съ пузырьками, кончившаяся крупной ссорой Окунева съ однимъ изъ членовъ управы, Аникинымъ. Въ видахъ экономіи, до Окунева былъ принятъ такой порядокъ, чтобы приходящіе больные приносили съ собой посуду для лѣкарства или уплачивали земству за каждый пузырекъ по три копейки. А такъ какъ у многихъ больныхъ не оказывалось ни пузырьковъ, ни трехъ копеекъ, то имъ отказывали и въ медицинской помощи. Окуневъ, видя эту несообразность, сейчасъ же началъ искоренять неумѣстную экономію и, въ порывѣ горячаго защитника своихъ паціентовъ, поссорился по сему случаю съ членомъ управы, хлѣботорговцемъ Аникинымъ:

— Надо быть чурбаномъ, чтобы не понимать такой простой вещи!

— Значитъ, я чурбанъ?—угрожающе спросилъ Аникинъ, закладывая руки за спину.

— Какъ вамъ будетъ угодно.

— Нѣтъ, вы не виляйте-съ! Значитъ, по-вашему,— я чурбанъ?—настаивалъ Аникинъ, повысивъ тонъ.

— Ну, если вамъ такъ хочется, — чурбанъ!—съ досадой бросилъ Окуневъ.

— Господа! Прошу быть свидѣтелями. Я—чурбанъ! Слышали, господа?

И вышла цѣлая исторія, потому что Аникинъ подалъ жалобу мировому судьѣ, Лукѣ Лукичу, обвиняя Окунева въ оскорбленіи и прося примѣнить къ нему самую высшую мѣру наказанія.

Лука Лукичъ помирилъ ихъ, убѣдивъ Аникина взять обратно свою жалобу:

— Вы вѣдь, Пантелеймонъ Иванычъ, понимаете,

что безъ пузырька нельзя унести жидкаго вещества, напримѣръ—касторовaго масла?

— Отлично понимаю! Не въ этомъ дѣло,—воскликнулъ Аникинъ,—а въ томъ, что...

— Позвольте, дайте мнѣ сказать!—остановилъ Лука Лукичъ:—если вы это понимаете, сударь,—тогда вы—не чурбанъ! Какъ же? Николай Григорьевичъ сказалъ: „надо быть чур-ба-номъ, чтобы не понимать". Такъ? такъ онъ сказалъ?

— Такъ.

— А такъ какъ вы, Пантелеймонъ Иванычъ, понимаете, то, значитъ, чурбанъ къ вамъ не относится... Это пойметъ всякій...

Аникинъ былъ такъ подавленъ этой логикой Луки Лукича, что опустилъ глаза въ землю и долго молчалъ.

— Такъ-то оно такъ, а все-таки...

— Пустяки! Изъ-за этого не стоитъ скандалъ, господа, подымать...

И тяжущіеся, пожавъ другъ другу руки, мирно разошлись по домамъ: одинъ съ хохотомъ, а другой съ чувствомъ затаенной мести за неудовлетворенное оскорбленіе. Предсѣдатель управы все-таки разсердился на Николая Григорьевича:

— И какъ это, Николай Григорьичъ, изъ-за какихъ-то тамъ пузырьковъ, изъ-за какой-то дряни,—извините за выраженіе, — вы такъ горячитесь? Неудобно, батюшка... Пантелеймонъ Иванычъ все-таки человѣкъ почтенный, всѣми уважаемый... Надо быть поспокойнѣе-съ!..

Между прочимъ, подвергся существенному измѣненію и описанный выше порядокъ на фельдшерскомъ пунктѣ въ Поповкѣ. Окуневъ сталъ ѣздить въ Поповку почти каждое воскресенье и до десятаго пота возился съ безтолковыми и безпомощными въ своей нищетѣ паціентами. И это нововведеніе не нравилось какъ

фельдшеру, Игнатію Анемподистовичу, такъ и самимъ паціентамъ.

Игнатій Анемподистовичъ былъ недоволенъ по двумъ причинамъ: съ одной стороны, его сѣдую опытность оскорбляло недовѣріе молодого врача, съ едва пробившимися усами и бородкой, а съ другой—ему приходилось теперь, вмѣсто прежнихъ „отъ 12 до 2-хъ“, торчать въ амбулаторіи съ 12 до 6 часовъ вечера.

— Ты противъ меня, котенокъ! — ворчалъ Игнатій Анемподистовичъ, со злостью растирая въ фарфоровой ступкѣ какой-нибудь медикаментъ, чѣмъ ему теперь приходилось заниматься по преимуществу.—Я восемнадцать лѣтъ служу, а ты—безъ году недѣля!..

А паціенты были недовольны потому, что новый докторъ очень долго ихъ по своей добросовѣстности задерживалъ; покончивъ свои хозяйственныя дѣла на базарѣ, всѣ они стремились поскорѣе сѣсть въ пустыя телѣги и съ грохотомъ поскакать на застоявшихся лошадкахъ домой, разсыпавшись по пыльнымъ проселочнымъ дорогамъ. А докторъ не умѣлъ ставить такъ быстро діагнозы, какъ это дѣлалъ до сихъ поръ Игнатій Анемподистовичъ.

— Молодъ... Плохо еще понимаетъ свое дѣло... Подистычъ проворнѣе...

— Ну, еще бы! Тотъ тебя сразу наскрозь видитъ. Наловчился...

— Еще бы не наловчился!.. А только дохторъ ему теперь ходу не даетъ...

— Ахъ ты, оказія какая! Солнце-то вонъ ужъ гдѣ... Надо отправляться... Песъ съ ими, и съ дохторами-то... Поѣду!

Такъ тихо разговаривали на крыльцѣ паціенты, ожидая своей очереди.

Въ саду блестѣлъ уже черезъ зелень листвы самоваръ, разбрасывавшій во всѣ стороны бѣлый паръ, когда Николай Григорьевичъ вернулся съ купанья.

Онъ съ наслажденіемъ выпилъ стаканъ крѣпкаго чаю съ лимономъ и прочиталъ свѣжіе номера принесенныхъ почтальономъ газетъ. Посыльный Семенъ давно уже понесъ на земскій пунктъ ярлыкъ—требованіе на пару лошадей для доктора. Чемоданъ, инструменты въ ящикѣ, подушки въ ремняхъ и дорожный парусинный архалукъ отъ пыли лежали въ сѣняхъ; все было готово къ отъѣзду, только не было лошадей. Обыкновенно къ девяти часамъ ихъ подавали, а теперь былъ десятый, но колокольчики не звенѣли, и мостъ подъ горой не грохоталъ подъ мчавшейся парой... Николай Григорьевичъ начиналъ безпокоиться: онъ то и дѣло щелкалъ крышечкой часовъ и, подходя къ раскрытому окну, смотрѣлъ и прислушивался...

— Гм... Никакого шевеленія...

Дѣйствительно, кругомъ было тихо и спокойно. Въ церкви медленно прозвонили къ „Достойной“ и перестали. Кукушка попрежнему жалобно куковала въ рощѣ, а солнце уже поднялось высоко и, потонувъ въ блескѣ собственнаго величія, стало припекать землю.

— Маланья! Гдѣ ты?

Прибѣжала изъ кухни Маланья. Это была молодая и красивая женщина съ засученными по локоть рукавами и съ такими гладкими и сильными руками, что, вазалось, вотъ-вотъ кожа лопнетъ на нихъ отъ избытка мускуловъ и жира.

— Что тебѣ?

— Какого чорта нѣтъ до сихъ поръ лошадей?

— А я почему знаю!..

— Сбѣгай на пунктъ. Скажи, чтобы немедленно подавали. Скажи: я буду жаловаться... И Семенъ этотъ—баба, кислая баба! Пошелъ въ половинѣ восьмого и до сихъ поръ нѣтъ...

Маланья отправилась. Чрезъ окно было видно, какъ эта женщина съ высоко подоткнутымъ подоломъ, съ

горделивой осанкой молодости и здоровья, проворно семеня ногами, пошла грудью впередъ, размахивая голыми руками. Она дошла до спуска въ оврагъ и остановилась, ибо увидала возвращающагося Семена.

— Сем-е-енъ! Какого лѣшаго ты до-о-лго? Бѣги на пунктъ, торопи лошаде-ей!—зычно закричала она съ горы, и ея голосъ перелетѣлъ черезъ оврагъ, черезъ часть города и, ударившись въ сплошную стѣну садовъ, отскочилъ эхомъ „ей“, а пѣтухъ испугался и тревожно закокалъ, опасаясь какихъ-либо непріятностей для своего семейства, рывшагося въ навозѣ по склону оврага.

Посыльный Семенъ не торопясь взобрался на гору и развалистой походкой приблизился къ раскрытому окну:

— Баринъ!

— Ну какого чорта ты... — началъ, было, Николай Григорьевичъ.

— Нѣтъ лошадей.

— Какъ нѣтъ?..

— А такъ, нѣтъ... Всѣхъ разогнали... Была одна пара, и ее стали намъ впрягать, да потомъ пришли отъ исправника... Туда взяли.

— Исправникъ уѣхалъ... Я слышалъ колокольчики рано утромъ и... и врешь. Онъ ѣздитъ на тройкѣ...

— Кто-жъ ихъ знаетъ! Сказали—исправнику...

Николай Григорьевичъ съ досадой махнулъ рукой.

— Дурачье!

Онъ взялъ шляпу и трость и торопливой походкой пошелъ на земскій пунктъ, чтобы самолично разобрать это „вопіющее безобразіе“ и, во что бы то ни стало, вытребовать себѣ пару лошадей.

На мосту, перекинутомъ черезъ рѣчку Брыску, представляющую собой очень большой оврагъ съ песчанымъ дномъ и съ очень маленькимъ ручейкомъ воды посрединѣ, Николай Григорьевичъ встрѣтилъ громыхавшую

по досчатому настилу пару карихъ земскихъ лошадей съ колокольчиками и вообразилъ, что это ѣдутъ за нимъ.

— Какого чорта ты, Павелъ!..—началъ, было, онъ, но остановился, остолбенѣвъ отъ изумленія: въ тарантасѣ, на сѣнѣ, лежала громадная свинья и трясла своей тушей и ушами.

— Стой!

— Тпру! — фальцетомъ произнесъ Павелъ, придержавъ лошадей.

— Земскія?

— Земскія.

— Куда?

— На Бѣлы хуторы, къ земскому.

— Зачѣмъ?

— Борова веземъ.

— Гм...

Николай Григорьевичъ былъ такъ же обезкураженъ, какъ хлѣботорговецъ Аникинъ былъ обезкураженъ логикой мирового судьи по поводу чурбана; онъ не зналъ, что еще спросить Павла, и тихо побрелъ назадъ съ опущенной головою, а Павелъ, видя, что больше ничего не требуется, чмокнулъ губами, сказалъ „но!“ и подхлестнулъ пристяжную. Лошади рванули, и тарантасъ опять застучалъ по мосту, а Николай Григорьевичъ, глядя имъ вслѣдъ, помахивалъ тросточкой и странно улыбался.

— Гм... борова... Удивительно!..

Онъ хотѣлъ бы теперь хорошенько разъяснить, какъ это все случилось, разспросить Павла подробнѣе: какой это боровъ, чей, заѣмъ его везутъ на земскихъ лошадяхъ, и кто такъ распорядился, но было поздно: лошади вскачь взлетѣли на гору и скрылись, и только колокольчики еще долго пѣли въ отдаленіи...

III.

„Г. предсѣдателю Янской уѣздной земской управы. Земскаго врача перваго медицинскаго участка Николая Григорьевича Окунева заявленіе. Въ воскресенье, 4-го сего іюня, мною была затребована по установленному для сего ярлыку пара лошадей для поѣздки по дѣламъ службы въ с. Поповку. Въ выдачѣ лошадей мнѣ было отказано, между тѣмъ какъ одновременно была выдана господину исправнику пара для отправки какой-то свиньи въ Бѣлые хутора. Въ виду изложеннаго, имѣю честь просить васъ, милостивый государь, о распоряженіи, чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда одновременно поступаютъ требованія на лошадей для перевозки свиней и для разъѣздовъ по дѣламъ службы земскаго врача,—предпочтеніе отдавалось бы послѣднему. Земскій врачъ Окуневъ“.

Предсѣдатель управы, самый крупный изъ землевладѣльцевъ Янскаго уѣзда, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и самымъ крупнымъ человѣкомъ въ цѣлой губерніи. Фамилія ему была Коровинъ. Это былъ человѣкъ удивительно толстый, какихъ все меньше и меньше остается теперь среди нашихъ помѣщиковъ; онъ имѣлъ громадный животъ, короткую шею, пухлыя руки съ подушечками изъ жира на каждомъ пальцѣ и ноги, казавшіяся для его массивнаго корпуса чрезмѣрно тонкими, отчего и общее впечатлѣніе отъ предсѣдателя получалось такое же, какое получается отъ грубой архитектурной несообразности: таліи у Коровина не было, и не было подбородка, который казался продолженіемъ живота; дышалъ онъ съ присвистомъ, какъ старые немного попорченные мѣхи, кашлялъ оглушительно и при этомъ краснѣлъ до корня волосъ и дѣлалъ свирѣпые глаза, словно на кого-то сердился; а говорилъ Коровинъ такимъ густымъ басомъ, словно гудѣлъ самой толстой серебряной струной своей контрабасъ. Въ

земскомъ собраніи это былъ колоссальнѣйшій изъ всѣхъ гласныхъ, и потому на выборахъ многіе думали, что такой большой человѣкъ, говорящій октавой и такъ оглушительно кашляющій и пыхтящій, не можетъ быть никѣмъ инымъ, какъ предсѣдателемъ, а потому клали ему направо. Въ дѣйствительности это была человѣческая туша, болѣе приспособленная для пуховиковъ, чѣмъ для предсѣдательскаго кресла. Такъ именно думалъ и Николай Григорьевичъ Окуневъ, который при одномъ взглядѣ на этого человѣка начиналъ чувствовать раздраженіе.

Лѣто предсѣдатель спалъ въ своемъ имѣніи и только изрѣдка наѣзжалъ въ Янскъ больше для моціона. Заявленіе Окунева привезъ ему въ имѣніе становой приставъ, по порученію Пантелеймона Ивановича Аникина, который съ большими удобствами располагался въ отсутствіе Коровина на предсѣдательскомъ креслѣ.

— Опять нашъ молодой докторъ отличился! Полюбопытствуйте-ка,—сказалъ становой, подавая Коровину заявленіе.

Коровинъ надѣлъ на носъ пенснэ, далеко отодвинулъ листъ и сталъ читать, и при этомъ его шея краснѣла, и казалось, что она дѣлалась все толще, а глаза начинали дико вращаться въ орбитахъ. Онъ выпускалъ какія-то странныя, непонятныя междометія и дышалъ тяжело, со свистомъ.

Предсѣдателя возмутила эта бумага. Такое заявленіе, конечно, могло быть подано только крайне дерзкимъ, грубымъ и невоспитаннымъ человѣкомъ, который любитъ больше устраивать разные скандалы, чѣмъ заниматься дѣломъ.

— Безпокойный господинъ!—произнесъ становой.

— Грубіянъ!—хриплой октавой выбросилъ изъ необъятной груди предсѣдатель, а потомъ долго пыхтѣлъ и молчалъ.

— Съ такими людьми... надо осторожнѣе,—прохри-

пѣлъ Коровинъ.—Они любятъ шумѣть изъ-за пустяковъ... Тогда съ пузырьками цѣлый скандалъ... Зачѣмъ было отправлять на парѣ? а? зачѣмъ на парѣ?—закричалъ Коровинъ, хлопая тяжеловѣсной рукой по заявленію Окунева.

— Это совершенно вѣрно. Можно было на одной,— согласился становой, вздрогнувъ и отстраняя лицо.

Когда Коровинъ пріѣхалъ изъ имѣнія въ Янскъ, онъ послалъ за Николаемъ Григорьевичемъ.

— Я на васъ, милостивый государь, сердитъ...— встрѣтилъ онъ Окунева и показалъ на стулъ. Окуневъ сѣлъ.

— По какому поводу?—спросилъ тотъ, и лицо его сдѣлалось сухимъ и постнымъ, и со стороны можно было подумать, что сердитъ былъ Окуневъ на предсѣдателя, а не предсѣдатель на Окунева.

— Какъ же, батюшка вы мой, относительно вашего заявленія.... Эти шутки надо оставить...

— Я писалъ безъ всякихъ шутокъ, а самымъ серьезнымъ образомъ,—пожавъ плечами, отвѣтилъ Николай Григорьевичъ.

— Неудобно...

— Неудобно возить свиней на земскихъ лошадяхъ, а просить объ устраненіи этого неудобства я нахожу вполнѣ естественнымъ.

Коровинъ сталъ говорить о томъ, что они живутъ одной семьей, по-своему, что все это можно было сдѣлать на словахъ, не заводя пререканій, что всѣ они— не святые люди, и что надо помягче, поспокойнѣе...

— Исправникъ у насъ—человѣкъ почтенный, георгіевскій кавалеръ. Да! Былъ въ русско-турецкой кампаніи и участвовалъ съ сраженіи подъ Плевной... Не всякое лыко въ строку, молодой человѣкъ. Этакъ нельзя жить... Тотъ—чурбанъ, этотъ—возитъ свиней, третій... что тамъ еще? третій—самъ свинья... Вашъ покойный предмѣстникъ прослужилъ у насъ двѣ-над-цать лѣтъ,

и мы жили тихо, мирно и никогда другъ на друга не жаловались... не кляузничали.

— Очевидно, я—не ко двору...—сказалъ Николай Григорьевичъ, вставая со стула.

— А-а-а... не нравится, такъ можете подать прошеніе... Я ничего не имѣю... да... противъ,— свистя легкими, сказалъ Коровинъ.

— Нѣтъ, ужъ я дождусь земскаго собранія, чтобы выяснить это недоразумѣніе,— задорно сказалъ Николай Григорьевичъ и, слегка поклонившись, оставилъ Коровина въ страшномъ волненіи, съ клокотавшей въ груди потребностью закричать, затопать, изругаться по-извозчичьи.

— Нигилистъ! Я тебя уберу въ двадцать четыре часа!—разразился онъ, наконецъ, громовымъ, потрясшимъ комнаты басомъ. Дремавшій въ передней сторожъ принялъ этотъ крикъ на свой счетъ и, затрепетавъ отъ ужаса, вытянулся во фронтъ и замеръ въ своемъ ничтожествѣ.

Вечеромъ собрались въ клубѣ поиграть въ винтъ. Здѣсь были и предсѣдатель, и исправникъ, и его помощникъ, и мировой судья, и почтмейстеръ, и членъ земской управы Аникинъ, однимъ словомъ, вся семья, жившая мирно и дружно. Они возсѣдали за двумя зелеными столами, хлопали кистями рукъ по столешницамъ и шутили по поводу всей этой исторіи изъ-за борова.

— Вы, Александръ Алексѣевичъ, послали бы ему хоть поросеночка!—острилъ Аникинъ, обращаясь къ исправнику,—тогда бы все было прекрасно. Конечно, досадно... Мнѣ тоже досадно...

И всѣ хохотали самымъ задушевнымъ образомъ.

— Милости прошу всѣхъ завтра ко мнѣ откушать, господа! Такимъ борщомъ угощу, что останетесь довольны. Сосисочки свѣжія, поросеночекъ подъ хрѣномъ, со сметанкой... Я—пасъ!

— Позвольте! Зачѣмъ же вы пасуете?

— Такъ, говорите, обидѣлся?

— Прямо принялъ за личное оскорбленіе... Вашъ ходъ.

— Молодъ, молодъ!.. Пылу много,—замѣтилъ Лука Лукичъ.

Онъ втайнѣ сочувствовалъ Николаю Григорьевичу, но считалъ совершенно безполезнымъ и даже небезопаснымъ раскрывать свои симпатіи, какъ и карты, которыя онъ какъ-то особенно тщательно держалъ въ рукахъ, оберегая ихъ отъ случайнаго взора сосѣдей.

— Я его выгоню въ двадцать четыре часа, — съ олимпійскимъ величіемъ прохрипѣлъ предсѣдатель.

— Трудненько это сдѣлать,—жалобно и вкрадчиво возразилъ Лука Лукичъ,—большой скандалъ можетъ выйти... наплевать—и кончено! Пусть его! Перебѣсится, перебродитъ... Вашъ ходъ, сударь!

Только секретарь полиціи, Иванъ Васильевичъ, не скрывалъ своихъ симпатій. Онъ игралъ со смотрителемъ больницы на билліардѣ въ пирамидку и осторожно, съ оглядкой, говорилъ своему партнеру:

— Помилуйте! Съ какой стати было разсылать свиней? Нэ сумѣли бы мы съѣсть сами? Гмм... Понятно, обидно: человѣку надо ѣхать по дѣлу, а тутъ ерунду затѣяли... Рѣжу въ середину четырнадцать!

Впрочемъ, былъ у Николая Григорьевича и еще одинъ союзникъ, хотя, повидимому, совершенно безсильный и безполезный. Фельдшерица при больницѣ, Анна Николаевна, узнавъ о столкновеніи Окунева съ предсѣдателемъ, крѣпче стала жать Николаю Григорьевичу руку при встрѣчѣ и прощаніи, бросала на него полные молчаливой благодарности и глубокаго уваженія взоры и говорила:

— Надо обо всемъ этомъ написать въ Казань, брату...

Прошло послѣ этого около мѣсяца, и все притихло; подъ палящими лучами іюльскаго солнца быстро испарялись всякія злобы обывательскаго дня. Городокъ снова началъ дремать подъ ласковый плескъ волжскаго прибоя, и мирно потекли долгіе, лѣтніе, жаркіе дни и теплыя, душныя, коротенькія ночи... Въ одну изъ такихъ ночей почтмейстеръ, просматривая только-что привезенную съ парохода почту, обратилъ невольное вниманіе на цѣлый ворохъ прибывшихъ газетъ. Почтмейстеръ не читалъ чужихъ писемъ, но почитать чужую газетку, особливо осторожно, не пачкая и не комкая, грѣхомъ не считалъ. Онъ, впрочемъ, наизусть зналъ, кто и что въ Янскѣ выписывалъ. Всего больше приходило въ Янскъ „Свѣта“, потомъ слѣдовала „Нива“, три толстыхъ журнала, одинъ экземпляръ „Новаго Времени“ и одинъ „Русскихъ Вѣдомостей“. „Приволжскаго Курьера“ никто здѣсь не выписывалъ, а между тѣмъ этой газеты было прислано десять номеровъ съ адресами почти всѣхъ почтенныхъ лицъ въ городѣ.

— И мнѣ есть! Что за исторія?—воскликнулъ почтмейстеръ и подумалъ: „Что-нибудь не такъ... Что-нибудь намъ подпакостили“.

На памяти почтмейстера былъ уже такой случай; тогда пробрали Пантелеймона Ивановича Аникина: Аникинъ, будучи церковнымъ старостой собора, пожертвовалъ 500 р. на сооруженіе новаго придѣла и объявилъ, съ надлежащаго разрѣшенія, доброхотную подписку на этотъ придѣлъ въ честь пророка Иліи; когда денегъ собрано было достаточно, и когда выстроенный придѣлъ стали освящать, то жители съ изумленіемъ услыхали, что придѣлъ будетъ не во имя Иліи, а во имя Пантелеймона. Вотъ эта-то продѣлка Пантелеймона Ивановича и описывалась тогда въ газетѣ подъ заглавіемъ „Какъ купецъ Аникинъ надулъ пророка Илію“. Навѣрно, и теперь прислали этотъ „Приволжскій Курьеръ“ не зря...

— Навѣрно, подпакостили... Будемъ посмотрѣть! — произнесъ почтмейстеръ, развернулъ во всю ширину газетный листъ, и ему бросилось прямо въ глаза очерченное краснымъ карандашомъ мѣсто:

„Янскъ, отъ собственнаго корреспондента“!

Почтмейстеръ поудобнѣе поставилъ лампу, поправилъ огонь и началъ читать:

„Недавно у насъ имѣлъ мѣсто слѣдующій комично-грустный инцидентъ. Подъ хлѣбными амбарами, длиннымъ рядомъ растянувшимися вдоль Воложки, поселились когда-то свиньи...

— Свиньи! — вскрикнулъ почтмейстеръ, — ловко! ну-ну!..

„Эти свиньи одичали и отбились отъ рукъ, такъ что не оказалось лицъ, которыя бы признали ихъ за свою собственность (sic)!

— Сикъ!—вскликнулъ почтмейстеръ и залился неудержимымъ хохотомъ.

„Свиньи эти жили въ свое удовольствіе: питались хлѣбомъ изъ амбаровъ, подъ которыми жили, плодились и полнѣли, пока не провѣдало этого начальство. Ну, а какъ провѣдало, то свиному благополучію пришелъ конецъ: всѣ онѣ были переловлены и арестованы. Что сталось съ прочими узниками, намъ неизвѣстно, но вотъ судьба одного изъ нихъ, самого жирнаго и вкуснаго: его рѣшили отправить на воспитаніе въ имѣніе Бѣлые хутора, принадлежащее нашему земскому начальнику.

— Хо-хо-хо! Здорово!—прокричалъ почтмейстеръ съ какимъ-то захлебывающимся трепетомъ и сталъ потирать руки:

„Запрягли пару земскихъ лошадокъ съ колокольчиками, уложили свинью на сѣно и повезли. И все бы это ничего...

— Хо-хо-хо! Не могу! Ей Богу, не могу!... Хо-хо-хо!

„На бѣду одновременно потребовалъ лошадей и нашъ новый земскій врачъ г. О...

— Окуневъ! Окуневъ! Ахъ ты, песъ васъ дери!

„которому надо было ѣхать къ больнымъ. Но лошадей ему не дали и сказали, что осталась одна пара, на которой предположено везти свинью. — Какъ такъ? для свиней у васъ лошади есть, а для врачей не имѣется?—спросилъ изумленный эскулапъ. „Для насъ,—сказали ему,—все равно, кого ни везти: свинью или васъ, потому что мы по ярлыку все тѣ же деньги съ версты и съ лошади получаемъ", и при этомъ добавили: „свинья попутчицей вашему благородію будетъ: коли желаете, и васъ подвеземъ"...

— Вретъ-то какъ здорово! Хо-хо-хо! Ихъ-хи-хи-хи!.. Не могу! Ой! Не могу! Мать! Фелонида Павловна!

„Обидчивый оказался докторъ-то: не поѣхалъ, а свинья отправилась. Старожилы утверждаютъ, что на ихъ памяти это единственный случай, когда свинья ѣхала на парѣ съ колокольчиками. Говорятъ, что нашъ молодой, симпатичный врачъ подалъ по этому поводу какое-то заявленіе предсѣдателю, но тотъ обидѣлся за свинью и предложилъ врачу оставить службу".

Угрюмый залъ почтовой конторы долго оглашался гомерическимъ хохотомъ почтмейстера, съ визгомъ и всхлипываніемъ, и этотъ хохотъ, вырываясь чрезъ раскрытыя окна на улицу, странно звучалъ въ ночной тишинѣ, пролетая надъ спящимъ городомъ...

IV.

Теплая ночь окутывала городокъ серебристымъ и печальнымъ луннымъ сіяніемъ, и сладкій сонъ водворился давно уже въ небольшой горсткѣ домиковъ, разбросанныхъ въ лощинѣ межъ горъ. Полная луна остановилась въ синихъ, усѣянныхъ дрожащими звѣздами небесахъ и перебросила искрящуюся дорогу чрезъ

величавую въ своемъ молчаливомъ спокойствіи рѣку. Эта искрящаяся дорога тянулась изъ-подъ самыхъ горъ, гдѣ было темно и мрачно, далеко-далеко и терялась въ бѣлесоватомъ туманѣ надъ водою... Изрѣдка далекій свистокъ парохода звучалъ въ минорномъ тонѣ, и эхо горъ долго отвѣчало ему своимъ кроткимъ отзвукомъ. Собака лаяла гдѣ-то въ городѣ, и этотъ лай, одинокій, и звонкій, и надоѣдливый, казалось, заставлялъ вздрагивать чуткую ночь, а звѣзды—усиленно мигать и прислушиваться къ тому, что дѣлается въ Янскѣ.

Насладившись чтеніемъ корреспонденціи, почтмейстеръ былъ не въ силахъ залечь спать, потому что во всемъ существѣ его дрожала непреодолимая потребность сейчасъ же передать кому-нибудь свое душевное состояніе, свое настроеніе, посмотрѣть, какъ и другіе будутъ трястись и взвизгивать при чтеніи этого произведенія. Почтмейстеръ былъ добрякъ, весельчакъ и балагуръ, и потребность подѣлиться поскорѣй съ кѣмъ-нибудь новостью была, въ сущности, хорошимъ чувствомъ, потому что въ ней не было и тѣни злорадства, а было одно только желаніе, чтобы и другой человѣкъ получилъ такое же сильное и пріятное впечатлѣніе, какое получилъ сейчасъ самъ онъ, почтмейстеръ. Жена его заснула и успѣла уже войти во вкусъ этого безплатнаго удовольствія, а потому, когда мужъ разбудилъ ее и предложилъ послушать про свинью и доктора, она отвернулась къ стѣнкѣ и лишь сердито проворчала:

— Какая ты свинья: я только-что заснула, а ты лѣзешь!

И не съ кѣмъ было подѣлиться удовольствіемъ и похохотать. Почтмейстеръ сгоряча началъ, было, читать про эту исторію дежурному почтальону, но, взглянувъ на него, сейчасъ же бросилъ, потому что понялъ неумѣстность чтенія: эта сонная и глупая морда ничего,

конечно, не пойметъ и не оцѣнитъ... А потому почтмейстеръ и рѣшилъ отправиться въ клубъ, гдѣ, конечно, всегда найдутся два-три подходящихъ человѣка, которымъ пріятно будетъ сдѣлать удовольствіе.

Сюда и направился почтмейстеръ. Онъ шелъ дѣловой, торопливой походкою по околдованнымъ луннымъ сіяніемъ улицамъ, словно боялся опоздать, и судорожно сжималъ въ рукѣ номеръ „Приволжскаго Курьера“, гдѣ было напечатано про свинью и доктора.

Запыхавшись отъ чрезмѣрно быстраго передвиженія, почтмейстеръ, наконецъ, достигъ цѣли. Подойдя къ раскрытому окну клуба, онъ постучалъ въ подоконникъ тросточкой и крикнулъ:

— Богъ помощь, господа!

— Кто это? а-а? почтеннѣйшій! Заходите!—отвѣтилъ секретарь полиціи, появляясь на свѣтломъ фонѣ окна въ жилетѣ и съ кіемъ въ рукахъ.

— Много публики?

— Есть народъ.

— Что я вамъ, господа, сообщу! — трепеща отъ нетерпѣнія, таинственно началъ, было, почтмейстеръ, но Иванъ Васильевичъ сказалъ: „Некогда, мой ударъ“,— и исчезъ, а вслѣдъ затѣмъ раздался сухой трескъ костяныхъ шаровъ другъ о друга.

Въ карточномъ отдѣленіи было сильно накурено. Здѣсь напряженно играли въ винтъ, прихлебывая урывками винцо, и, не переставая, курили... У почтмейстера радостно забилось сердце уже отъ одной мысли, какъ онъ удружитъ сейчасъ всей этой компаніи. Но внезапно онъ различилъ голосъ исправника, и ему стало досадно. „Пожалуй, и неудобно при немъ прочитать этакую штуку... Кабы не было еще этого „сикъ“, а то...“ — подумалъ почтмейстеръ, которому особенно пикантнымъ почему-то казалось именно это sic. Онъ поздоровался съ играющими и, присѣвъ около нихъ, все ерзалъ на стулѣ, повторялъ въ умѣ „sic“ и,

ухмыляясь, придерживался за боковой карманъ, гдѣ у него это „sic“ было спрятано.

— Что это вы, Ардаліонъ Михайлычъ, какимъ именинникомъ сегодня смотрите? — спросилъ исправникъ, мимолетно уловившій на лицѣ почтмейстера какое-то радостно-ликующее выраженіе.

— А такъ-себѣ, ничего особеннаго, Александръ Алексѣичъ.

— Какое-то какъ бы сіяніе у васъ на лицѣ замѣчается... Точно не отъ міра сего... Я, господа, до сихъ поръ не могу забыть, что когда мы въ третій разъ брали Плевну,—началъ исправникъ, хладнокровно загребая рукою „взятки“,—то у многихъ было какое-то особенное выраженіе на лицѣ, подобное вотъ тому, какое замѣчается сейчасъ у Ардаліона Михайлыча... какая-то, знаете ли, высшая мысль о чемъ-то, знаете ли, этакомъ... Ну вотъ, какъ у Ардаліона Михайлыча!...

— У васъ, дѣйствительно, какое-то особенное лицо.

— Ну-съ, такъ большинство изъ насъ было найдено потомъ на полѣ сраженія съ улыбками неземной радости на лицѣ...

— Безъ трехъ! Ваша сдача.

— Ну-съ, лично я былъ раненъ въ животъ и слегка контуженъ въ голову, но остался живъ: раны оказались не смертельными... Пики!

— Два пики!

— Два трефы!

— Три трефы!

— Пасъ! А вѣдь мы были тогда подъ самымъ Константинополемъ! Этакая досада! И когда-нибудь мы будемъ тамъ снова-съ...

— Непремѣнно! Этотъ городъ принадлежитъ намъ по праву... Зачѣмъ же вы ходите съ червей? Чудакъ!

— Что съ вами, Ардаліонъ Михайлычъ? Наслѣдство, что ли, вы получили?

Почтмейстеру стало страшно и неловко, и онъ по-

шелъ отъ грѣха въ билліардную. Здѣсь секретарь полиціи, Иванъ Васильевичъ, и землемѣръ Скачковъ, оба въ однихъ жилетахъ, упражнялись на билліардѣ. На столикѣ, въ углу комнаты, высилась цѣлая баттарея пивныхъ бутылокъ, а на спинкахъ стульевъ висѣли, касаясь пола, сюртуки играющихъ.

— Величайшая новость!—тихо сказалъ почтмейстеръ на ухо Ивану Васильевичу.

— Что такое?

— Про вашихъ свиней пасквиль напечатали,—еще тише шепнулъ Ардаліонъ Михайловичъ.

— Не можетъ быть?! — громко воскликнулъ Иванъ Васильевичъ.

— Клянусь Богомъ! — тоже громко отвѣтилъ почтмейстеръ и покосился въ сторону землемѣра, пившаго у столика пиво.

— Не безпокойтесь: свой человѣкъ. Останется между нами,—успокоилъ Иванъ Васильевичъ.

Тогда почтмейстеръ вынулъ изъ кармана номеръ „Приволжскаго Курьера“ и, бросивъ его на зеленое поле билліарда, облегченно вздохнулъ, словно разрѣшился, наконецъ, отъ какого-то бремени... Секретарь и землемѣръ жадно читали и хихикали отъ наслажденія тихо, подъ сурдинку, потому что боялись привлечь вниманіе исправника, который громко и съ разстановкою продолжалъ тамъ, въ карточной, разсказывать про Плевну. Потомъ они начали вырывать газету другъ у друга, чтобы еще разъ прочитать хорошенько, просмаковать эту занятную штуку, а Ардаліонъ Михайловичъ останавливалъ:

— Тише, господа! — Изорвете, Иванъ Васильевичъ!

— Покажемъ исправнику!—предложилъ землемѣръ, отирая кулакомъ слезы наслажденія.

— Неудобно... „Сикъ“ тамъ это... Наплевать! — сказалъ почтмейстеръ, махнувъ рукой,—еще выйдетъ ка-

кая-нибудь непріятность... Завтра онъ самъ получитъ... И ему прислали...

— Пустяки! Давайте, я покажу, — сказалъ землемѣръ.

Это былъ человѣкъ всегда „съ похмелья“, и ему всегда было море по колѣно.

— Что онъ мнѣ сдѣлаетъ? Хм! давайте!

Землемѣръ надѣлъ сюртукъ, поправилъ волосы, застегнулъ одну нижнюю пуговицу и, взявъ газету и сдѣлавъ печально-строгое выраженіе на своей полупьяной физіономіи, отправился въ карточную комнату.

— Вотъ вы, господа, сидите и играете, а между тѣмъ у насъ вѣдь неблагополучно, — серьезно сказалъ онъ, останавливаясь около играющихъ.

— Что такое?

— Пасквиль, господа, появился... Не угодно ли полюбопытствовать...

— Какой пасквиль? Что такое?

— Вотъ-съ. „Отъ собственнаго корреспондента“.

Сперва прочиталъ земскій начальникъ, въ имѣніе котораго былъ отправленъ боровъ. По мѣрѣ того, какъ онъ молча скользилъ взоромъ по строчкамъ, лицо его осклаблялось въ какую-то странную улыбку; онъ покручивалъ усъ и моталъ головою, а когда кончилъ чтеніе, то вздохнулъ и произнесъ, поднявъ брови:

— Очень прискорбно. Я... мнѣ, собственно, тутъ рѣшительно не о чемъ безпокоиться, я здѣсь—съ бокуприпека. А вотъ вамъ, Александръ Алексѣевичъ, дѣйствительно, непріятно. Напакостили отмѣнно.

Исправникъ измѣнился въ лицѣ. Стараясь, однако, замаскировать внезапный упадокъ силъ, онъ съ достоинствомъ протянулъ руку за газетой и, произнося: „мнѣ нечего бояться“, кашлянулъ, сильно затянулся сигарой и началъ читать.

— Какъ вретъ! Какъ нахально подтасовываетъ факты! Попутчица... Гм... очень глупо...

Но землемѣръ, стоявшій позади, видѣлъ, что лѣвая рука исправника вздрагиваетъ, что отъ этого съ сигары, которую онъ держалъ въ этой рукѣ, свалился пепелъ, а Лука Лукичъ, внимательно смотря на исправника, думалъ о томъ, что у Александра Алексѣевича теперь такое выраженіе, какое, судя по его собственному описанію, было, вѣроятно, у героевъ, павшихъ подъ Плевной...

— Мерзость—и больше ничего!—сказалъ исправникъ и съ пренебреженіемъ отбросилъ газету.

— Крайне непріятная исторія, крайне непріятная!—произнесъ земскій начальникъ, пуская колечки изъ табачнаго дыма.

— Замѣтьте: „отъ собственнаго корреспондента“!—сказалъ землемѣръ.

— Да, этакой пакости до сихъ поръ у меня въ городѣ не было... не заводилось,—задумчиво промолвилъ исправникъ.

— Было, Александръ Алексѣевичъ!—возразилъ землемѣръ.

— Ни-ког-да!

— А помните про Илью-пророка?

— Про какого Илью-пророка?—спросилъ исправникъ и, оглянувшись, окинулъ стоявшаго позади землемѣра сердитымъ взглядомъ.

— А тогда... Относительно Пантелеймона Иваныча. Какъ онъ придѣлъ-то строилъ...

— Ну-у! Когда это было?... десять лѣтъ тому назадъ. Это совсѣмъ другое дѣло...—сказалъ исправникъ, откидываясь на спинку стула.

— Кто бы могъ написать такую возмутительную гадость?..

— Весьма вѣроятно, самъ докторъ и написалъ...

— Крайне прискорбно... А лично, господа, я убѣжденъ, что именно онъ это и устроилъ... Видно, знаете, человѣка. Онъ все какъ-то особнякомъ держался; ис-

кренности, задушевности этой въ немъ нѣтъ, всегда—себѣ на умѣ... Всегда у него былъ камень за пазухой, и это было видно-съ...

— Гм! весьма вѣроятно, весьма вѣроятно! — согласился исправникъ.—Во всякомъ случаѣ я такъ этого не оставлю... Могутъ подумать, чортъ знаетъ что...

— Что же вы, Александръ Алексѣичъ, сдѣлаете?— вкрадчиво спросилъ исправника Лука Лукичъ.

— Мы съ Коровинымъ потребуемъ оффиціальнымъ отношеніемъ сообщить, кто написалъ гадость, а затѣмъ... посмотримъ,—погрозилъ исправникъ, но въ его угрозѣ не было достаточной силы, увѣренности, и это „посмотримъ“ прозвучало какъ-то одиноко и печально.

— А который, господа, часъ? Не пора ли по домамъ?...

И они разошлись въ глубокомъ молчаніи. Только секретарь, Иванъ Васильевичъ, остался въ клубѣ и не хотѣлъ уходить. Онъ сидѣлъ въ билліардной, пилъ пиво и по временамъ улыбался и говорилъ въ воздухъ съ укоризной предусмотрительнаго и разсудительнаго человѣка, котораго не послушали:

— Такъ я и думалъ... Такъ и должно было случиться... Зачѣмъ было развозить? прекрасно бы съѣли здѣсь, и ничего бы этого не вышло... Ѳаддей! Дай-ка еще бутылочку свѣтленькаго!

Ѳаддей стоялъ въ углу, прислонясь къ стѣнкѣ, и, скрестивъ руки по-наполеоновски, дремалъ, тыкаясь носомъ.

— Ѳаддей! Подай бутылку свѣтлаго!

— Поздно, Иванъ Васильевичъ. Спать пора...

— Все равно, братъ, теперь всю ночь не уснешь... Нѣтъ! Я такъ и зналъ, такъ и зналъ!.. Сами виноваты... Исключительно сами...

Когда Иванъ Васильевичъ возвращался домой и проходилъ по мосту черезъ рѣку Брыску, онъ услы-

халъ пѣніе и остановился: сильный баритонъ прилеталъ съ горы и, сотрясая мертвую тишь глубокой ночи, носился надъ городкомъ и, казалось, терялся гдѣ-то за Волгой въ необъятной дали серебристыхъ тумановъ.

— Гм... недурно. Кто-жъ это поетъ? Вѣрно, докторъ... Больше у насъ некому...—произнесъ Иванъ Васильевичъ и, присѣвъ на перила моста, сталъ слушать, поминутно теряя точку равновѣсія отъ излишка выпитаго имъ пива.

Пѣлъ, дѣйствительно, Николай Григорьевичъ. Въ эту тихую лунную ночь ему не спалось: душа его рвалась далеко, къ любимой дѣвушкѣ, которая скоро пріѣдетъ и станетъ его женой и другомъ...

И, тоскуя по этой дѣвушкѣ, Николай Григорьевичъ былъ полонъ грядущимъ счастьемъ, и это счастье, трепетавшее въ груди тоскующаго Николая Григорьевича, вливало въ его душу новый потокъ энергіи, желанія трудиться и жить для этихъ кроткихъ, безсловесныхъ нищихъ, которыхъ называютъ мужиками и бабами. Онъ ходилъ по залитому луннымъ свѣтомъ аду и пѣлъ, и въ этой пѣснѣ, пролетавшей надъ спящимъ городкомъ, затерявшимся межъ горъ, въ лощинѣ, звучала сила энергіи, убѣжденія и жажда подвига чистой юности, сливавшіяся въ груди молодого врача въ одинъ трепетный порывъ къ неизвѣданному счастію...

Иванъ Васильевичъ слушалъ эту пѣсню, моталъ головой и дирижировалъ рукою. И вдругъ Ивану Васильевичу захотѣлось, чтобы тотъ, кто поетъ тамъ, на горѣ, узналъ, что здѣсь, на мосту, сидитъ Иванъ Васильевичъ и слушаетъ. И потому Иванъ Васильевичъ громко и хрипло запѣлъ:

„Часовой! Что надо, баринъ?
Притворись, что ты засну-у-лъ!“

Но тутъ у Ивана Васильевича не хватило голоса, и онъ, махнувъ рукой, соскочилъ съ перилъ и нетвердой походкою направился домой спать...

V.

Лѣтомъ къ двадцатымъ числамъ мѣсяца въ Янскъ съѣзжались, обыкновенно, служилые люди разныхъ поприщъ и профессій, и тогда городокъ кишмя-кишѣлъ культурной публикой. Тутъ были и врачи, и становые, и земскіе начальники, и волостные писаря, и начальники почтовыхъ отдѣленій; все это сползалось изъ уѣзда, чтобы не дожидаться, когда вышлютъ жалованье, а поскорѣе положить его въ свой карманъ и запастись въ городкѣ различными предметами житейскаго обихода. Многіе пріѣзжали съ женами и дѣтьми, чтобы сдѣлать покупки по женской спеціальности, а кстати и развлечься маленькими удовольствіями уѣзднаго города. Все это были, въ большинствѣ, люди, связанные общими уѣздными интересами, службой, и давно знавшіе другъ друга, поэтому получалось такое впечатлѣніе, словно былъ съѣздъ родственниковъ, пріятелей и добрыхъ знакомыхъ. Городокъ оживлялся. На улицахъ, по скрипучимъ досчатымъ тротуарамъ, разгуливали партіями цѣлыя семейства, дамы подъ вуалями, съ цвѣтными зонтиками и шумящими крахмальными и шелковыми юбками, шагали подъ-ручку субъекты въ фуражкахъ съ кокардами, дѣлясь какими-то новостями или тайнами; дребезжали проржавѣвшими желѣзными крыльями старомодные шарабаны, долгушки, загруженныя цѣлой кучкой сѣдоковъ, взрослыхъ и маленькихъ, линейки съ подскакивающими на нихъ чиновниками... То и дѣло звенѣли колокольчики, хоромъ лаяли вылѣзавшія изъ подворотенъ собаки, и пыль клубилась по немощенымъ улицамъ... По вечерамъ, въ маленькомъ общественномъ садикѣ, разбитомъ на набережной Волги,

визжали двѣ скрипки, гудѣли двѣ трубы, басилъ контрабасъ и гремѣлъ барабанъ, который назывался турецкимъ, гремѣлъ такъ оглушительно, что у гуляющихъ вздрагивали внутренности... А по ночамъ клубъ стоналъ отъ говора, смѣха, звона посуды, а улицы, сонныя и безлюдныя, нѣтъ-нѣтъ да оглушались вдругъ заразительнымъ задорнымъ смѣхомъ дамъ и дѣвицъ возвращавшихся съ пикника изъ-за Волги, гдѣ онѣ выпили „сладенькаго“... Однимъ словомъ, въ лощинѣ межъ горъ тогда копошились такъ же, какъ это бываетъ съ муравейникомъ, затеряннымъ гдѣ-нибудь въ лѣсу, когда этотъ муравейникъ случайно попадаетъ подъ ногу бродящаго по лѣсу охотника...

Понятно, что исправникъ и предсѣдатель управы—онъ же предводитель уѣзда, оба съ женами, были, такъ сказать, двумя солнцами съ ихъ спутниками, вокругъ которыхъ происходило главное круговращеніе уѣздныхъ планетъ разныхъ величинъ.

Двадцатое августа было въ этомъ году исключительнымъ: всю эту систему круговращенія замутила послѣдняя новость, какъ ракета, влетѣвшая и лопнувшая на глазахъ всей почтеннѣйшей публики. Сильно помятый, затасканный номеръ „Приволжскаго Курьера“, гдѣ было напечатано о свиньѣ и докторѣ, ходилъ по рукамъ пріѣзжихъ и возбуждалъ безконечные толки крайне разнообразнаго характера, въ общемъ, однако, сочувственнаго свиньѣ и враждебнаго Николаю Григорьевичу. Большинство, конечно, стояло на сторонѣ „своихъ“, т. е. тѣхъ, кто съѣлъ свиней, и лишь небольшая кучка затерянныхъ въ глуши и сильно уже потертыхъ и потускнѣвшихъ интеллигентовъ въ душѣ радовалась и торжествовала, съ напускнымъ равнодушіемъ прочитывая корреспонденцію изъ Янска.

— Гм... да, непріятная исторія... Крайне непріятная исторія для почтеннѣйшихъ нашихъ... Александра Алексѣевича, и Коровина, и земскаго начальника!..—

говорили эти интеллигенты, думая про себя: „прекрасно! Превосходно! Такъ и слѣдуетъ!“

Въ числѣ этой малочисленной кучки тайно сочувствующихъ интеллигентовъ были, конечно, и всѣ три земскихъ врача, сотоварищи Николая Григорьевича Окунева. Они всей этой исторіей съ дикими свиньями и отправкой борова искренно возмущались, въ оскорбленіи и попраніи правъ своего сотоварища чувствовали свое оскорбленіе и попраніе собственныхъ правъ, догадывались, что, вѣроятно, авторъ корреспонденціи—самъ Окуневъ, хвалили его, называя „молодцомъ и симпатичнымъ малымъ“, но въ то же время были увѣрены, что ничего изъ этого не выйдетъ, кромѣ однѣхъ непріятностей самому Николаю Григорьевичу.

— Развѣ тутъ прошибешь перомъ?—говорили они между собою.

— А все-таки. Хоть подпакостилъ маленько—и то хорошо.

— Э! Они и не почешутся.

Николай Григорьевичъ пригласилъ всѣхъ ихъ собраться у него, чтобы сообща потолковать о дѣлѣ и своихъ общихъ интересахъ. Онъ даже предлагалъ двумъ изъ нихъ расположиться у него въ квартирѣ, вмѣсто номеровъ и гостинницъ:

— Покуда я одинъ—мѣста много... Располагайтесь, господа, лагеремъ: я буду очень радъ...

Его поблагодарили, но предложеніемъ его никто не воспользовался. Степановъ отказался, говоря: „лѣнь, голубчикъ, двигаться“; старикъ Крокинъ сказалъ, что онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ земскимъ начальникомъ, и ему неловко бросить сожителя, съ которымъ они уговорились платить за номеръ вмѣстѣ; третій, по фамиліи Куроѣдовъ, ничего не сказалъ, промолчалъ, словно не слышалъ любезнаго приглашенія. Все-таки однажды подъ вечеръ они собрались къ Окуневу посидѣть и побалагурить. Николай Григорьевичъ угостилъ ихъ вкус-

ной ухой изъ стерляди, напоилъ чаемъ съ ромомъ ямайскимъ, а потомъ они пошли въ садъ, сидѣли въ повитой хмелемъ бесѣдкѣ и долго пили пиво и разговаривали.

— Ничего изъ этого не выйдетъ... Напрасно вы ломаете перья... И погромче васъ были, батюшка, витіи,— потягивая изъ стакана янтарное пиво, говорилъ старикъ Крокинъ, а Степановъ доканчивалъ:

— Да не сдѣлали пользы перомъ.

— Я слышалъ вчера стороной, что противъ васъ, collega, собирается грянуть громъ...

— Не изъ тучи, а изъ навозной кучи!—расхохотавшись, воскликнулъ Николай Григорьевичъ.

— А отлично вы ихъ отдѣлали. Прелестно! Давайте, чокнемся!..

— Не я, господа... Увѣряю васъ, что не знаю, кто...

— Полноте, полноте, collega! Не выдадимъ! ха-ха-ха!—сказалъ старикъ Крокинъ и расхохотался мелкимъ старческимъ смѣшкомъ.

Когда всѣ они подпили, то какъ будто стали ближе, родственнѣе другъ другу, и будто долгіе годы жизни въ горахъ отодвинулись въ сторону и открыли картину далекихъ дней студенчества, и они стали вспоминать прошлое, разсказывали другъ другу разные случаи изъ студенческой жизни, говорили о профессорахъ и безпорядкахъ и при этомъ такъ воодушевлялись студентами, что, казалось, будто всѣ они помолодѣли и опять сдѣлались студентами, и опять могутъ устроить безпорядки.

— А вы, дружище, развѣ тоже участвовали? И у васъ были?

— Какъ же-съ, были! Я вѣдь потомъ экстерномъ сдавалъ,—съ гордостью отвѣтилъ Крокинъ.

Они стали искреннѣе смѣяться, искреннѣе возмущаться, свободнѣе выражаться о почтеннѣйшихъ людяхъ городка, а одинъ изъ нихъ, самый молодой, Сте-

пановъ, началъ даже принимать съ Николаемъ Григорьевичемъ фамильярный тонъ близкаго товарища.

— Прохвосты они, collega! Ну-ка, налей еще по стаканчику!..

— Надо ихъ, господа, немного попридержать... Помилуйте, на что это похоже? Они начинаютъ вмѣшиваться даже прямо въ нашу спеціальность. Они хотятъ мнѣ указывать, сколько мнѣ нужно хины, сколько калибромати... Эта толстая свинья суетъ свое тупое рыло рѣшительно не туда, куда слѣдуетъ,—горячо говорилъ Степановъ. И всѣ дружно хохотали и ободряли Степанова.

И чѣмъ больше они пили, тѣмъ задушевнѣе и теплѣе становилась бесѣда.

— Конечно, господа, намъ надо сплотиться, дѣйствовать сообща и разомъ,—говорилъ Окуневъ, который началъ уже приходить въ возбужденно-протестующее настроеніе и чувствовалъ, что онъ—не одинъ, а съ товарищами.

— Вѣрно! Пью за наше единеніе! За наше общее дѣло! И да погибнутъ враги!—крикнулъ захмелѣвшій Степановъ.

Степановъ былъ очень способный человѣкъ и когда-то жаждалъ двигать науку. Нужда заставила его поступить временно на службу да такъ и втиснула, втянула въ захолустное болото. Онъ былъ одинъ, но часто посылалъ деньги по десяти и по пятнадцати рублей и говорилъ о какомъ-то двоюродномъ братѣ, о какой-то бабушкѣ и сестрѣ, которая учится на курсахъ. Когда двоюродный братъ кончитъ университетъ, когда бабушка умретъ, а сестра поступитъ на мѣсто, тогда Степановъ броситъ службу и поѣдетъ защищать диссертацію на доктора. Эту диссертацію онъ года три писалъ, да такъ и не написалъ. Мечты его съ каждымъ годомъ меркли, знанія не освѣжались и съ каждымъ годомъ становилось труднѣе читать и думать... Онъ все

не могъ собраться съ деньгами, чтобы купить себѣ микроскопъ, который ему былъ нуженъ почему-то для диссертаціи, и, когда его спрашивали товарищи о диссертаціи, говорилъ: „Вотъ куплю микроскопъ и докончу...“ Но микроскопъ не покупался, сестра не получала мѣста, бабушка не умирала, двоюроднаго брата исключили изъ университета по безпорядкамъ... И Степановъ вяло тосковалъ въ глуши, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе склоняясь къ забвенію посредствомъ спиртныхъ напитковъ. Съ большой копной русыхъ вьющихся волосъ, съ умными синими глазами и открытымъ лицомъ, онъ слылъ въ уѣздѣ красавцемъ и былъ любимецъ молодыхъ помѣщицъ и помѣщичьихъ дочерей, а какъ человѣкъ холостой, былъ еще и предметомъ состязанія маменекъ въ смыслѣ уловленія его въ сѣти брачныя. Степановъ ни у кого изъ матушекъ не отнималъ надеждъ: за всѣми дѣвицами вяло ухаживалъ, вездѣ пѣлъ теноромъ романсы, останавливался запросто, а любовь свою дарилъ деревенскимъ красавицамъ, потому что ему было лѣнь провести въ должной постепенности прелюдію культурнаго законнаго брака. Изъ всѣхъ сотоварищей Николая Григорьевича это былъ самый лучшій и симпатичный и всего болѣе напоминалъ и объ университетѣ, и о студенческомъ товариществѣ, и о томъ, что всѣ эти люди когда-то и о чемъ-то мечтали и къ чему-то старательно рвались...

— За нашу коалицію! Будемъ бороться во имя нашей alma mater! — крикнулъ Степановъ, тряхнувъ своими русыми кудрями.

Зашумѣли. Степановъ облобызался съ Николаемъ Григорьевичемъ и еще громче крикнулъ:

— Не дадимъ, братцы, въ обиду товарища! Если его хотятъ увольнять,—пусть увольняютъ всѣхъ насъ. Не хотимъ сторониться передъ боровомъ! Подадимъ коллективный протестъ и уходимъ!

„Давно бы пора“!—подумала Маланья, подавая са-

моваръ въ бесѣдку. Степановъ лукаво посмотрѣлъ на нее и сказалъ:

— Красавица... Эхъ, какую ты, collega, матрону завелъ!

— А вотъ и не Матрена вовсе, а Маланья!—довольно улыбаясь, произнесла красивая женщина и гордой павою пошла назадъ, провожаемая восхищеннымъ взоромъ Степанова...

Долго на горѣ, въ докторскомъ саду, слышались веселые голоса, смѣхъ, споры и хоровое пѣніе,—и казалось, что въ одномъ уголку мирно спавшаго Янска пріютился крошечный кусочекъ университета, и что тамъ, за заборомъ сада, засѣли какіе-то особенные люди, и что оттуда вѣетъ чѣмъ-то особеннымъ, непохожимъ на все то, что скрыто въ лощинѣ межъ горъ.

И опять, когда гости разошлись по домамъ, Николай Григорьевичъ ходилъ по саду, и опять съ горы слеталъ и несся чрезъ спящій городокъ за Волгу сильный баритонъ.

Николай Григорьевичъ не могъ заснуть. Впрочемъ, и ночи осталось очень мало, всего часа два-три, а такъ какъ наступающій день былъ воскреснымъ, и надо было ѣхать на фельдшерскій пунктъ въ Поповку, то не стоило ужъ и ложиться. Когда солнце, выкатившись изъ-подъ горизонта, обрызгало своимъ нѣжно-розоватымъ свѣтомъ деревья сада, крыши разбросанныхъ въ лощинѣ домиковъ и ослѣпительно засіяло на недавно вызолоченномъ крестѣ янскаго собора, а изъ-подъ таявшей дымки колыхавшагося надъ рѣкой тумана выглянула Волга съ золотистой и фіолетовой поверхностью,—тогда Николай Григорьевичъ взялъ трость и шляпу и пошелъ искупаться, чтобы окончательно стряхнуть дрему и туманъ маленькаго похмелья послѣ товарищеской вечеринки. Онъ пошелъ на плоты, потому что въ августѣ никто, кромѣ него, въ Янскѣ не купался, и купальня давно была разобрана и обращена на другія надобности...

На плотахъ бѣлѣла парусина, и желтѣла соломенная шляпа мирового судьи, Луки Лукича. Онъ, по обыкновенію, удилъ рыбу, не желая измѣнять порядка своей жизни и привычекъ даже и по двадцатымъ числамъ, когда вся жизнь уклонялась въ сторону болѣе шумныхъ и сильныхъ удовольствій...

— А я думалъ, что еще всѣ спятъ въ Янскѣ, и что я одинъ бодрствую,—сказалъ Николай Григорьевичъ, шагая бочкомъ по бревнушку, перекинутому съ берега на плоты.

— Мое почтенье, сударь! Неужели купаться?—спросилъ Лука Лукичъ, съ неудовольствіемъ оглядывая Окунева.

— Купаться.

— Да вѣдь никто, сударь, теперь не купается... Листочки ужъ желтѣютъ...

— Ничего не значитъ.

— А я, было, хотѣлъ здѣсь поудить... Неудобно будетъ... Надо будетъ, значитъ, убираться... Какой ужъ тутъ клевъ!—недовольно проворчалъ Лука Лукичъ и сталъ, было, собирать свои удилища.

— Не безпокойтесь, Лука Лукичъ! Я вамъ не стану мѣшать: уйду подальше, вонъ туда, къ лодкѣ! Мнѣ все равно,—успокоилъ Николай Григорьевичъ страстнаго рыбака.

— Вотъ спасибо! Вотъ благодарю!—съ признательностью воскликнулъ Лука Лукичъ и замоталъ головой.— Вижу, что вы джентльменъ.

И когда Николай Григорьевичъ пошелъ съ плотовъ, Лука Лукичъ, какъ бы въ благодарность, рѣшилъ разсказать „этому деликатному молодому человѣку, очень умному, хотя чрезмѣрно горячему“, то, что онъ, Лука Лукичъ, знаетъ, и что очень близко касается доктора.

— Э—э, позвольте! На минуточку, на одну минуточку!—крикнулъ Лука Лукичъ.

Николай Григорьевичъ вернулся.

— Что скажете хорошенькаго?

— То-то, батенька, не хорошенькое, а очень скверное...—предварительно оглядѣвшись по сторонамъ, сказалъ Лука Лукичъ и немного смутился.

— А именно?

— Гм... Или ужъ не говорить? не огорчать?

— Ничего, ничего, валяйте!

— Вчера состоялось постановленіе управы... Гм... Вы только успокойтесь.

— Да я не волнуюсь, говорите!

— Да, гм... Постановленіе объ... объ увольненіи васъ отъ службы... Я сообщаю это вамъ подъ величайшимъ секретомъ... изъ-за уваженія, которое питаю къ вамъ, молодой человѣкъ... Конечно, это останется между нами...

— Трудновато, — съ улыбкой произнесъ Николай Григорьевичъ и сталъ постукивать тросточкой по бревну.

— Ну да, конечно... Когда все это обнаружится, то всѣ узнаютъ... Но покуда—между нами!.. Т. е. не надо говорить, что я сказалъ вамъ...

— Съ какой стати.

— Я, знаете ли, не люблю мѣшаться во всѣ эти исторіи... Я живу себѣ, рыбу вотъ ловлю... А тамъ, какъ они хотятъ... Хоть всѣ перегрызутся — намъ съ женой нѣтъ дѣла... Да, непріятная исторія, крайне непріятная исторія... Ужъ больно вы съ мѣста въ карьеръ взяли... Клюетъ у меня, кажется?.. да, да... Извините, не могу вамъ руки подать...

— Какъ же они мотивируютъ мое увольненіе?— съ вызывающей улыбкою спросилъ Николай Григорьевичъ.

— Тс! Сейчасъ, сейчасъ! Маленечко повремените: клюетъ... Гм... бросила, шельма... Надо потише разговаривать... Утро тихое, — она, шельма, все слышитъ... Это—подлещикъ... Ершъ, — тотъ сразу взаглотку...—шо-

потомъ произнесъ Лука Лукичъ и потомъ, обернувшись, еще тише сказалъ:

— За небрежное отношеніе къ своимъ обязанностямъ... да! Вотъ вѣдь гдѣ она, самая-то подлость ихняя сидитъ... Тсс! Опять дернула .. Ну! Никакъ пароходъ идетъ?.. Чортъ бы ихъ взялъ, эти пароходы! Бѣда нынче съ ними: прямо поудить негдѣ...

— Благодарю, Лука Лукичъ, за сообщеніе...

— Не стоитъ, не стоитъ. Только, пожалуйста, чтобы— между нами... Я знаю, кому говорю... да!

— Будьте спокойны: не выдамъ... — громко сказалъ Николай Григорьевичъ.

— Тсс!..

Лука Лукичъ схватился за удилище и весь замеръ, опершись руками на колѣни и вытянувъ шею, а Николай Григорьевичъ приподнялъ шляпу и пошелъ съ плотовъ.

VI.

Николай Григорьевичъ не искупался, но это было совершенно излишне: Лука Лукичъ искупалъ его своимъ секретнымъ сообщеніемъ, и остатки дремы и хмеля въ головѣ улетѣли, какъ испуганныя птицы. Онъ взбирался на гору, не торопясь, сосредоточенный, но полный достоинства, нисколько не растерявшійся, помахивалъ тросточкой и напѣвалъ „тра-ра-рамъ“. Когда онъ проходилъ по площади, мимо большого каменнаго дома при полиціи, гдѣ жилъ исправникъ, то бросилъ на занавѣшенныя шторами окна его квартиры вызывающій взглядъ, разсмѣялся и произнесъ: Гм... посмотримъ!“ Онъ зналъ, что исправника вызывали въ метрополію для объясненій, и что вернулся онъ оттуда очень тихимъ и скромнымъ, словно съѣденная имъ свинья благотворно повліяла на его характеръ. Но Николаю Григорьевичу было также извѣстно, что послѣ

того, какъ исправникъ вернулся изъ метрополіи, туда поскакалъ Коровинъ, а когда послѣдній пріѣхалъ, то исправникъ опять утратилъ свои добродѣтели. Такимъ образомъ было ясно, что два сильныхъ и почтеннѣйшихъ человѣка города были въ союзѣ противъ него и, въ концѣ концовъ, заручились поддержкою метрополіи. Но пусть ихъ! Николай Григорьевичъ нисколько не волнуется. Вспоминая вчерашнюю дружескую бесѣду въ бесѣдкѣ, повитой хмелемъ, Николай Григорьевичъ повторялъ: „посмотримъ“ и втайнѣ мечталъ о томъ, какъ враги растеряются отъ дружнаго натиска всѣхъ „colleg“ и сложатъ оружіе къ ногамъ ихъ... И эта мечта вызывала на лицѣ Николая Григорьевича какія-то особенныя улыбки, мимолетныя, но чрезвычайно пріятныя, озарявшія все лицо отблескомъ силы и самоувѣренности., Первымъ дѣломъ онъ, конечно, ударитъ тревогу, т. е. повидается съ сотоварищами и сообщитъ имъ, что непріятель наступаетъ, что онъ открылъ уже огонь.

Но солнце было еще низко, и городокъ спалъ безмятежнымъ сномъ безгрѣшнаго ребенка, прикурнувъ на груди матери-природы, въ лощинѣ межъ горъ. Только сѣренькій обыватель, завалившійся чуть не вмѣстѣ съ пѣтухами, больше уже не могъ спать и начиналъ кое-гдѣ почесываться и пошевеливаться и, неумытый и всклокоченный, выходилъ за ворота выпить грудью свѣжаго утренняго воздуха или выставлялъ свою заспанную и опухшую физіономію въ раскрытое окошечко, чтобы посмотрѣть, все ли осталось попрежнему.

— Ну-ка, Маланья, давай чай пить!—сказалъ Николай Григорьевичъ и слегка потыкалъ спавшую въ сѣняхъ на сундукѣ кухарку тросточкой.

— Поспалъ бы маленько! — посовѣтовала Маланья, сладко потягиваясь спросонья.

— Ну, ну! Будетъ нѣжиться! Наставляй самоваръ!

Маланья, растрепанная и сердитая, но все-таки красивая, прошла въ кухню и разбудила Семена.

— Семенъ!

— Ась?

— Баринъ велѣлъ самоваръ наладить!—потягиваясь всѣмъ тѣломъ и закрывая отъ удовольствія глаза, сказала Маланья.

— А ты что? барыня, что ли?—недовольно отвѣтилъ Семенъ, который, кажется, все на свѣтѣ отдалъ бы теперь за право поспать еще съ полчаса, и опять опустилъ приподнятую голову.

— Не встанешь? не уважишь?—спросила Маланья съ какой-то тайной угрозою, и, должно быть, Семену нельзя было не уважить, потому что онъ нехотя всталъ и началъ шумѣть самоваромъ, а Маланья, прикурнувъ на широкой лавкѣ и закрывшись отъ мухъ измятой газетой, стала сладко похрапывать.

— Вишь, дьяволъ! Чортъ мягкій,— проворчалъ Семенъ, бросивъ взглядъ въ сторону Маланьи, и началъ съ сердцемъ щепать смолистое сосновое полѣно, сухо потрескивавшее подъ острымъ ножомъ.

Сидя въ саду за самоваромъ, Николай Григорьевичъ обдумывалъ планъ оборонительной войны. Несомнѣнно было одно только, что необходимо какъ можно скорѣе и разомъ перейти въ наступленіе: коллективный протестъ и уходъ изъ янскаго земства всѣхъ наличныхъ врачей, конечно, обратитъ непріятеля въ бѣгство, послѣ чего послѣдуетъ перемиріе и самый миръ на выгодныхъ для всѣхъ ихъ условіяхъ.

— Тра-ра-рамъ, рамъ, рамъ,— распѣвалъ Николай Григорьевичъ и ухмылялся: очень ужъ живо онъ рисовалъ въ своемъ воображеніи замѣшательство врага, его растерянность при неожиданной встрѣчѣ съ большими силами, затѣмъ — постыдное бѣгство... „Не дадимъ товарища въ обиду“,— мысленно повторялъ онъ призывъ Степанова, соскакивалъ со стула и начиналъ

передъ зеркаломъ и завязывалъ на шеѣ бантомъ галстухъ. Увидѣвъ отраженнаго въ зеркалѣ Николая Григорьевича, Крокинъ улыбнулся и обернулся:

— А-а, Николай Григорьевичъ! Съ праздникомъ! Къ обѣднѣ вотъ собираюся,—тихо, вполголоса, сказалъ онъ, подавая руку раннему гостю.

— Съ праздникомъ-то съ праздникомъ, только вѣдь дѣло-то принимаетъ скверный оборотъ, — громко объявилъ Николай Григорьевичъ и бросилъ свою шляпу на кресло.

— А что? какое дѣло?—опять тихо спросилъ Крокинъ, продолжая возиться со своимъ галстухомъ.

— Да наше дѣло...

— Не выходитъ бантъ—и кончено! Дома всегда жена завязываетъ... Такъ какое дѣло, говорите?

— Свинья-то вѣдь хочетъ меня окончательно слопать, господа.

Крокинъ покраснѣлъ и смутился; по его лицу скользнула улыбка не то растерянности, не то безпокойства и досады. Онъ погрозилъ Николаю Григорьевичу указательнымъ пальцемъ, а потомъ тѣмъ же пальцемъ молча показалъ на ширмы, отдѣлявшія уголъ номера. Но Николай Григорьевичъ былъ такъ поглощенъ своими мыслями, что не понялъ этихъ жестовъ и опять громко и со смѣхомъ сказалъ:

— Около борова соединились всѣ наши именитые люди...

— Тсс!..

— Поздравьте: я уволенъ за небрежное отношеніе къ своимъ обязанностямъ. Не вѣрите? даю вамъ честное слово,—жестикулируя, воскликнулъ Николай Григорьевичъ и сѣлъ.

Тогда Крокинъ сдѣлалъ испуганную гримасу, замахалъ обѣими руками, кашлянулъ и, быстро выйдя за дверь номера, поманилъ къ себѣ гостя.

— Ахъ вы, батюшка мой! Я и такъ, и сякъ, а вы

не догадываетесь, — сказалъ онъ на ухо Николаю Григорьевичу.—За ширмами постель, а на постели спитъ тотъ самый земскій начальникъ, который съѣлъ борова. Я вѣдь говорилъ вамъ вчера... Ахъ, вы!

Крокинъ укоризненно покачалъ головой, потомъ пріотворилъ дверь въ номеръ и послушалъ однимъ ухомъ:

— Ну, кашляетъ... Не спалъ, значитъ... Ай-яй-яй, какое непріятное положеніе! Вы подождите здѣсь: я сейчасъ одѣнусь, принесу вамъ шляпу, и мы обо всемъ поговоримъ на нейтральной почвѣ, на улицѣ,—сказалъ Крокинъ и пошелъ на цыпочкахъ въ номеръ, оставивъ Николая Григорьевича въ коридорѣ.

Когда они вышли на улицу, то Крокинъ взялъ Николая Григорьевича подъ руку и спросилъ:

— Неужели уволили?

— Уволили, а главное—за небрежное отношеніе къ службѣ.

— Гм... Что-нибудь не такъ... Гм!.. Такъ, господа невозможно... Надо намъ поговорить... Вы сходите-ка къ Степанову... Онъ въ „Палермѣ“, знаете?

Нѣкоторое время они шли молча, сосредоточенные, самоуглубленные, а потомъ Крокинъ остановилъ шедшую имъ навстрѣчу бабу съ гусемъ подъ мышкой и спросилъ:

— Продаешь, что ли, бабуня?

— Продамъ, коли купишь...

— Гусакъ?

— Гусыня... Али не видишь?

Крокинъ взялъ у бабы гуся, взвѣсилъ его на рукахъ и, возвративъ бабѣ, сталъ съ ней торговаться:

— Ну—пятьдесятъ пять! Больше не дамъ, хоть лопни. Если согласна, получай деньги, а то мнѣ некогда, матушка, къ обѣднѣ тороплюсь... Ну? сейчасъ уйду и... и тогда ужъ будетъ поздно: за три гривенника не возьму...

А Николай Григорьевичъ стоялъ въ сторонкѣ, и

ему было странно и непріятно, что въ такой рѣшительный моментъ Крокинъ такъ горячо хлопочетъ о гусѣ.

Баба согласилась, и Крокинъ велѣлъ ей нести гуся въ номера. Баба пошла впереди, а Крокинъ съ Николаемъ Григорьевичемъ шли позади, слѣдомъ за бабой.

— Жена ужасно любитъ жаренаго гуся съ гречневой, знаете ли, кашей... И я хочу ей сдѣлать удовольствіе. За 55 копѣекъ. Чего вы еще хотите? У насъ дешевле восьми гривенъ не получите-съ. Мѣста у насъ сухія, негдѣ имъ пастись... Гусь любитъ жировать на прудахъ, въ болотахъ, а у насъ—сушь, пески...

— Такъ я пойду къ Степанову,—сказалъ Николай Григорьевичъ и, вяло пожавъ руку Крокина, тихо пошелъ къ „Палермѣ“. Онъ чувствовалъ себя послѣ этого разговора о гусяхъ такъ, словно получилъ оскорбленіе; на лицѣ его скользили тѣни какой-то грусти, а въ походкѣ проглядывала вялость. Онъ, глядя въ землю, пылилъ ногами, и когда дошелъ до „Палермы“, то долго стоялъ въ раздумьи у крыльца и ковырялъ тросточкой землю.

— Врачъ Степановъ у себя?—спросилъ онъ у швейцара, войдя, наконецъ, въ „Палерму“.

— У себя-то у себя... А только они того... не въ себѣ,—съ улыбкой отвѣтилъ швейцаръ.

— Какъ не въ себѣ?

— Того, значитъ... дрызнули!—сказалъ швейцаръ и далъ щелчокъ себѣ въ шею.

— Гм...

— Здорово урѣзали. Слышите: шумятъ!

Дѣйствительно, гдѣ-то близко слышался нестройный шумъ пьяныхъ голосовъ и звонъ посуды.

— Скверно, — задумчиво произнесъ Николай Григорьевичъ и спросилъ:—А другой врачъ, Куроѣдовъ?

— Тотъ не пьетъ... Тотъ не такой... аккуратный человѣкъ.

— Я спрашиваю: Куроѣдовъ-то дома?

— Дома, дома!

Николай Григорьевичъ еще постоялъ въ швейцарской и все-таки рѣшилъ зайти, потому что нельзя было терять время. Когда онъ растворилъ дверь номера, то его глазамъ представилась довольно печальная картина.

Степановъ, совершенно пьяный, съ посоловѣлыми, оловянными глазами, опухшій и неумытый, сидѣлъ, откинувшись на спинку дивана; противъ него въ креслѣ помѣщался какой-то господинъ, спиной къ входнымъ дверямъ,— и оба они о чемъ-то спорили, кричали и гремѣли посудой и бутылками на столѣ. Куроѣдовъ сидѣлъ въ сторонѣ, у окна, и набивалъ папиросы. Въ номерѣ клубился табачный дымъ, синеватый и оранжевый, пахло спиртомъ и чернымъ хлѣбомъ. Какъ только Степановъ увидалъ гостя, — сейчасъ же вскочилъ и радостно закричалъ:

— Ты? вотъ хорошо! Спасибо!

И, приблизившись нетвердою походкою къ Николаю Григорьевичу, обнялъ его и поцѣловалъ звонко, отъ всей души. Сидѣвшій спиною господинъ не безъ труда повернулся въ креслѣ и посмотрѣлъ, и тогда Николай Григорьевичъ, къ своему удивленію, узналъ въ этомъ господинѣ секретаря полиціи, Ивана Васильевича.

— Спасибо! Теперь пріятно будетъ выпить... А то этотъ идіотъ не пьетъ, непьющій идіотъ,—сказалъ Степановъ, показавъ пальцемъ на Куроѣдова, — а этотъ... Поневолѣ, братъ, со всякой сволочью свяжешься... Это вѣдь секретарь полиціи!..

— Какъ, то-есть—сволочью?—силясь привстать, обиженно спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Очень просто. Ты думаешь, кто же ты есть? Съ тобою только на билліардѣ играть, да туда ѣздить... И... и... то скучно.

— Вотъ какъ?—произнесъ Иванъ Васильевичъ жа-

лобно и, опустивъ голову на залитый водкою столъ, началъ вдругъ горько всхлипывать.

Куроѣдовъ бросилъ папиросы и началъ укорять Степанова и утѣшать Ивана Васильевича. Но послѣдній плакалъ и причиталъ:

— Сколько... живу... никогда-а никто не называлъ меня сволочью, а тутъ...

— А тутъ вотъ назвали!—перебилъ Степановъ.—А чего ревешь? Назвали только настоящимъ именемъ, больше ничего.

— Перестань, перестань! Плюньте, Иванъ Васильичъ!—утѣшалъ Куроѣдовъ.

— „Плюньте!“ Онъ теперь и на это не способенъ,— со смѣхомъ замѣтилъ Степановъ и дрожащими руками сталъ наливать въ рюмки водку.

— Ну, collega, бери рюмку и выпьемъ... А Маланья у тебя, братъ, красавица. Король-баба! Уступи ее мнѣ!.. Эта вотъ сволочь мнѣ все съ султаномъ да съ гаремами надоѣдаетъ.

— Я не сволочь, а секретарь... И... и прошу пр... прекратить... А... то вотъ позову Ивана Ермилыча... и... да!.. Мы составимъ прротоколъ...

Степановъ вдругъ покраснѣлъ, посоловѣлые глаза его широко раскрылись и на мгновеніе просвѣтлѣли. Не говоря ни слова, онъ взялъ Ивана Васильевича за шиворотъ и повлекъ къ выходной двери. Иванъ Васильевичъ упирался и кричалъ: „не можешь, не смѣешь“. Куроѣдовъ отстранялъ Степанова, но тотъ все-таки дотащилъ Ивана Васильевича, вытолкнулъ за дверь и, сердито хлопнувъ ею, заперъ на ключъ.

— Протоколъ... Ахъ ты, крыса приказная!..

— Самъ ты его привелъ и такъ грубо обошелся,— упрекнулъ Куроѣдовъ, присаживаясь снова за папиросы.

— Ей-Богу, я его не звалъ! Онъ привязался... Я съ нимъ только игралъ на билліардѣ и... и... никакого по-ѣда не давалъ... А онъ всю ночь не отставалъ... И все

у него: гаремъ, гаремъ, гаремъ... Чортъ его знаетъ, дуракъ онъ или сумасшедшій!..

Степановъ какъ-то понизилъ сразу тонъ. Быть можетъ, онъ сознался свою жестокость, и ему сдѣлалось совѣстно передъ товарищами.

— А я, братъ, напился... Вчера, какъ ушли отъ тебя, такая тоска напала, что хоть реви. Свѣжаго человѣка увидалъ... да!.. И все это, братъ, прежнее вспомнилось.

— Поминки и устроилъ?—спросилъ довольно индиферентно Куроѣдовъ и, сложивъ въ портсигаръ набитыя папиросы, взялся за шляпу.

— Вы уходите?—тревожно спросилъ Николай Григорьевичъ.

— Да, да... Извините ужъ, господа! Я далъ слово къ двѣнадцати быть... Я вернусь. Надѣюсь застать васъ здѣсь еще, — сказалъ Куроѣдовъ, протянувъ Николаю Григорьевичу руку.

— Надо бы всѣмъ намъ переговорить по серьезному дѣлу.

— Я вернусь, сейчасъ вернусь! Далъ слово,—отвѣтилъ Куроѣдовъ и вышелъ.

И опять Николай Григорьевичъ почувствовалъ себя такъ, словно его оскорбили, и ему не хотѣлось никому говорить о томъ, что его выгнали со службы.

Степановъ началъ ругать жизнь, товарищей, себя, потомъ сказалъ „споемъ“ и запѣлъ: „Выпьемъ мы за того, кто „Что дѣлать“ писалъ“.

— И дѣйствительно, выпьемъ-ка!—сказалъ онъ, оборвавъ пѣніе, — это все, что мы можемъ сдѣлать... Что мы можемъ? Ничего, ровнешенько ничего. Суждены намъ благіе порывы, а свершить ничего не дано... А вотъ выпить можемъ...

И онъ, подхвативъ Николая Григорьевича за талью, потащилъ его къ водкѣ.

Николай Григорьевичъ думалъ теперь объ одномъ:

какъ бы уйти поскорѣе отъ Степанова. Но тотъ отнялъ у него шляпу и заперъ дверь, а ключъ спряталъ къ себѣ въ карманъ. Онъ замѣтно пьянѣлъ все больше, говорилъ, заикаясь, съ икотой, что ему здѣсь скучно, что „все это“ ему опостылѣло и омерзѣло, и что вотъ онъ купитъ себѣ микроскопъ, докончитъ диссертацію и на всѣхъ наплюетъ.

— И чортъ съ ними со всѣми. Пусть, collega, возятъ свиней!.. Да—и, вспомнивъ о вчерашнемъ разговорѣ, Степановъ опять сталъ говорить о единеніи и солидарности, сталъ грозить „тупорылой свиньѣ“ и кричать, что они не дадутъ товарища въ обиду.

— Протестуемъ! Пусть ихъ возятъ свиней, а мы... мы не желаемъ, да! Коридорный! Человѣкъ!—отперевъ дверь, закричалъ Степановъ, держась за косякъ.

— Что прикажете?

— Чер... чер... нила-а-а—есть? П-подай... и... перо.

— Слушаю-съ!

— Мы сейчасъ имъ утремъ носъ... Н-напишемъ... Мы не дадимъ тебя въ обиду... да!

Когда коридорный принесъ пузырекъ съ чернилами и съ воткнутымъ въ него перомъ, Степановъ взялъ листъ бумаги и сѣлъ писать.

„Пусть возятъ свиней, а мы—люди и служить со свиньями не желаемъ“,—написалъ онъ каракулями, но когда хотѣлъ помакнуть перо, чтобы продолжать, то никакъ не могъ уже попасть въ тоненькое горлышко пузырька и бросилъ ручку.

— А мы не желаемъ... не желаемъ... — прошепталъ онъ, опустилъ лохматую голову на руку, и не прошло пяти минутъ, какъ номеръ огласился храпомъ пьянаго, обезсиленнаго человѣка, какимъ-то страннымъ, чрезмѣрно громкимъ храпомъ, отъ котораго Николаю Григорьевичу становилось тяжело, непріятно и какъ будто даже—немного страшно...

Онъ тихо поднялся съ мѣста, взялъ шляпу и осто-

рожно вышелъ изъ номера, а когда очутился на улицѣ, то облегченно вздохнулъ.

Возвратившись домой, Николай Григорьевичъ нашелъ у себя на столѣ пакетъ изъ управы, а когда прочиталъ вложенную въ этотъ пакетъ бумагу, то, кромѣ того, что уже зналъ, узналъ еще, что замѣстителемъ его назначенъ Куроѣдовъ, которому и предлагали сдать больницу и участокъ.

— А чортъ съ вами!—крикнулъ Николай Григорьевичъ и швырнулъ бумагу. Потомъ онъ пошелъ въ послѣдній разъ въ свою больницу и къ своимъ больнымъ.

Здѣсь было свѣтло, чисто и хорошо. Больные были въ новыхъ рубахахъ и въ новыхъ халатахъ, смотрѣли празднично и низко кланялись своему доктору, когда онъ справлялся у нихъ о здоровьѣ, а тѣ, которые лежали, улыбались ему кроткой, слабой улыбкой и что-то шептали сухими губами. Анна Николаевна, по случаю воскресенья, тоже принарядилась: къ ея коричневому платью такъ шелъ блиставшій свѣжестью бѣлый передникъ, и вся она, молодая, свѣженькая, съ умнымъ юнымъ личикомъ и съ косой, была похожа на гимназистку старшаго класса. Она шла слѣдомъ за Николаемъ Григорьевичемъ и говорила съ больными, какъ со своими давнишними знакомыми, называя каждаго изъ нихъ по имени и улыбаясь имъ такой хорошей, искренней улыбкою.

И когда Николай Григорьевичъ обошелъ всѣ палаты, ему сдѣлалось грустно и жалко: жалко и больныхъ, и Анны Николаевны, и новыхъ халатовъ, и блиставшихъ на солнцѣ пузырьковъ, которые мылъ на дворѣ больничный служитель Поликарпъ, и самого этого Поликарпа жалко.

Прощаясь съ Анной Николаевной, онъ задержалъ ея руку въ своей, посмотрѣлъ въ ея чистые глаза и сказалъ:

— Ну, прощайте! Не поминайте лихомъ!

Въ глазахъ дѣвушки блеснулъ тревожный огонекъ, и они вопросительно и недоумѣвающе остановились на лицѣ Николая Григорьевича.

— Уволили меня.. Напишите въ Казань вашему брату, — съ грустной улыбкою сказалъ Николай Григорьевичъ и, чувствуя, что глаза его дѣлаются влажными, сейчасъ же повернулся и пошелъ къ воротамъ...

Наступила ночь, и городокъ потонулъ въ тишинѣ и лунномъ блескѣ, печальномъ и кроткомъ.

Николай Григорьевичъ опять ходилъ по саду и, что-то сосредоточенно обдумывая, напѣвалъ въ минорномъ тонѣ... Но никто не слыхалъ этого пѣнія, потому что всѣ спали крѣпко и сладко, и лишь Волга мутной волной плескала въ берегъ, гдѣ въ лощинѣ межъ горъ ютился облитый луннымъ сіяніемъ городокъ...

КАКЪ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ.

Платонъ Алексѣевичъ Середа лежалъ въ постели неподвижно, и можно было подумать, что онъ умеръ. Носъ у него заострился, сухое старческое лицо было похоже на пергаментъ, а вѣки глазъ, глубоко впавшихъ въ рѣзко очерченныя орбиты, не прикрывались плотно и оставляли двѣ щели. Въ эти щели сквозило стекло глазъ, потускнѣвшее, мутное, напоминавшее о смерти... Въ комнатѣ было почти темно: спущенная на окнѣ штора изъ тоненькихъ деревянныхъ спицъ окрашивала проникшій сюда дневной свѣтъ въ какой-то янтарно-желтый больной цвѣтъ, скучный и тревожный, а мерцающая въ полутемномъ углу красноватымъ огонькомъ лампадка дѣлала комнату похожей на часовню или усыпальницу... Тихо, на цыпочкахъ, входила сюда жена больного, Глафира Ивановна, худая пожилая дама въ черномъ, съ мученическимъ выраженіемъ на лицѣ; сперва она прислушивалась къ дыханію больного, потомъ переводила взоръ на икону, гдѣ дрожалъ красноватой звѣздочкой огонекъ, и, крѣпко прижимая къ груди свои худыя костлявыя руки, шевелила губами.. Иногда въ дверяхъ появлялся, съ тревогою на лицѣ, юноша въ студенческой курткѣ и, молча постоявъ на порогѣ, уходилъ съ опущенною головою... Дѣвочка лѣтъ шести, съ тоненькими, какъ палочки, ножками, приходила посмотрѣть на папу; крадучись, она приближалась къ ногамъ больного и заглядывала, и ей станови-

лось страшно отъ этихъ слегка пріоткрытыхъ глазъ отца, въ которыхъ для нея всегда свѣтилась только горячая любовь, нѣжная ласка и радость, и которые теперь внушали ей только одинъ инстинктивный страхъ... Отъ страха маленькое сердечко Ниночки вздрагивало и замирало,—и она выбѣгала изъ полутемной комнаты съ такимъ ощущеніемъ, словно ее хотѣлъ схватить кто-то сзади, въ залъ, гдѣ было не страшно, гдѣ ярко сіяло солнышко морознаго зимняго утра, и гдѣ желтая канарейка пѣла звонко и весело...

— Не проснулся папа?—грустно спрашивала ее мать

— Нѣтъ.

— Сходи еще, посмотри!

— Я боюсь. Онъ страшный,—отвѣчала дѣвочка, переставая играть резиновымъ мячомъ, и личико ея дѣлалось вдругъ серьезнымъ, похожимъ на лицо матери.

— Что ты, дурочка!...

— Глаза у него, мама, смотрятъ, а самъ онъ не шевелится...

Глафира Ивановна отвертывалась къ стѣнѣ, чтобы Ниночка не замѣтила, какъ брызнули вдругъ у ней слезы, а дѣвочка сейчасъ же забывала про папу и опять играла мячикомъ и разговаривала съ нимъ.

Въ первомъ часу дня раздался громкій и рѣзкій звонокъ. Этотъ звонъ казался дерзкимъ, безсердечнымъ и неумѣстнымъ, потому что всѣ въ домѣ старались ходить на цыпочкахъ, а говорить — шопотомъ или въ полголоса. Глафира Ивановна вся встрепенулась и сдѣлала движеніе прикрыть руками свои уши, словно отъ этого колокольчикъ могъ стихнуть, понять свою неделикатность; а потомъ, вздохнувъ, она пошла въ переднюю, чтобы поскорѣе пустить доктора. Но студентъ обогналъ ее.

— Докторъ! — прошепталъ онъ, промелькнувъ по залѣ, какъ метеоръ.

Студентъ больше всего надѣялся на Семена Григорьича. Докторъ казался ему теперь единственнымъ человѣкомъ въ мірѣ, имѣющимъ право ходить не на ципочкахъ, говорить громко и даже смѣяться и шутить. Въ передней послышалась возня, стукъ калошъ, кряхтѣніе, а потомъ прозвучалъ знакомый спокойный и даже немножко безпечный голосъ:

— Ну-съ, какъ наша жертва гласности?

— Спитъ...

— Отлично!.. Самое лучшее дѣло...

— Здравствуйте, Семенъ Григорьичъ! — съ мольбой въ голосѣ произнесла Глафира Ивановна, встрѣчая въ дверяхъ доктора.

— Ахъ!.. Морозецъ сегодня, Глафира Ивановна, изрядный... Похрустываетъ!.. Люблю!.. 18 по Реомюру. Мое почтеніе! Какъ Платонъ Алексѣичъ?

— Спитъ... Давеча скушалъ сухарь съ чаемъ... А рука правая не дѣйствуетъ все... Нѣтъ! И нога тоже... И говоритъ, что глазъ одинъ плохо видитъ...

— Ничего, ничего! Не надо отчаиваться... Похрустываетъ!.. 18 по Реомюру! а?

Докторъ посмотрѣлъ на канарейку, погладилъ по русой головкѣ Ниночку и сказалъ:

— Ну, а ты, стрекоза, какъ прыгаешь?

— Я не стрекоза.

— Ну, блоха!

— А ты клопъ!.. — укоризненно склонивъ головку, сказала дѣвочка.

— Ха—ха—ха!..

Докторъ расхохотался, а дѣвочка, спрятавъ мячикъ за спину, встала у стѣны и исподлобья стала смотрѣть на „дядю, который ругается“. Докторъ былъ среднихъ лѣтъ и средней полноты, съ добродушнымъ лицомъ и смѣющимися глазами, съ уравновѣшенной душой и съ мягкими, словно обточенными, движеніями. Онъ былъ всегда въ хорошемъ расположеніи духа,

всегда „только-что подзакусилъ“, всегда „чуточку соснулъ“ и казался свѣжимъ и жизнерадостнымъ человѣкомъ. И это хорошо дѣйствовало какъ на больныхъ, такъ и на окружающихъ ихъ людей, потому что внушало имъ надежды, иногда, быть можетъ, и напрасныя, но всегда необходимыя застигнутому горемъ человѣку.

— Пойдемте, Семенъ Григорьичъ, въ столовую позавтракать!.. А онъ тѣмъ временемъ, навѣрно, проснется...

— Только-что, голубушка, подзакусилъ! Адмиральскій часъ: выпилъ рюмку и съѣлъ два пирожка, одинъ съ мясомъ, а другой съ капустой...

— Ну, стаканчикъ чайку? — плаксиво сказала Глафира Ивановна.

— Чайку? Чайку — пожалуй!.. Хорошо съ морозцу... Пользительно!

Пошли всѣ въ столовую. Здѣсь бурлилъ на столѣ самоваръ, такой свѣтлый, пузатенькій, словно подбодрившійся, и пахло сдобными булками; здѣсь было свѣтло, уютно, весело, и казалось, что столовая не хочетъ знать о томъ, что Платонъ Алексѣичъ нездоровъ и что онъ не можетъ двигаться. Самоваръ былъ попрежнему — франтъ, скатерть — бѣлоснѣжная, булки — румяныя и пахучія, заставлявшія курчавую болонку облизываться и служить передъ докторомъ, какъ она нѣсколько дней тому назадъ служила передъ Платономъ Алексѣичемъ. Все было попрежнему, словно ничего не случилось. Даже попрежнему на столѣ лежалъ новый, только-что доставленный разносчикомъ и еще неразвернутый номеръ мѣстнаго органа гласности „Пошехонскаго Курьера“, отъ котораго пахло типографской краской, сырой бумагой и еще чѣмъ-то... Это горничная, позабывъ распоряженіе Глафиры Ивановны, по привычкѣ положила опять на столъ газету, которую барыня не могла теперь видѣть.

— Не кладите, ради Бога, на столъ эту газету! Я просила васъ!..—прошептала Глафира Ивановна и спря-

талась за самоваръ, потому что изъ глазъ ея брызнули слезы. Студентъ пожалъ плечами и, схвативъ газету, куда-то унесъ ее, а когда онъ вернулся и сѣлъ на прежнее мѣсто,—Глафира Ивановна плакала.

— Она убила вашего отца,—слышался изъ-за самовара ея шопотъ,—и столъ вздрагивалъ, а посуда тревожно звенѣла.

— Охъ, Глафира Ивановна! Плакать рано-съ, не о чемъ! — сказалъ докторъ, помѣшивая въ стаканѣ ложечкой.—Дѣло поправимое... Рука будетъ брать, нога—ходить, глазъ—смотрѣть... Не надо теряться. Надо больше покою и вамъ, и Платону Алексѣичу... Больно ужъ вы съ нимъ чувствительны. А позвольте спросить: какъ это нашъ подполковникъ Шамшуринъ живетъ совсѣмъ безъ ногъ? а? Не плачетъ. Живетъ. И еще какой развеселый! Получаетъ пенсію и хвалитъ Господа...

— Намъ еще три года до пенсіи,—плаксиво отвѣтила изъ-за самовара Глафира Ивановна, отирая платкомъ слезы.

— А у насъ ихъ двое,—добавила она, сморкаясь.

— И прекрасно: что двое: студентъ кончитъ и будетъ служить (только не по цензурной части!), а стрекоза подрастетъ,—замужъ выйдетъ. Будетъ отличный зять...

— Хотя бы эти три года-то дотянуть какъ-нибудь!— облегченно вздохнувши, сказала Глафира Ивановна,— дослужилъ бы и вышелъ!.. Да нѣтъ, гдѣ ужъ? Платонъ Алексѣичъ совсѣмъ изнемогъ... Проклятая газета! Всю жизнь она намъ исковеркала. Какъ попалъ на эту должность, такъ и пошло все подъ гору да подъ гору... Каждый день ссоры, крикъ, жалобы, непріятности... Сталъ раздражительный, сонъ пропалъ, аппетиту не стало... Хандритъ и всего боится, точно злодѣй какой, котораго ищутъ, чтобы казнить... Право! Шальной все ходилъ послѣдніе дни. Точно не въ себѣ человѣкъ... А потомъ...

Глафира Ивановна вынула носовой платокъ, приложила его къ глазамъ и шопотомъ докончила:

— А потомъ... это и случилось...

И я хочу вамъ разсказать, какъ все это случилось...

Платонъ Алексѣичъ прожилъ всю жизнь тихо и скромно, какъ живутъ всѣ чиновники среднихъ окладовъ. Безъ крайностей нужды, но и безъ всякихъ достатковъ. Это была сѣренькая жизнь, съ сѣренькими радостями и горестями, безъ сильныхъ ощущеній и безъ яркихъ впечатлѣній. Онъ былъ счастливъ счастьемъ малознающаго и недалекаго человѣка; сердце у него было доброе, но оно никогда не билось особенно сильно и было цѣликомъ отдано семьѣ. Горизонтъ духовныхъ очей Платона Алексѣича не раскрывался дальше губернскаго правленія, гдѣ онъ служилъ сперва младшимъ, а потомъ—старшимъ совѣтникомъ, да клуба съ зелеными столами и винтомъ „по маленькой“. Все шло ровно, гладко, и казалось, что жизнь катится по рельсамъ. Давались своевременно чины за выслугу лѣтъ, порадовалъ однажды Станиславъ 3-й степени, увеличивалась семья,— увеличивался и окладъ. Сынъ учился въ гимназіи не отмѣнно, но и не скверно, переваливаясь изъ класса въ классъ, какъ боченокъ, подталкиваемый ногою... Росла Ниночка, пѣла канарейка, къ Пасхѣ давалась награда. Шли года, мелькали проворно осени и зимы, весны и лѣта. Въ свое время пришли болѣзни—геморой, въ свое время заблестѣло темя, и морщинка за морщинкой ложились подъ глазами... Платонъ Алексѣичъ дожилъ такъ до 58 лѣтъ. Для такихъ лѣтъ и своего чиновничьяго положенія, Платонъ Алексѣичъ былъ достаточно бодръ; другіе, уже будучи младшими совѣтниками, обыкновенно успѣваютъ высохнуть, какъ препараты, и превратиться въ архео-

логическую рѣдкость. Онъ былъ, — какъ говорила Глафира Ивановна,—„еще мужчина въ соку“, и смотрѣлъ впередъ безъ мысли о томъ, что путь его жизни недалекъ, и что скоро онъ придетъ на послѣдній этапъ, гдѣ будетъ закупоренъ въ тѣсный деревянный ящикъ для передачи по назначенію...

Пріѣхалъ въ городъ новый губернаторъ. Не въ примѣръ прочимъ губернаторамъ, онъ нашелъ, что газета, о которой давно уже мечтали просвѣщенные горожане, будетъ полезна для Пошехонскаго края, — и мечты осуществились. Городъ получилъ первый органъ гласности, „Пошехонскій Курьеръ“...

Вице-губернаторъ все ѣздилъ: зимой въ Крымъ, а лѣтомъ на Кавказъ, а когда онъ никуда не ѣздилъ, то непремѣнно хворалъ. Старшій чиновникъ губернскаго правленія долженъ былъ сдѣлаться цензоромъ, и Платонъ Алексѣичъ сдѣлался. Когда пришло разрѣшеніе открыть газету, то всѣ ликовали и радовались и надѣялись, что теперь пойдетъ какая-то новая жизнь, съ чѣмъ и поздравляли другъ друга. На главной улицѣ появилась золоченая вывѣска „Редакція Пошехонскаго Курьера“. Началось, по обыкновенію, съ молебна, на который собралось очень много друзей гласности, и всѣ очень усердно молились и подпѣвали „многая лѣта“ сперва губернатору, а потомъ редактору, издателю и всѣмъ сотрудникамъ... Про Платона Алексѣича забыли, хотя онъ былъ тутъ же, и это ему было обидно... Губернаторъ сказалъ рѣчь. Рѣчь была такая хорошая и эффектная, что всѣ сильно аплодировали и чувствовали искреннюю признательность. Аплодировалъ и Платонъ Алексѣичъ, хоть онъ дѣлалъ это умѣренно, за спиной отца діакона, и только двумя пальцами, потому что Богъ знаетъ, какъ еще на это взглянетъ губернаторъ... Подобныхъ случаевъ въ жизни Платона Алексѣича не было. Губернаторъ говорилъ, что гласность—великое дѣло, и что провинціальная печать имѣ-

етъ громадныя заслуги передъ обществомъ. Вообще, онъ такъ отмѣнно отозвался объ этомъ дѣлѣ, что Платонъ Алексѣичъ проникся полнымъ уваженіемъ къ „писателямъ“, а особливо къ Михаилу Ивановичу, редактору „Пошехонскаго Курьера“. Когда губернаторъ высказалъ надежду на то, что и „Курьеръ“ встанетъ въ ряды именно тѣхъ органовъ, которые имѣютъ заслуги, Платонъ Алексѣичъ замѣтилъ, что губернаторъ остановилъ на немъ глаза. Онъ смутился и осмотрѣлъ свой костюмъ. Все было въ порядкѣ. Оказалось, что это—недаромъ: губернаторъ вдругъ обратился въ сторону Платона Алексѣича и сказалъ:

— Въ заключеніе маленькій post scriptum... У насъ принято думать, что цензоръ — врагъ гласности. Это, господа, только анахронизмъ, пережитокъ... Разумный цензоръ — такой же другъ гласности, какъ и всѣ истинно просвѣщенные люди... Надѣюсь, Платонъ Алексѣичъ, что вы будете именно такимъ цензоромъ, и что васъ не будутъ называть гонителемъ.

— Нѣтъ! Никогда, ваше превосходительство! — сказалъ растерявшійся и вспотѣвшій вдругъ Платонъ Алексѣичъ дрожащимъ голосомъ, и у него вдругъ появилась на рѣсницѣ слезинка. Онъ такъ захотѣлъ быть настоящимъ другомъ гласности, что душа его переполнилась какимъ-то непонятнымъ порывомъ къ чему-то такому, что было неясно, но похвально—и слеза была результатомъ этой эмоціи...

— Будьте, господа, друзьями, идите рука объ руку къ свѣту истины, сторонясь тѣхъ крайностей, которыя всюду и всегда только вредятъ дѣлу, а такому дѣлу какъ печатное слово — въ особенности,—закончилъ губернаторъ, затѣмъ сдѣлалъ общій поклонъ, вышелъ, сѣлъ на свою пару дышломъ и уѣхалъ, оставивъ сильное впечатлѣніе своей просвѣщенностью и гуманностью во всѣхъ друзьяхъ гласности.

Потомъ стали обѣдать, какъ это бываетъ всегда,

когда у насъ желаютъ что-нибудь отпраздновать, вспомянуть или ознаменовать. Обѣдали оживленно, шумно и весело. Рѣчи говорились одна другой гуманнѣе. Блюдъ было очень много, и казалось, что обѣдъ никогда не кончится. Платонъ Алексѣичъ былъ предметомъ особаго вниманія со стороны представителей нарождающейся гласности и скоро забылъ про то, что про него забыли, когда пѣли „многая лѣта“. По одну сторону его сидѣлъ редакторъ, Михаилъ Ивановичъ, а по другую — издатель, просвѣщенный коммерсантъ, имѣющій въ городѣ образцовую бакалею. И оба они не давали Платону Алексѣичу ни отдыха, ни срока, и все угощали разными настойками, винами и ликерами, которые называли въ шутку по имени разныхъ отдѣловъ своей газеты: простая водка называлась „передовая“, коньякъ — „телеграммы“, вина — „иностранными извѣстіями“ и т. д.

— Ну рюмочку послѣднихъ извѣстій, Платонъ Алексѣичъ!

— Не могу, почтеннѣйшій Михаилъ Ивановичъ! Голова кружится...

— Такъ я вамъ—хроники? а? слабенькое!

Въ головѣ Платона Алексѣича отдавался нестройный шумъ многочисленныхъ голосовъ, а передъ глазами мелькали лица „писателей“, какъ Платонъ Алексѣичъ называлъ вообще всѣхъ сотрудниковъ газеты, включая сюда репортеровъ и корректора. Всѣ они были ему представлены, но онъ путалъ ихъ фамиліи и спеціальности.

— Вы чѣмъ изволите завѣдывать? — переспросилъ онъ.—Если не ошибаюсь, иностранными дѣлами?

— Нѣтъ, это хроникеръ, г. Косолаповъ!—подсказывалъ редакторъ.—А это вотъ, на углу сидитъ, Николай Петровичъ Потрясовскій, нашъ передовикъ...

— А который же завѣдываетъ иностранными дѣлами?—интересовался Платонъ Алексѣичъ.

— Вонъ на креслѣ! Носомъ клюетъ!

— Русскій подданный?—шопотомъ спрашивалъ Платонъ Алексѣичъ, наклоняясь къ уху изцателя.

— Русскій! Чистокровный!—радостно и со смѣхомъ восклицалъ издатель и наливалъ „разныхъ разностей“, какъ онъ называлъ ликеры.

Сотрудники тоже были крайне любезны. Всѣ уже изрядно подпили. Завѣдывающій иностраннымъ отдѣломъ подсѣлъ къ Платону Алексѣичу, хлопалъ его по колѣнкѣ и говорилъ:

— Заграничная жизнь, батенька, — великая штука!

— А вы изволили быть за границей?

— Не въ этомъ дѣло! Не въ этомъ! А вся суть въ томъ, что это — школа! Это—сама исторія! — потрясая указательнымъ пальцемъ въ воздухѣ, выкрикивалъ собесѣдникъ и мутными глазами смотрѣлъ куда-то очень далеко, какъ бы въ глубь самой исторіи...

— Еще бы! Еще бы! — произносилъ Платонъ Алексѣичъ и покачивалъ головой, и ему было хорошо и пріятно, и онъ чувствовалъ себя такъ, словно бы и онъ сдѣлался губернаторомъ и глубоко уважаетъ теперь гласность и отлично понимаетъ, какое важное и великое дѣло совершается при его участіи и содѣйствіи...

Провозглашались тосты, рѣчи становились все шумливѣе и стали терять сперва архитектурность своего построенія, а потомъ и логичность... Все громче звенѣла посуда, хлопали бутылочныя пробки, и табачный дымъ носился клубами надъ пирующими... Завѣдывающій иностранными дѣлами провозгласилъ тостъ за Платона Алексѣича, и всѣ съ нимъ чокались и кричали ура. Только передовикъ, Потрясовскій, сидѣлъ въ углу, мрачный, и не всталъ, чтобы стукнуться бокаломъ съ Платономъ Алексѣичемъ; онъ сердито посмотрѣлъ на редактора и пожевалъ губами, а когда стихли, приподнялся, погладилъ свои волнистые волосы и началъ декламировать стихотвореніе про мысль...

Она, рожденная свободой,
Въ оковахъ не умр-р-ретъ...

— Дда, не ум...умрретъ, господа!—повторилъ онъ и закричалъ „ура“.

И всѣ поддержали Потрясовскаго и стали опять чокаться другъ съ другомъ и съ Платономъ Алексѣичемъ, а Потрясовскій присталъ къ нему, чтобы и онъ сказалъ тостъ:

— Ты все молчишь, другъ Горацio. Ты все только чокаешься,—угрюмо сказалъ онъ.—И ты скажи! Скажи свое profession de foi!

— Какъ-съ?

— Свою программу! Какъ будешь съ нами?.. Я — прямой человѣкъ, не люблю, кто все молчитъ... да!

— Валяйте, Платонъ Алексѣичъ!

— Тише, господа!

Платонъ Алексѣичъ всталъ съ бокаломъ. Рука у него вздрагивала и выплескивала на скатерть „иностранныя извѣстія“. Онъ былъ смущенъ, потому что никогда не говорилъ въ своей жизни рѣчей и не зналъ, что онъ теперь скажетъ...

— Тише! — прогремѣлъ Потрясовскій, полагая, что Платонъ Алексѣичъ молчитъ оттого, что нѣтъ абсолютной тишины.

— Господа!..

Платонъ Алексѣичъ опустилъ на грудь голову и повелъ въ воздухѣ свободной лѣвой рукою.

— Тише!

— Господа!

Платонъ Алексѣичъ опять провелъ рукой.

— Я... что же я скажу?.. Я всегда... буду другомъ Михаила Иваныча и... гласности. И—и... Господа!.. Давайте еще выпьемъ за Михаила Иваныча и... гласность!

— Это все онъ бобы разводитъ!—гудѣлъ Потрясовскій.—Ты намъ скажи: правъ поэтъ, слово не умретъ? Ну скажи! Прямо, откровенно!

— Не умретъ,—согласился Платонъ Алексѣичъ и сѣлъ, потому что его давило къ землѣ, и ноги казались свинцовыми.

А когда сказалъ „не умретъ“, то его схватили и при крикахъ „ура“ стали качать. И онъ чувствовалъ себя хорошо, словно у него за спиной выросли вдругъ крылья, и онъ летаетъ по воздуху и сладко дремлетъ подъ дуновеніемъ вѣтерка, такъ пріятно ласкающаго разгоряченное тѣло...

— Спитъ, господа! — сказалъ басомъ Потрясовскій, когда Платона Алексѣича перестали качать и хотѣли поставить на ноги...

— Кладите его въ корректорской на диванѣ!—распорядился издатель.

„Не умретъ... не умретъ, господа“, — шепталъ, не открывая глазъ, Платонъ Алексѣичъ, когда его клали на диванъ, а когда положили, — то глубоко вздохнулъ и отбросилъ одну руку прочь.

На первыхъ порахъ все шло благополучно. Платонъ Алексѣичъ получилъ триста рублей „добавочныхъ“ и былъ въ полномъ восторгѣ отъ гласности...

— Какъ разъ нашему студенту, по 25-ти въ мѣсяцъ!—говорилъ онъ и радовался, потому что теперь „Петька“ можетъ учиться въ Москвѣ спокойно, — задержки въ высылкѣ денегъ не будетъ... Редакторъ съ издателемъ оказались прекрасные люди. Они сдѣлали визитъ Платону Алексѣичу, а Платонъ Алексѣичъ — имъ. Мать редактора, Михаила Иваныча, познакомилась съ Глафирой Ивановной, и онѣ также остались довольны другъ другомъ, потому что обѣ были скромныя пожилыя дамы, обѣ ходили въ черныхъ платьяхъ и въ одинаковыхъ наколкахъ на головѣ... У редактора имѣлась дѣвочка, дочка покойнаго его брата, Любочка; она была однихъ лѣтъ съ Ниночкой, и потому получилась еще одна связь между цензурой и гласностью... Самъ Михаилъ Иванычъ былъ человѣкъ очень мягкій и де-

ликатный и внушалъ Платону Алексѣичу полнѣйшее довѣріе, которое окончательно окрѣпло послѣ того, какъ редакторъ самъ предложилъ однажды:

— А что, Платонъ Алексѣичъ, не выкинуть ли намъ эту чертовщину?

— А что?—тревожно спросилъ Платонъ Алексѣичъ и сейчасъ же обмакнулъ перо въ красныя чернила.

— Да, чортъ знаетъ... Чтобы непріятности не вышло... Помнится, былъ циркулярикъ...

— А—а! Ну тогда — конечно! Весьма благодаренъ, дорогой мой, весьма! Я вѣдь совсѣмъ неопытенъ... Вы ужъ мнѣ помогайте, батюшка! — попросилъ Платонъ Алексѣичъ, торопливо перекрещивая сомнительныя строки. „Не разрѣшаю“, — написалъ онъ на поляхъ и два раза подчеркнулъ написанное.

— Сомнительнаго ничего нѣтъ?—спрашивалъ онъ потомъ Михаила Иваныча, когда тотъ самолично заѣзжалъ къ Платону Алексѣичу, чтобы процензировать что-нибудь спѣшное.

— Нѣтъ.

— Чего-нибудь этакого... неудобосказуемаго? — повторялъ Платонъ Алексѣичъ, испытующе глядя черезъ сползшія съ переносья очки въ лицо Михаила Иваныча...

— Нѣтъ, Платонъ Алексѣичъ! — твердо отвѣчалъ Михаилъ Иванычъ.

Тогда Платонъ Алексѣичъ смѣло опускалъ руку и писалъ: „печатать разрѣшаю“

— Я вѣдь, батюшка, не могу все до слова перечитать... У меня и такъ много дѣла по службѣ... т. е.— какъ слѣдуетъ, прочитать, со вниманіемъ. Некогда. Да, признаться, и старъ сталъ: много думать начнешь,— сейчасъ мигрень... Все, что училъ, — позабылось, вылетѣло изъ головы... Другой разъ титулы и тѣ забываю... Разъ князю взялъ да и хватилъ „его превосходительству!“ Это — князю-то? Каково! Точно вотъ

затменіе какое другой разъ находитъ... И глаза стали что-то дурить... Я вѣдь вотъ какъ долженъ отставить газету, чтобы читать! Рука устаетъ держать... Собираюсь все сдѣлать себѣ этакую подставку, чтобы удобнѣе было... какъ, знаете, для игры по нотамъ на скрипкѣ...

— Пюпитръ?

— Вотъ—вотъ!

Но такое миролюбивое, дружески-теплое отношеніе продолжалось не болѣе двухъ мѣсяцевъ. Первое недоразумѣніе вышло изъ-за иностранныхъ дѣлъ.

— Здравствуйте, Платонъ Алексѣичъ! Вы звали меня въ телефонъ?

— Звалъ, звалъ, батюшка! — озабоченно сказалъ Платонъ Алексѣичъ.

— Къ вашимъ услугамъ... Что прикажете?

— Приказывать я, Михаилъ Иванычъ, не могу, а просить хочу васъ... Я все забываю, кто у насъ иностранными дѣлами завѣдуетъ?

— Клюкинъ.

— Русскій подданный?

— А что?

— Да такъ... Есть, значитъ, основаніе... Не могу, Михаилъ Иванычъ, сказать... Я, знаете ли, такой человѣкъ: дружба—дружбой, а служба—службой...

— Да что такое?.. Вы хоть дайте самую нить-то вашихъ думъ!

— Не нравится мнѣ, знаете ли, что онъ постоянно про эту революцію упоминаетъ въ своихъ сочиненіяхъ. Такъ вотъ и норовитъ, чтобы ее гдѣ-нибудь вставить!..

— Это вы напрасно,—съ улыбкой и съ удивленіемъ возразилъ Михаилъ Иванычъ.

Платонъ Алексѣичъ махнулъ рукой и сказалъ:

— Совсѣмъ, батюшка, не напрасно... Это, собственно, между нами говоря, я не самъ замѣтилъ, а такіе люди, которые...

— Гм... Да хоть бы и упоминалъ, — что изъ этого? Да возьмите любой номеръ газеты, журнала,—вы вездѣ встрѣтите теперь этотъ историческій фактъ. Рѣшительно ничего предосудительнаго!

— Такъ-то оно такъ, а все-таки мы съ вами лучше не будемъ о ней говорить... И мнѣ, и вамъ... Богъ съ ней совсѣмъ! Вотъ здѣсь опять есть эта революція,— сказалъ Платонъ Алексѣичъ, швыряясь въ оттискахъ.— Экій неосторожный человѣкъ этотъ... Клюкинъ!

Долго спорили о революціи, но ни къ чему прійти не могли.

— Ну, пусть все это вѣрно!.. А все-таки я прошу васъ, почтеннѣйшій Михаилъ Ивановичъ, сдѣлайте мнѣ, старику, такое одолженіе!.. Ну, слово, что ли, другое придумайте для этой штуки!

Рѣшили называть впредь революцію, если ужъ явится крайность упомянуть о ней,—„катастрофой“, и оба остались немножко недовольны другъ другомъ. Это было началомъ охлажденія. Потомъ пошли споры и недоразумѣнія почти ежедневно, вплоть до настоящей катастрофы.

— Почему вы, Платонъ Алексѣичъ, вычеркнули изъ заграничныхъ извѣстій всю Францію?

— Потому что довольно ужъ мнѣ и такъ!..—уклончиво и хмуро отвѣчаетъ Платонъ Алексѣичъ.

— Да вы укажите, что именно заставило васъ перечеркнуть весь столбецъ?

— Все-съ.

— А именно?

— Изъ-за вашей Франціи... вчера... Однимъ словомъ,—нахожу неудобнымъ!

— Такъ нельзя-съ, Платонъ Алексѣичъ!

— А вотъ, значитъ, можно! — сердился Платонъ Алексѣичъ и добавлялъ, глядя въ сторону:

— Чортъ съ ними, съ вашими Франціями!.. Изъ-за нихъ ничего, кромѣ непріятностей, выйти не можетъ.

— Не понимаю-съ.

— Вотъ и я не понимаю-съ! — упрямо повторялъ Платонъ Алексѣичъ.

Съ этихъ поръ Платонъ Алексѣичъ началъ вычеркивать Францію безъ всякихъ разговоровъ.

— Я буду жаловаться... Такъ нельзя, — оффиціальнымъ тономъ говорилъ Михаилъ Иванычъ.

— Михаилъ Иванычъ! Вы что же думаете, что я вотъ такъ, ни съ того, ни съ сего, взялъ да и началъ чертить? а?

— Это ужъ, Платонъ Алексѣичъ, опять-таки ваше дѣло-съ...

— Что же вы думаете, что я имѣю что-нибудь противъ какихъ-нибудь государствъ?

Глафира Ивановна подходила къ кабинету и, прислушиваясь, мотала головой и думала:

— „Что они вдругъ все ссориться стали?... Въ толкъ не возьму".

— Михаилъ Иванычъ! Это вамъ не стыдно моего старика обижать? а? — укоризненно говорила она, растворяя дверь въ кабинетъ мужа.

— Оставь, Глашенька! Тутъ, ей-Богу, съ ума съ ними спятишь,—сердито восклицалъ Платонъ Алексѣичъ.

— Ай-ай, Михаилъ Иванычъ! Вамъ бы его пожалѣть было надо: ему и такъ много непріятностей изъ-за газеты, а вы еще его же обижаете.

— Помилуйте! Платонъ Алексѣичъ насъ обижаетъ, а не мы его!

— Этому ужъ я не повѣрю,—сказала Глафира Ивановна.—Онъ у меня мухи не обидитъ...

Въ губернскомъ правленіи и на дому — у Платона Алексѣича были телефоны, и гдѣ бы онъ ни былъ: дома, или на службѣ, то и дѣло трещалъ звонокъ, и спрашивали: „Платонъ Алексѣичъ?"

— Что же вы, батенька, это дѣлаете?

— Кто говоритъ?

— Я! Начальникъ дороги.

— Я слушаю.

— Какъ же вы, батюшка, пропускаете...

Платонъ Алексѣичъ держалъ около уха резонаторъ телефона, и лицо его дѣлалось воплощеннымъ недоумѣніемъ.

— Я буду жаловаться...—кончалъ телефонъ.

Платонъ Алексѣичъ сердито тыкалъ резонаторъ на мѣсто и отходилъ. Но не проходило и пяти минутъ, какъ раздавался новый звонокъ.

— Кто у телефона?

— Губернаторъ!

Лицо Платона Алексѣича застывало отъ ужаса. Онъ какъ-то почтительно пригибался къ аппарату и, виновато улыбаясь, повторялъ то и дѣло „слушаюсь".

— Я не зналъ, ваше превосходительство! Виноватъ, ваше превосходительство! Слушаюсь!..

Лицо Платона Алексѣича становилось все беззащитнѣе, и капли пота появлялись у него на носу.

— Уфъ!—пыхтѣлъ онъ, отходя отъ телефона.—Добавочныя. Гм! Отъ себя далъ бы триста!..

Однажды въ служебный кабинетъ Платона Алексѣевича заявился впопыхахъ Михаилъ Ивановичъ и, захлебываясь, началъ негодовать.

— Это, наконецъ, невозможно! Я васъ не могу понять!..—взвизгивалъ редакторъ. — Почему вы перечеркнули статью о канализаціи?

Оказалось, что зачеркнута статья не безъ основанія. Недавно Платонъ Алексѣичъ пропустилъ одну статью о несовершенствахъ городского хозяйства. Въ этой статьѣ было что-то переврано, и на нее обидѣлся голова. Голова говорилъ что-то по этому поводу губернатору, а губернаторъ сдѣлалъ Платону Алексѣичу выговоръ.

— У меня, чтобы не было никакихъ оскорбленій личностей! Что это за намеки? Какъ это вы читаете и ничего не понимаете? Смотрите въ книгу...

Съ тѣхъ поръ Платонъ Алексѣичъ сталъ наблюдать, чтобы не было „личностей“. Но трудно было догадаться, гдѣ есть эти „личности“, а гдѣ — одна гласность.

— Про голову ничего не пропущу! Обижается... и... однѣ непріятности... Я ужъ говорилъ вамъ...

— Да тутъ нѣтъ ничего обиднаго для головы. Тутъ про канализацію!

— А это что-съ!

И Платонъ Алексѣичъ прочиталъ то мѣсто, гдѣ говорилось, что въ городѣ грязь, что скопленіе всякихъ нечистотъ заражаетъ почву, что слишкомъ большая смертность и что пора, наконецъ, вытащить изъ комиссіи вопросъ о канализаціи...

— Все это—вѣрно!—произнесъ Михаилъ Ивановичъ.

— А я скажу, что даже и невѣрно!—возразилъ Платонъ Алексѣичъ, которому отъ страха казалось, что, дѣйствительно, все это—выдумки, придирка, и что у нихъ нѣтъ никакихъ гнѣздъ заразы, а даже чище, чѣмъ въ другихъ городахъ.

— Я буду жаловаться! Это ужъ слишкомъ!

— Сдѣлайте такое одолженіе!

Михаилъ Иванычъ сухо раскланялся и, захвативъ корректурные оттиски, уѣхалъ. Спустя часа полтора времени, онъ вернулся и опять запыхавшійся и негодующій.

— Я былъ сейчасъ у головы, и онъ читалъ... Не нашелъ ничего для себя обиднаго... Вотъ подпись есть его рукою... „Ничего не имѣю противъ“. Извольте взглянуть!.. „Ничего... не имѣю...“

— А я имѣю!—упрямо возразилъ Платонъ Алексѣичъ.

Тогда Михаилъ Ивановичъ схватилъ опять оттиски и исчезъ. А спустя минутъ двадцать, затрещалъ телефонъ.

— Кто у телефона?

— Губернаторъ... Почему вы не пропускаете о канализаціи?

Платонъ Алексѣичъ вспыхнулъ, глаза у него стали бѣгать, какъ бы чего-то отыскивая, потомъ онъ поблѣднѣлъ и повелъ рукой въ воздухѣ, какъ это онъ сдѣлалъ на торжественномъ обѣдѣ въ честь гласности, и отвѣтилъ упавшимъ голосомъ:

— Слишкомъ, ваше превосходительство, мрачно...

— Что такое? не слышу! По-че-му не пропустили о ка-на-ли-за-ціи?

— Краски, ваше превосходительство, очень сгущенныя, мрачныя...

— Что такое? Громче!..

Платонъ Алексѣичъ еще разъ повторилъ про краски и потомъ слушалъ. Рука, которая держала около уха резонаторъ, тряслась, опять поскакали на носу капли пота, и во всемъ лицѣ былъ ужасъ и трепетъ. И, должно быть, Платонъ Алексѣичъ слышалъ въ резонаторѣ очень непріятныя для себя слова, потому что, когда все кончилось, то онъ едва добрелъ до кресла и опустился въ изнеможеніи, точно поднялъ сейчасъ только непосильную тяжесть и надорвался... Онъ закрылъ глаза и долго сидѣлъ неподвижно; только рука, которая держала резонаторъ, продолжала вздрагивать, и мускулъ около праваго глаза все подергивался судорогой...

Потомъ онъ пилъ воду, но ощущеніе надорванности и какой-то тревоги во всемъ организмѣ не исчезало, и сердце работало съ перебоями... Должно быть, видъ у Платона Алексѣича былъ очень скверный, потому что, когда къ нему въ кабинетъ вошелъ младшій совѣтникъ, то онъ сейчасъ же подумалъ о томъ, что Платонъ Алексѣичъ долго не проживетъ, и что скоро откроется, наконецъ, вакансія... Платонъ Алексѣичъ не могъ оставаться въ правленіи и уѣхалъ домой на извозчикѣ. Въ этотъ день онъ не обѣдалъ, — совсѣмъ

не было аппетита,—и вечеромъ, когда мальчикъ принесъ изъ типографіи оттиски, вездѣ написалъ неровнымъ почеркомъ „разрѣшается“ и легъ въ постель.

— Скверно что-то, Глашенька! Нехорошо...—сказалъ онъ.

Въ телефонъ то и дѣло звонили, и это всегда такъ пугало Платона Алексѣича, что тревога во всемъ организмѣ поднималась и приливала горячей волной къ сердцу, и онъ приподнимался на постели и смотрѣлъ и прислушивался. И все ему казалось, что тамъ въ резонаторѣ телефона, звучитъ сердитый голосъ: „почему вы не пропустили?“ или „какъ это вы пропускаете?“... Едва Платонъ Алексѣичъ впадалъ въ забытье, какъ ему казалось, что къ его уху кто-то приложилъ резонаторъ, или что надъ нимъ наклоняется господинъ, „завѣдывающій иностранными дѣлами“, съ которымъ на-дняхъ у нихъ были личныя объясненія,— и злобнымъ шопотомъ говоритъ, что онъ послѣдній разъ спрашиваетъ, будетъ ли Платонъ Алексѣичъ допускать Францію?... Даже кумъ Платона Алексѣича, завѣдывающій городскою ассенизаціей, не оставлялъ его въ покоѣ: и онъ мерещился Платону Алексѣичу съ искаженнымъ лицомъ и кричалъ: „Это личности! У меня обозъ въ образцовомъ порядкѣ, а вы чуть не въ каждомъ нумерѣ позволяете издѣвательства? Я буду жаловаться“.

Потомъ что-то такое произошло тамъ, въ организмѣ, непонятное... Что-то оборвалось и что-то билось и дрожало. И когда Платонъ Алексѣичъ хотѣлъ взять со столика, рядомъ съ постелью, стаканъ воды, — то рука не повиновалась, и у него явилось такое ощущеніе, словно это не рука, а какой-то посторонній предметъ

— Глашенька! — крикнулъ Платонъ Алексѣичъ и не узналъ своего голоса, потому что онъ прозвучалъ какъ-то сипло и очень тихо... Жена была въ дальнихъ покояхъ, но на зовъ Платона Алексѣича пришла, съ

мячомъ въ рукахъ, Ниночка и звонкимъ голосомъ спросила:

— Что, папочка? Маму позвать тебѣ?

И когда вошла Глафира Ивановна, то Платонъ Алексѣичъ плакалъ и не хотѣлъ ей сказать, что у него не дѣйствуетъ рука и не дѣйствуетъ нога, и что одинъ глазъ не видитъ...

Когда Глафира Ивановна разсказала доктору, какъ все это случилось, то часы пробили два.

— Однако, мнѣ пора!

— Можетъ быть, онъ проснулся...—плаксиво замѣтила Глафира Ивановна и встала, чтобы посмотрѣть на Платона Алексѣича.

— Будемъ посмотрѣть!—сказалъ докторъ и пошелъ слѣдомъ за Глафирой Ивановной.

И когда они вошли, то увидали Платона Алексѣича неподвижнымъ, съ раскрытыми глазами, которые съ какимъ-то страдальческимъ недоумѣніемъ смотрѣли на образъ...

ФАУСТЪ.

Когда Иванъ Михайловичъ просыпался, то всѣ въ домѣ .были уже на ногахъ, и вдали слышались звонкіе дѣтскіе голоса, бряканье чайной посуды, начальственные окрики тещи, и канарейка трещала, какъ рѣзкій полицейскій свистокъ, въ залѣ. Вставать ему не хотѣлось — трудно было это сдѣлать и было лѣнь одѣваться, поэтому Иванъ Михайловичъ, лежа въ постели, выкуривалъ нѣсколько папиросъ, прежде чѣмъ собирался съ силами. Вставалъ онъ обыкновенно сердитый и недовольный, потому что ему очень не нравился порядокъ жизни, въ силу котораго надо было каждый день торопиться за умывальникомъ и чайнымъ столомъ и непремѣнно идти на службу.

— Сходи, посмотри, проснулся ли папа!—слышался вдали голосъ жены, и затѣмъ въ дверь просовывалась маленькая кругленькая, какъ шарикъ, головка.

— Папа! Ты всталъ?

— Всталъ, всталъ! — недовольно отвѣчалъ Иванъ Михайловичъ и съ сердцемъ прополаскивалъ ротъ, бурлилъ, брызгался и кряхтѣлъ...

За чайнымъ столомъ онъ сидѣлъ надутый, свирѣпый, какъ будто бы занятый какими-то очень серьезными мыслями, и никого не удостаивалъ вниманіемъ, а жена, мелькомъ взглядывая на Ивана Михайловича, думала: „навѣрное, онъ опять проигрался вчера въ клубѣ и теперь не знаетъ, гдѣ достать денегъ“. Въ

десять часовъ Иванъ Михайловичъ уходилъ на службу, въ банкъ, и возвращался домой къ четыремъ, усталый, голодный и опять сердитый и раздражительный. Садясь за обѣдъ, онъ затыкалъ подъ горло салфетку и ѣлъ, сильно чмокая губами и напоминая свинью у корыта, а когда наѣдался, то дѣлался добрѣе и, отдуваясь, шутливо спрашивалъ:

— Больше ничего? Кресты?

— Ну, теперь маленечко соснемъ,—говорилъ онъ и уходилъ въ свой кабинетъ съ оленьими рогами и ружьемъ, изъ котораго никогда не стрѣлялъ. Тамъ онъ долго откашливался и отплевывался, а потомъ начиналъ храпѣть такъ ужасно, что дѣти боялись приближаться къ дверямъ кабинета, и когда нянькѣ нужно было остановить драку или ссору между ними, она говорила:

— Вонъ тамъ медвѣдь спитъ... Вотъ я его выпущу!..

Спалъ Иванъ Михайловичъ часовъ до восьми, и когда его будили, то опять сердился и, крикнувъ „слы-шу“, опять начиналъ всхрапывать. А потомъ онъ выходилъ изъ кабинета, одутловатый, съ отекшими глазами, дѣйствительно похожій на медвѣдя, и начиналъ хрипло кричать:

— Спрашивается: почему меня не разбудили вовремя?

— Тебя будили, и ты сказалъ „слышу!“

— Слышу! Мало ли что говоритъ сонный человѣкъ... Самоваръ готовъ?

Затѣмъ онъ шелъ въ столовую и усаживался съ газетой за чайнымъ столомъ, опять съ такимъ видомъ, словно его одолѣвали какія-то очень важныя и серьезныя мысли... Жена, Ксенія Павловна, наливала чай, и изъ-за самовара ея было не видно, а теща, Марья Петровна, штопала обыкновенно дѣтскіе чулочки, напяливъ ихъ пяткой на ложку, на другомъ концѣ стола,

и всѣ они молчали, лишь изрѣдка обмѣниваясь лаконическими вопросами и отвѣтами:

— Еще?

— Налей!

— Опять нѣтъ лимона?

— У васъ подъ носомъ!..

Послѣ чая Иванъ Михайловичъ уходилъ въ клубъ играть въ карты, послѣ картъ тамъ же ужиналъ и, возвращаясь домой часамъ къ двумъ ночи, заставалъ жену спящей. Только Марья Петровна бодрствовала, и она его обыкновенно встрѣчала полуодѣтая, въ старой накидкѣ, съ растрепанной головой, со свѣчой въ рукѣ и со вздохами. Иванъ Михайловичъ отлично понималъ тайный смыслъ этихъ вздоховъ: они выражали молчаливые упреки и косвенное порицаніе его поведенію. Поэтому, снимая калоши, Иванъ Михайловичъ говорилъ:

— Только, пожалуйста, безъ вздоховъ!

Ксенія Павловна никогда не упрекала мужа. Она давно уже привыкла къ тому, что Иванъ Михайловичъ или храпитъ, какъ зарѣзанная корова, или отсутствуетъ... Не могла съ этимъ примириться только Марья Петровна.

— Какой это мужъ! Только и видишь одинъ халатъ на гвоздикѣ...—говорила она.

— Перестаньте, мама... Всѣ мужья такъ... — замѣчала Ксенія Павловна, но лицо ея дѣлалось грустнымъ, на немъ ложились тѣни, и застывала сосредоточенная задумчивость. Ходя въ сумеркахъ по залѣ съ заложенными за спину руками, она о чемъ-то думала и грустно и тихо напѣвала:

„Тамъ, за далью небосклона, есть блаженная страна...

Потомъ порывисто встряхивала головой и шла въ дѣтскую и здѣсь играла съ дѣтьми въ куклы или разсказывала имъ сказку про сестрицу Аленушку и братца

Иванушку. Старшій мальчикъ имѣлъ много общаго съ отцомъ, когда тотъ еще не храпѣлъ, не плевался, не показывался Ксеніи Павловнѣ въ одной жилеткѣ. Глядя на этого мальчика, Ксенія Павловна смутно уносилась мыслью въ прошлое, и неясные, затушеванные временемъ призраки далекой юности прогоняли съ души ощущеніе пустоты, томительной скуки и неудовлетворенности...

— Мама! Мамочка! Теперь—про бабу-ягу!.. Хорошо?

— Ну хорошо. Жила была баба-яга, костяная нога...

— Она храпитъ? — спрашивала дѣвочка, и голубые глазки ея широко раскрывались, останавливаясь на матери.

Ксенія Павловна разражалась хохотомъ, схватывала дѣвочку въ охапку и, крѣпко цѣлуя ее, забывала все на свѣтѣ.

Раза два въ мѣсяцъ къ нимъ приходили гости. Все это были люди почтенные, уравновѣшенные и тусклые, жизнь которыхъ шла совершенно одинаково, по глубокой колеѣ, безъ толчковъ, гладко и однообразно, и всѣ они были скучные и любили разсказывать все одно и то же, и поступать и дѣлать, какъ по нотамъ. Сперва гости сидѣли въ залѣ и говорили о своихъ квартирахъ, о томъ, что идетъ снѣгъ или что подморозило, и пока Ксенія Павловна занимала ихъ разговорами, теща приготовляла чай. Накладывая въ вазы варенье, она заглядывала въ банки и говорила сама съ собой:

— Гдѣ тутъ до новыхъ ягодъ!.. Дай Богъ до Пасхи хватило бы!

А насыпая сахаръ изъ большого бумажнаго мѣшка въ сахарницу, заглядывала въ мѣшокъ и думала вслухъ:

— Гдѣ тутъ двадцать фунтовъ! Намъ пуда не хватитъ!

— Пожалуйте, господа, чай кушать! — приглашала она, появляясь въ дверяхъ съ привѣтливою улыбкою на лицѣ.

И гости вереницей тянулись въ столовую, застегивая на ходу сюртуки... Здѣсь они чинно разсаживались, острили по адресу тѣхъ, кому доставалось мѣсто на углу стола, что семь лѣтъ замужъ не выйдутъ или не женятся, и, позванивая ложечками, говорили „мерси“, „ахъ, пожалуйста!“ и опять возвращались къ квартирамъ, къ дѣтскимъ желудочкамъ, къ зубкамъ и къ дороговизнѣ провизіи. Когда чай кончался, въ залѣ стояли уже раскрытые ломберные столики со свѣчами, картами и мѣлками,—и всѣ оживлялись, и проходило то томительное настроеніе, какое всегда бываетъ у людей, когда ихъ заставляютъ дѣлать не то, зачѣмъ они собрались. Всѣ, и мужчины, и женщины, усаживались къ столикамъ и играли въ табачномъ дыму, спорили, горячились, упрекали другъ друга и потомъ всѣ разомъ смѣялись и, вообще, были такъ безконечно довольны, что казались самыми счастливыми людьми на свѣтѣ. Тогда они походили на фанатиковъ, маніаковъ, и плохо соображали, когда кто-нибудь изъ случайно забредшихъ, неиграющихъ и скучающихъ, обращался къ нимъ и заговаривалъ о чемъ-нибудь постороннемъ. Ксенія Павловна не играла: она заботилась о томъ, чтобы всѣхъ ихъ напоить, накормить и развлечь. Пока гости винтили, она съ матерью хлопотала объ ужинѣ, и онѣ слегка ссорились, стараясь дѣлать это такъ, чтобы никто этого не замѣтилъ. Когда объявляли объ ужинѣ, то всѣ гости разомъ вскакивали, шумѣли стульями и со смѣхомъ шли къ столу; только двоетрое, наиболѣе увлекающихся, оставались на позиціяхъ и горячо спорили, размахивая руками, о валетѣ пикъ и, казалось, готовы были совсѣмъ не ужинать, лишь бы доказать другъ другу истину. Хозяинъ бралъ ихъ за талію и уводилъ...

— А ну-ка, хватимъ по единой!—начиналъ обыкновенно Иванъ Михайловичъ.

Нѣсколько рюмокъ пили безъ всякихъ пожеланій,

а потомъ начинали пить за здоровье Ксеніи Павловны и другихъ дамъ. Лица краснѣли, оживлялись, глаза дѣлались у всѣхъ масляными, и то и дѣло слышалось то съ одного, то съ другого конца стола:

— А ну-ка, Петръ Васильевичъ, передайте намъ икорочку!

— А какъ бы намъ сюда, Николай Григорьевичъ, селедочку!

Начинались остроты по адресу женъ, анекдоты и разсказы, давно уже здѣсь же разсказанные, причемъ Иванъ Михайловичъ всегда съ гордостью выставлялъ на видъ, что они женились по любви...

— Мы женились по любви... Я, можно сказать, похитилъ Ксенію Павловну...

— Вотъ какъ?!

— Какъ же! Помню, какъ сейчасъ... Я вѣдь чуть не застрѣлился! Да! Назначилъ я ей свиданье въ саду... (Садъ у нихъ былъ роскошнѣйшій!.. Продали сдуру и домъ, и садъ!). Ну-съ, такъ стою я, знаете ли, въ старой бесѣдкѣ и жду-съ... Сердце у меня стукаетъ такъ громко, что чудится, будто гдѣ-то поѣздъ идетъ... Тукъ-тукъ-тукъ!

Иванъ Михайловичъ подробно разсказывалъ, какъ все это происходило, а Ксенія Павловна, прислушиваясь издали къ этому повѣствованію, слегка краснѣла, щурила глаза и вздрагивала.

— Наконецъ, она пріѣхала!

— Пришла, а не пріѣхала!—неожиданно поправляла она Ивана Михайловича, потому что каждый штрихъ, каждая деталь въ этомъ далекомъ воспоминаніи были ей дороги.

— Ну, пришла, пріѣхала... Это не суть важно!—съ досадой замѣчалъ Иванъ Михайловичъ, разсердившись на то, что его перебили, и продолжалъ свой разсказъ, совершенно игнорируя эти поправки и самое Ксенію Павловну, словно эта Ксенія Павловна и та, о ко-

торой шла рѣчь, не имѣли между собой ничего общаго...

Послѣ ужина опять пили чай, позѣвывали, прикрывая ротъ рукою или салфеткой, отдувались и, поглядывая на часы, переглядывались съ женами.

— Пора, пора! — отвѣчали тѣ, и гости прощались, женщины цѣловались, мужчины искали калоши, шапки и опять острили...

Когда гости уходили, оставляя въ комнатахъ табачный дымъ, недопитые стаканы съ окурками на блюдечкахъ и объѣдки ужина, въ квартирѣ сразу дѣлалось тихо и спокойно, и Ксенія Павловна, упавъ въ кресло, застывала въ молчаливой апатіи ко всему окружающему. Она отдыхала отъ пустословія, шума, улыбокъ и угощеній, и теперь чувствовала себя такъ, словно перенесла тяжелую болѣзнь, или отбыла наказаніе. Мать, проходя черезъ залъ, отворяла форточки и говорила: „точно въ казармѣ“, вытаскивала изъ вазоновъ воткнутые въ землю окурки и сердилась.

— Нарочно по двѣ пепельницы на каждый столъ поставила, такъ нѣтъ тебѣ! Непремѣнно надо въ цвѣтокъ воткнуть!

Потомъ она начинала убирать со столовъ, разставлять стулья и все это дѣлала съ сердцемъ. А Иванъ Михайловичъ сбрасывалъ пиджакъ, разстегивалъ жилетку и, ходя по комнатамъ, позѣвывалъ, широко раскрывая ротъ и показывая несвѣжіе зубы, и, какъ-то ухая, приговаривалъ:

— За Волгой спятъ и намъ велятъ!

А потомъ шелъ въ спальню, раздѣвался и, растянувшись въ широкой капитальной желѣзной кровати съ серебряными набалдашниками и съ пружиннымъ матрацемъ, пріятно потягивался и, чувствуя себя какъ бы плавающимъ въ довольствѣ, начиналъ поджидать жену и сердился на то, что она такъ долго не идетъ

— Да плюньте вы тамъ на уборку! Экъ чистота

одолѣла!—кричалъ онъ на всѣ комнаты и прислушивался:

— Ну, ребята взбунтовались!..

Въ дѣтской слышался плачъ. Голосъ жены—тамъ же. Значитъ, нечего ждать,—эта канитель протянется долго. Иванъ Михайловичъ натягивалъ на плечи одѣяло, подбиралъ ноги и отвертывался къ стѣнѣ...

Разъ или два въ мѣсяцъ и они ходили въ гости. И тамъ было все то же: и чай, и разговоры о квартирахъ и о дѣтскихъ желудочкахъ, и зеленые столы, и табачный дымъ, споры о валетѣ и ужинъ съ водкой, дешевымъ виномъ, селедкой, икорочкой и съ неизбѣжными котлетами съ горошкомъ. И навѣрное, когда они уходятъ, тоже отворяютъ форточки и съ удовольствіемъ отдаются наступившей тишинѣ и спокойствію...

И такъ идетъ жизнь изо дня въ день, однообразная, скучная, какъ ненастный вечеръ, когда все мокро, сѣро и нахмурено, жизнь безцвѣтная и томительная. „Живешь—все равно, что перелистываешь поваренную книгу... Дни отличаются только тѣмъ, что вчера былъ супъ и котлеты, а сегодня борщъ и котлеты“,—думала иногда Ксенія Павловна, и приливъ какого-то отчаянія охватывалъ вдругъ все ея существо, и ей казалось, что надо на что-то рѣшиться и что-то сдѣлать... Но что сдѣлать? И въ отвѣтъ на это на губахъ Ксеніи Павловны скользила печальная улыбка, кроткая и безсильная, а на глазахъ навертывались непрошенныя слезы.

Тогда на нее нападала хандра: все ей вдругъ надоѣдало, никого не хотѣлось видѣть и ни съ кѣмъ не хотѣлось говорить; ей казалось, что всѣ говорятъ не то, что думаютъ, и не о томъ, чѣмъ интересуются, а что думаютъ, то тщательно отъ всѣхъ скрываютъ; что смѣются надъ тѣмъ, что имъ вовсе не смѣшно, а просто изъ любезности и вѣжливости, и что всѣ притворяются хорошими и умными, а на самомъ дѣлѣ всѣ—пошлые, глупые и невыносимо скучные...

Она усаживалась у окна и, опершись на руку, долго смотрѣла на улицу, гдѣ умиралъ въ блѣдныхъ сумеркахъ скучный, постылый день. Она вспоминала свою юность, когда жизнь казалась такой большой, съ безпредѣльными горизонтами, окутанными манящимъ сизымъ туманомъ, такой интересной своимъ безконечнымъ разнообразіемъ и такой загадочной и непонятной; когда казалось, что самое важное и желанное впереди, и когда дѣвичье сердце замирало отъ страха и любопытства предъ неизвѣстнымъ будущимъ, когда душа смутно тревожилась ожиданіемъ какого-то счастія, быть можетъ, счастія торжествующей любви...

Вотъ она—настоящая жизнь!.. Горизонты кончаются лавкой въ домѣ противоположной стороны, куда они всегда должны, и обвѣяны поэзіей поваренной книги... Всѣ живутъ изо дня въ день, скучаютъ, сплетничаютъ, говорятъ о квартирахъ и о мѣстахъ, играютъ въ карты, родятъ дѣтей и жалуются: мужья на женъ, а жены на мужей... И никакой торжествующей любви нѣтъ, а есть только торжествующая пошлость, подлость и скука... Все, что интересно въ жизни, все это уже было тогда, раньше, и тогда было счастіе, которое прошло незамѣченнымъ и которое дается людямъ только одинъ разъ въ жизни и никогда не возвращается...

Темнѣло. На улицахъ появлялись робко мерцающіе желтые огни. Звонили ко всенощной. Что-то неясное, тревожное будилъ въ душѣ этотъ гудѣвшій церковный колоколъ: не то примиренную печаль о чемъ-то, канувшемъ въ вѣчность, не то упрекалъ въ чемъ-то загрязненную жизнью душу. „Вечерній звонъ, вечерній звонъ!“—шептала Ксенія Павловна и глубоко вздыхала. А въ темномъ залѣ появлялась бѣлѣвшая во мракѣ фигура: это Иванъ Михайловичъ выходилъ безъ жилетки изъ кабинета. Онъ потягивался, позѣвывалъ, выпускалъ „ого-го-го!“ и произносилъ:

— Я поѣлъ чудесно и всхрапнулъ прелестно... О чемъ это вы мечтаете?

— Такъ себѣ. Думаю: скучно, Иванъ Михайловичъ, на свѣтѣ жить!..

— Народили троихъ дѣтей, а теперь скучно стало?

— Какъ пошло!

— Ну, опять на васъ черти поѣхали!—съ сердцемъ говорилъ Иванъ Михайловичъ и, махнувъ рукой, уходилъ прочь.

Ксенія Павловна начинала смѣяться, потомъ хохотать, а потомъ хохотъ перемѣшивался съ плачемъ, и кончалось истерикой.

— Нну! Завели исторію!—недовольно ворчалъ Иванъ Михайловичъ и кричалъ горничную, чтобы та подала воды:

— Холодной! Изъ-подъ крана!

— Что такое? Что вы съ ней сдѣлали? — кричала впопыхахъ прибѣжавшая теща, и бѣлки ея глазъ сверкали въ темнотѣ, и во всей ея фигурѣ была жажда мести и окончательной расправы.

— Что вы съ ней сдѣлали?

— Я съ ней рѣшительно ничего не дѣлалъ! Рѣшительно! И почему вся эта комедія,—мнѣ неизвѣстно, рѣшительно неизвѣстно! Она просто ненормальная женщина, ваша дочь, рѣшительно ненормальная!

— Вы ее обидѣли?

Ни словомъ, ни помышленіемъ! Я вошелъ въ залъ, она сидѣла у окна, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, смѣхъ, хохотъ, а потомъ плачъ,—пожимая плечами и разводя руками, говорилъ Иванъ Михайловичъ, а Марья Петровна, которую Иванъ Михайловичъ въ минуты раздраженія называлъ бабой-ягой, не вѣрила и настойчиво требовала объясненій:

— Вы ужъ мнѣ не говорите... Какая тамъ ненормальность! У насъ въ роду всѣ были здоровые и всѣ нормальные.., Что вы съ ней сдѣлали?

— Ну и прекрасно! Прекрасно, коли нормальные!.. Очень хорошо! — говорилъ Иванъ Михайловичъ со злостью и исчезалъ изъ дому. Онъ уѣзжалъ въ клубъ, игралъ тамъ въ „девятый валъ“, на зло ставилъ большія ставки и на зло проигрывался...

Въ это время Марья Петровна ходила съ огорченнымъ лицомъ и никакъ не могла понять, что такое произошло между ними. Нѣсколько разъ она подходила къ Ксеніи Павловнѣ и начинала:

— Пошли нелады да ссоры... А изъ-за чего? Что ты узнала про него, что ли?

— Да ничего новаго не узнала!

— Обидѣлъ онъ, что ли, тебя?

— Да нѣтъ!

— Ты напрасно скрываешь... Шила въ мѣшкѣ не утаишь... Я все знаю, сударыня!—перемѣняя тонъ, говорила мать и подходила къ дѣлу съ другой стороны:

— Онъ ревнивый... Не надо подзадоривать...

— А ну васъ! Онъ глупъ и больше ничего!—обрывала, наконецъ, Ксенія Павловна со смѣхомъ сквозь слезы, а мать сердилась:

— Ужъ если жена такъ говоритъ про мужа, значитъ, тутъ нечего добра ждать!

И она начинала защищать зятя изо всѣхъ силъ, и, въ концѣ концовъ, по ея словамъ выходило такъ, что лучше Ивана Михайловича трудно и человѣка отыскать на свѣтѣ:

— Посмотри-ка, матушка, на другихъ! Да вонъ хотя бы у Капитолины Ивановны муженекъ-то! И ничего, сударыня, терпитъ и не жалуется, а не то, что „глупъ“... Что имѣемъ, не хранимъ, потерявши — плачемъ, сударыня!

Такъ и не могла Марья Петровна добиться отъ дочери какихъ-нибудь разъясненій по этому случаю и терялась въ догадкахъ и предположеніяхъ. Спать она не ложилась до возвращенія зятя и, сидя въ залѣ на

диванѣ, все думала и время отъ времени произносила:

— Гм...

А Иванъ Михайловичъ, поужинавъ и подвыпивъ, пріѣзжалъ домой, и сердитый звонокъ, властный такой и рѣшительный, оглашалъ тихія комнаты своимъ дребезжаніемъ и пугалъ Марью Петровну... „Должно быть, пьяный“,—думала она и, отпирая дверь, даже не вздыхала, а любовно говорила:

— Въ столовой покушать вамъ оставлено...

Иванъ Михайловичъ ничего не отвѣчалъ. Онъ ходилъ по комнатамъ протестующей походкой, стучалъ дверями, громко кашлялъ и, вообще, давалъ понять, что онъ самъ себѣ господинъ. Чтобы выразить рельефно свое негодованіе и показать свою полную независимость, Иванъ Михайловичъ не шелъ спать на капитальную кровать съ серебряными набалдашниками, а укладывался въ своемъ кабинетѣ на софѣ, подъ оленьими рогами и ружьемъ, изъ котораго онъ никогда не стрѣлялъ.

— Нате вотъ хоть подушку!—слышался смиренный голосъ Марьи Петровны, и бѣлый уголъ подушки просовывался въ пріоткрытую дверь кабинета.

Зять молчалъ.

— Шея заболитъ, неудобно...

— Не безпокойтесь о моей шеѣ!—звучало въ кабинетѣ.

Но Марья Петровна кидала подушку на кресло, и дверь затворялась. Иванъ Михайловичъ былъ человѣкъ съ характеромъ и подушки не бралъ, а лежалъ, подперевъ голову кулакомъ, и отдувался, какъ онъ думалъ, отъ тяжести семейныхъ непріятностей.

Собака Норма, видимо, держала сторону Ивана Михайловича. Когда супруги ссорились и спали врозь, Норма не желала оставаться съ женщинами, и, отворяя лапой дверь кабинета, перебиралась къ своему оскор-

бленному хозяину. Здѣсь она приближалась къ софѣ, клала свою морду съ отвисшими слюнявыми губами на грудь Ивана Михайловича и смотрѣла на него такими глазами, словно хотѣла сказать:

— Какія всѣ онѣ свиньи! Не цѣнятъ тебя!..

Иванъ Михайловичъ чувствовалъ къ Нормѣ молчаливую благодарность и гладилъ ее рукою и любовно трепалъ ея длинныя уши. А дверь въ кабинетъ снова пріотворялась, и раздавался шопотъ Марьи Петровны:

— Норма! Норма!

Норма не шла. Иванъ Михайловичъ держалъ ее за ошейникъ и усиленно гладилъ.

Тогда слышался тихій голосъ:

— Вотъ она напуститъ вамъ блохъ... Норма! Норма!

Иванъ Михайловичъ вскакивалъ съ софы, плотно захлопывалъ дверь, и мелодичный отзвукъ замочной пружины кончалъ дипломатическія попытки Марьи Петровны.

— Съ собакой спитъ... Это ужъ послѣднее дѣло!— ворчливо говорилъ голосъ за дверью, и все стихало...

Это были сцены съ драматическимъ элементомъ и съ эффектами. Но бывали еще сцены, такъ сказать, ординарныя, безъ драматическихъ эффектовъ, повторявшіяся регулярно, все въ одной и той же формѣ и въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ. Эти сцены всегда происходили по двадцатымъ числамъ, когда Иванъ Михайловичъ получалъ жалованье и производилась расплата съ безчисленными мелкими кредиторами. Денегъ всегда не хватало, а Ивану Михайловичу казалось, что должно хватать, и онъ начиналъ громить женщинъ, которыя, мечтая о какой-то эмансипаціи, не способны даже урегулировать хозяйство...

— Эмансипація!..—ворчалъ онъ, выбрасывая изъ бумажника деньги...

— Причемъ тутъ эмансипація?..

— Учатъ васъ, чортъ знаетъ, чему... Географіи раз-

ныя тамъ, алгебры, тригонометріи, а вы не умѣете прихода съ расходомъ свести. Эмансипація!

— А вы, Иванъ Михайловичъ, порѣже бы въ клубъ ѣздили... Тогда, можетъ быть, и приходъ съ расходомъ сходился бы!—замѣчала Марья Петровна.

— Гдѣ же мнѣ взять? Вѣдь я самъ денегъ не дѣлаю? Вамъ извѣстно, что я не фальшивый монетчикъ?

Всѣ трое вступали въ препирательства, упрекали другъ друга и погружались съ головой въ такія дрязги и мелочи, что потомъ всѣмъ имъ дѣлалось стыдно. Послѣ двадцатыхъ чиселъ на душѣ Ксеніи Павловны оставалась какая-то копоть, и эта копоть дѣлала ея взоръ тусклымъ, а всѣ движенія апатичными, и тогда казалось, что она сразу постарѣла, подурнѣла и опустилась... Молодая, миловидная женщина походила тогда на букетъ цвѣтовъ, увядшій и выброшенный за окно...

Такъ они жили день за днемъ, мѣсяцы, годы, и когда ихъ спрашивали знакомые: „какъ поживаете“, то отвѣчали:

— Ничего, слава Богу!..

Надо было хотя изрѣдка освѣжаться отъ этой жизни. Иванъ Михайловичъ раза три въ годъ основательно напивался.

— Надо встряхнуться, произвести нѣкоторую пертурбацію въ организмѣ. Это не только полезно, но и необходимо, — говорилъ онъ обыкновенно на другой день послѣ такихъ случаевъ.

Ксенія Павловна освѣжалась только театромъ, но такъ рѣдко, что случаи эти получали въ ея жизни значеніе цѣлыхъ событій. Иванъ Михайловичъ не любилъ ходить въ театръ. Когда Ксенія Павловна говорила: „надо бы сходить въ театръ, освѣжиться...“, Иванъ Михайловичъ всегда вспоминалъ о томъ, какъ лѣтъ десять тому назадъ они ѣздили, поженившись, въ Петербургъ и тамъ были въ оперѣ и драмѣ:

— Послѣ Фигнера и Савиной не стоитъ, душа моя,

портить впечатлѣнія! — говорилъ онъ и уѣзжалъ въ клубъ играть въ винтъ или въ „девятый валъ“.

Зато, когда на сценѣ мѣстнаго театра ставился „Фаустъ“, не надо было никакихъ просьбъ: Иванъ Михайловичъ непремѣнно бралъ билеты въ третьемъ ряду для себя и для Ксеніи Павловны.

— Сегодня на „Фауста“!—сердито говорилъ Иванъ Михайловичъ, возвратившись со службы, и небрежно выкидывалъ на столъ двѣ цвѣтныя бумажки.

— На „Фауста“?! — радостно вскрикивала Ксенія Павловна, и все лицо ея озарялось свѣтомъ радости.

Радостная, экзальтированная предстоящимъ удовольствіемъ, Ксенія Павловна начинала обыкновенно собираться въ театръ очень рано. Пока она причесывалась и одѣвалась, Иванъ Михайловичъ стоялъ по близости и разсматривалъ, какъ все это у нея выходитъ, потому что, когда онъ появлялся съ женой въ обществѣ, то любилъ, чтобы все было „какъ слѣдуетъ“, и чтобы всякій, кто посмотритъ, когда они идутъ подъ-руку, подумалъ про Ксенію Павловну:

— Недурна! Весьма недурна!

Поэтому онъ былъ очень строгимъ критикомъ и, пока Ксенія Павловна одѣвалась, донималъ ее своими критическими замѣчаніями:

— Слишкомъ мелкая завивка! У тебя лицо Маргариты, а ты завилась, какъ жидовка!

— Неправда!..

— Странное дѣло: женщины меньше всего понимаютъ, что къ нимъ идетъ, и меньше всего желаютъ нравиться своимъ мужьямъ!..

Ксеніи Павловнѣ тоже хотѣлось быть интереснѣе, но она не довѣряла вкусу Ивана Михайловича, а между тѣмъ и въ себѣ сомнѣвалась, и, въ концѣ концовъ, они обязательно ссорились и выходили изъ дому недовольные другъ другомъ, съ испорченнымъ настроеніемъ и съ огорченіемъ на душѣ и направлялись въ театръ

безъ всякаго удовольствія, словно ихъ кто-нибудь гналъ туда. Сперва они шли подъ-руку и оба чувствовали досаду другъ на друга, и обоимъ хотѣлось вырвать руку и шарахнуться въ сторону, потомъ Иванъ Михайловичъ кричалъ „извозчикъ!“ такимъ сердитымъ голосомъ, словно онъ ненавидѣлъ всѣхъ извозчиковъ на свѣтѣ. Подкатывались санки; Иванъ Михайловичъ подсаживалъ жену и, усѣвшись рядомъ, бралъ ее за талію. Дорогой они не говорили другъ другу ни слова, зато Иванъ Михайловичъ то и дѣло выпускалъ по адресу извозчика бранныя слова:

— Осторожнѣй на ухабахъ! Осторожнѣй, дубина!

— Держи право, оглобля!

Все время Иванъ Михайловичъ ощущалъ въ себѣ раздраженіе противъ женщины, которую держалъ за талію, и ему казалось, что эта женщина какъ бы заряжена непріязнью къ нему и, какъ бомба, можетъ каждую минуту взорваться... Извозчикъ чмокалъ губами и подергивалъ вожжей, стараясь этимъ производить на сердитаго барина такое впечатлѣніе, будто они ѣдутъ съ приличной скоростью, но Ивана Михайловича трудно было обмануть:

— Что ты мертвыхъ, что ли, везешь?—кричалъ онъ, тыкая извозчика въ спину.

— Нешто мертвые къ кіятру ѣздіютъ?!

— Не кормите лошадей, мерзавцы!

— Какъ не кормимъ?—оборачиваясь, спрашивалъ удивленный извозчикъ.

— Ты у меня поговори!..

И на полицію Иванъ Михайловичъ бывалъ сердитъ не меньше, чѣмъ на извозчиковъ: около театральнаго подъѣзда у него всегда выходила исторія. Наблюдавшій за порядкомъ околоточный надзиратель всегда торопилъ извозчиковъ отъѣзжать, и въ то время, какъ Ксенія Павловна не успѣвала вытащить еще одной ноги изъ санокъ, кричалъ:

— Отъѣзжай! Живо!

— Гдѣ вы, милостивый государь, воспитывались?— вызывающе спрашивалъ околоточнаго Иванъ Михайловичъ и, пообѣщавъ поговорить съ полиціймейстеромъ, котораго называлъ просто Петромъ Трофимычемъ, подавалъ Ксеніи Павловнѣ руку и проходилъ мимо полиціи съ такимъ величавымъ видомъ, словно самъ былъ полиціймейстеромъ.

Гремѣла увертюра изъ „Фауста“. Они шли подъ-руку по длинной застланной ковромъ дорожкѣ межъ стульями партера къ своимъ мѣстамъ, и Иванъ Михайловичъ чувствовалъ себя такъ, словно взоры всѣхъ зрителей остановились исключительно на немъ, и отъ этого онъ старался шагать съ наибольшимъ достоинствомъ, какъ-то гордо откинувшись назадъ всѣмъ корпусомъ, выставляя впередъ округлившееся брюшко. А Ксенія Павловна смотрѣла внизъ и шла, какъ приговоренная къ смертной казни чрезъ повѣшеніе, съ лицомъ, неподвижно застывшимъ и оскорбленнымъ. Электричество погасало, взвивался занавѣсъ съ моремъ, похожимъ на небо, и съ небомъ, похожимъ на море, съ какими-то фантастическими развалинами и съ тропической растительностью, — и традиціонный Фаустъ въ коричневомъ халатѣ, въ колпакѣ и съ большой сѣдой бородой, начиналъ пѣть своимъ металлическимъ теноромъ, поглаживая бороду:

„Напрасно я путемъ науки строгой...“

Сперва Ксенію Павловну не трогала ни музыка, ни пѣніе. Она больше смотрѣла, чѣмъ слушала. Когда появлялся красный Мефистофель и пѣлъ, что у него все въ порядкѣ, и что денегъ много, Ксенія Павловна, обыкновенно, вспоминала, что скоро двадцатое, и что у нихъ не отдано за два мѣсяца въ мясную лавку... „Эмансипація!“ — говорилъ въ ея мозгу голосъ Ивана Михайловича, и когда она переставала думать о мяс-

никѣ и эмансипаціи, то Фаустъ успѣвалъ уже сдернуть бороду, халатъ и сдѣлаться изъ дряхлаго старичка красивымъ, молодымъ и сильнымъ, и эта неожиданность вызывала на ея лицѣ первую улыбку.

„Ко мнѣ возврати-лась, прелестн-ая юность!..“—побѣдоносно подступая къ рампѣ и поднимая руку, пѣлъ Фаустъ, а Ксенія Павловна начинала думать о томъ, сколько ей лѣтъ и сколько лѣтъ Ивану Михайловичу, и о томъ, что юность у нихъ прошла, что проходитъ и молодость и никогда не вернется... Ксенія Павловна вздыхала и незамѣтно скользила грустнымъ взоромъ по лицу Ивана Михайловича. Тотъ сидѣлъ, обыкновенно, глубоко въ креслѣ, со сцѣпленными на животѣ руками и со склоненной на бокъ головой, и въ выраженіи его подбритаго лица съ закрученными и нафабренными усами было столько самодовольства и прилизанной обывательской порядочности, что Ксенія Павловна торопилась отвернуться.

Въ первомъ антрактѣ они ходили въ фойэ подъруку, и Ивана Михайловича все время безпокоила мысль, что у жены плохо причесаны волосы, и что лицо ея не свѣтится радостью и восторгомъ, какъ у другихъ женщинъ, сверкающихъ глазами, шуршащихъ шелкомъ юбокъ и безостановочно разговаривающихъ и смѣющихся своими звонкими и счастливыми голосами... Погулявъ здѣсь взадъ и впередъ, они опять шли на свои мѣста и все время молчали, думая каждый о чемъ-то про себя и какъ бы не существуя другъ для друга... Подъ каскадомъ лучей электрической люстры партеръ пестрѣлъ нарядами и гудѣлъ, какъ улей съ пчелами, отъ безчисленныхъ голосовъ, движеній и шороховъ, но этотъ говоръ, блескъ и пестрота казались Ксеніи Павловнѣ далекими и чужими, и эти живыя стѣны людей, эти ложи, похожія на букеты цвѣтовъ, будили въ ней чувство отчужденности и одиночества. Она не разглядывала публику и сидѣла, опустивъ руки на ко-

лѣни, съ глазами, устремленными внизъ, и ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь нарушилъ ея настроеніе молчаливой замкнутости. Она боялась, какъ бы не подошелъ кто-нибудь изъ знакомыхъ и не спросилъ „какъ поживаете“, и какъ бы Иванъ Михайловичъ не вздумалъ заговорить съ ней недовольнымъ тономъ о полиціи или Фигнерѣ. Когда электричество снова потухало, она чувствовала облегченіе, словно очутилась вдругъ одна въ своей дѣвичьей комнатѣ и заперлась тамъ на ключъ, и, смотря на сцену, начинала постепенно уходить въ міръ звуковъ и отдаваться неяснымъ и тревожнымъ душевнымъ настроеніямъ, которыя начинали роиться въ душѣ подъ музыку и пѣніе... У Ксеніи Павловны пропадала злоба и досада на Ивана Михайловича, исчезали воспоминанія о грубыхъ перебранкахъ, мелкихъ стычкахъ, мясникахъ и всей этой скучной прозѣ жизни, и на душѣ прояснялось, затихало, становилось все спокойнѣе и спокойнѣе, словно постоянно разбереживаемая рана, наконецъ, затянулась и переставала ныть и тревожить... Въ третьемъ актѣ Ксенія Павловна окончательно улетала изъ роднаго городка, забывала себя и всѣхъ настоящихъ людей и отдавалась вся во власть музыки и пѣсни, лунной ночи и луннаго блеска, во власть созерцанія счастія и любви, которое все росло и росло и казалось безконечнымъ и всемогущимъ и все-таки обвѣяннымъ какой-то грустью и задумчивостью, тихой и кроткой, какъ эта лунная ночь и какъ эта чудная дѣвушка на сценѣ, съ золотистой косой, съ искренностью и непосредственностью ребенка умоляющая на колѣняхъ любимаго юношу о пощадѣ... Вотъ она, вся залитая луннымъ сіяніемъ, трепещущая отъ страха и счастія, склоняется на плечо къ красивому юношѣ... Вотъ она поетъ у распахнутаго настежь окна о своемъ счастіи звѣздамъ и тихой ночи, и этому уснувшему, словно околдованному грезами любви, саду, — и пѣснь ея, чистая

и святая, какъ молитва, уносится къ синему звѣздному небу...

Какъ все это близко, родственно и дорого людямъ, пережившимъ призракъ счастья! И она, Ксенія Павловна, была когда-то такой же дѣвушкой съ золотистой косою, и такъ же была счастлива, и такъ же пѣла о своемъ счастіи звѣздамъ и молчаливому саду, залитому таинственнымъ и грустнымъ луннымъ сіяніемъ, и такъ же трепетала отъ страха и счастія и умоляла о пощадѣ...

— Ха! ха! ха!—раскатисто гремѣлъ вдругъ хохотъ Мефистофеля, такой безжалостный и могучій хохотъ издѣвательства,—и струна, звучавшая въ сердцѣ Ксеніи Павловны съ невыразимой грустью и нѣжностью, сразу обрывалась и смолкала, и оставался одинъ только этотъ хохотъ, возмущающій и подавляющій своей торжествующей пошлостью и... правдой...

И дѣйствительность грубо врывалась въ міръ грезъ и сновидѣній. Ксенія Павловна опускала глаза, поджимала губы, и на лицѣ ея скользила улыбка, какая-то странная улыбка оторопѣвшаго человѣка, а Иванъ Михайловичъ, отрывая спину отъ стула, серьезно замѣчалъ:

— Славно хохочетъ!

Ксенія Павловна взглядывала на мужа и какъ-то жалобно вздыхала... Она примирилась съ Иваномъ Михайловичемъ и съ его торжественностью, и съ его сложенными на животѣ руками. Эти руки на животѣ уже не возбуждали въ ней непріязни... Когда-то этотъ самый человѣкъ, сидящій теперь рядомъ, былъ ея Фаустомъ, и съ нимъ связана ея драма любви. Пусть то былъ миражъ, ошибка, но вѣдь это — ошибка всей жизни, ошибка, которая никогда уже не повторится снова, какъ сама юность...

Занавѣсъ опускался, и шумъ рукоплесканій, похожій на дождь, и дикій ревъ экспансивной галлерки наполняли зрительный залъ сверху донизу. Поднимался за-

навѣсъ съ моремъ и съ развалинами, и Фаустъ, Маргарита и Мефистофель, взявшись за руки, выходили и мило улыбались публикѣ, а Ксенія Павловна чувствовала себя такъ, словно ее вдругъ разбудили отъ сна, полнаго нѣжныхъ, легкихъ сновидѣній, неясныхъ и чарующихъ, но теперь позабытыхъ, и ей было досадно, зачѣмъ ее разбудили, и мучительно хотѣлось припомнить, вернуть спугнутыя сновидѣнія... Ей не хотѣлось смотрѣть теперь на Маргариту, превратившуюся вдругъ въ актрису, жаждущую хлопковъ и дѣлающую глазки большому чудовищу—публикѣ, на Мефистофеля, въ знакъ признательности и искренняго удовольствія прижимающаго правую руку къ сердцу, и на Фауста, который вдругъ сдѣлался похожимъ на парикмахера, и который посылалъ во всѣ стороны приторные воздушные поцѣлуи...

— Пойдемъ, Ваня!

Иванъ Михайловичъ элегантно подставлялъ женѣ руку, и они шли опять въ фойэ. Здѣсь онъ угощалъ жену чаемъ, а потомъ приказывалъ принести апельсинъ.

— Отъ жажды!—говорилъ онъ, передавая Ксеніи Павловнѣ апельсинъ, и съ этого момента наступала полная пріостановка непріязненныхъ дѣйствій съ обѣихъ сторонъ.

— Не кислый?

— Нѣтъ. Хорошій.

Ксенія Павловна ѣла апельсинъ и смотрѣла на расхаживающихъ мимо мужчинъ. „Всѣ они,—думала она,—здѣсь не такіе, какъ дома, всѣ грубы, всѣ ѣздятъ въ клубъ, и мой Ваня, въ сущности, лучше очень многихъ изъ этихъ мужчинъ“.

— Нравится тебѣ, Ваня, Маргарита?

— Ничего... Хотя послѣ Альмы Фостремъ, конечно...

— А развѣ ты слышалъ въ этой роли Альму?

— Воть тебѣ и разъ! Вмѣстѣ слышали! Въ Петербургѣ-то? Забыла?

— Ахъ, это было такъ давно...

— Хотя сама по себѣ эта опера безсмертная. Я сто разъ ее видѣлъ и еще сто разъ готовъ смотрѣть. Тутъ вся жизнь, какъ въ зеркалѣ... Да... Помнишь — въ саду?—тихо заканчивалъ Иванъ Михайловичъ, склоняясь къ женѣ.

Лицо Ксеніи Павловны покрывалось легкимъ румянцемъ, и глаза задумчиво устремлялись вдаль, дѣлаясь грустными и мечтательными.

— Все это было, но было какъ будто во снѣ,— тихо шептали ея губы, и головка качалась на красивой открытой шеѣ...

Подходили знакомые, пожимали руки и спрашивали:

— Какъ поживаете?

— Ничего, слава Богу... А вы?

— Потихоньку, полегоньку... Вашими молитвами... А вы, Ксенія Павловна, все хорошѣете?

Ксенія Павловна вспыхивала, но тѣнь неуловимаго удовольствія скользила по ея лицу и дѣлала это лицо такимъ милымъ, сильнымъ и гордымъ.

— Что вы! Напротивъ, я думаю, что съ каждымъ днемъ дурнѣю!—отвѣчала она, слегка прищуриваясь и кокетливо обмахиваясь вѣеромъ.

Тогда всѣ мужчины хоромъ протестовали, а женщины молча оправляли руками свои прически. Иванъ Михайловичъ взглядывалъ на жену и думалъ, что, дѣйствительно, она очень красивая женщина, пожалуй, одна изъ лучшихъ во всемъ театрѣ, и ему становилось тоже очень пріятно, и его лицо дѣлалось тоже гордымъ. Иванъ Михайловичъ закручивалъ лѣвый усъ и говорилъ:

— А видѣли вы ея портретъ, когда она была моей невѣстой? Да у меня надъ письменнымъ-то столомъ виситъ! У ней была коса вдвое толще, чѣмъ у этой Маргариты...

Въ послѣднемъ дѣйствіи въ душѣ Ивана Михай-

ловича совершался полный переворотъ. Онъ начиналъ переносить печальную судьбу Маргариты на жену, а себя представлялъ въ видѣ Фауста, и ему дѣлалось жалко Ксенію Павловну. Угрюмые своды тюрьмы, на сѣромъ каменномъ полу—солома и эта женщина, поруганная, преступная и безумная и все-таки такая чистая, святая, эти тихія, полныя грусти и нѣжности мелодіи, въ которыхъ воскресали смутныя воспоминанія о быломъ счастіи,—все это заставляло Ивана Михайловича набирать въ грудь больше воздуху и отдуваться... Онъ взглядывалъ на Ксенію Павловну и, замѣчая на ея глазахъ слезы, чувствовалъ, что эта женщина ему безконечно дорога, и что онъ глубоко виноватъ въ чемъ-то передъ нею... Иванъ Михайловичъ тоскливо смотрѣлъ на сцену, прислушивался къ тихимъ мелодіямъ музыки, и ему временами чудилось, что это—его Ксенія брошена въ тюрьму и вспоминаетъ о томъ, какъ они впервые встрѣтились на балу, и какъ потомъ онъ пѣлъ ей „Средь шумнаго бала“, и какъ потомъ они сидѣли въ темномъ саду, слушали соловья и смотрѣли на звѣзды...

Все это было, но было какъ будто во снѣ...

Они возвращались изъ театра словно съ обновленными душами, полные грусти и радости, и обоимъ имъ казалось, что вся пошлость, всѣ дрязги и мелочи жизни вдругъ исчезли, и вернулась частица прежняго счастія... Они лихо мчались къ дому въ легкихъ санкахъ, визгливо поскрипывавшихъ полозьями по накатанной дорогѣ, и Иванъ Михайловичъ держалъ Ксенію Павловну за талію такъ крѣпко, словно боялся потерять ее дорогой... Ксенія Павловна прятала лицо въ пушистомъ бѣломъ воротникѣ шубки, и только глаза ея блестѣли изъ-подъ бѣлой же шапочки, какъ два угля, черные и влажные... Ивану Михайловичу хотѣлось ее поцѣловать, и онъ, забывая все, дѣлалъ къ этому попытки, но Ксенія Павловна смѣялась од-

ними глазами, щурила ихъ и слегка качала бѣлой шапочкой...

Дома ихъ ждалъ самоваръ и Марья Петровна. Самоваръ клокоталъ отъ избытка паровъ, величаво поднимаясь своей красивой, блестящей фигурою надъ бѣлоснѣжной поверхностью покрытаго скатертью стола; румяныя булки смотрѣли привѣтливо и пахли сдобой; яйца въ смятку дожидались, пока ихъ кокнутъ по носу чайной ложечкой... А Марья Петровна, выплывая изъ дѣтской въ старой накидкѣ, позѣвывала во весь ротъ и ласково говорила:

— Что, дѣтки, поди, покушать хотите?

Иванъ Михайловичъ не отвѣчалъ. Онъ уходилъ въ полутемный залъ и, ходя тамъ медленной поступью, гладилъ себя ладонью по головѣ и тихо мурлыкалъ:

„О, позволь, ангелъ мой, на тебя наглядѣться...“

Потомъ онъ поворачивалъ къ столовой, приближался къ Ксеніи Павловнѣ, молча цѣловалъ ее въ голову и опять уходилъ и мурлыкалъ въ залѣ:

„О, позволь, ангелъ мой, на тебя наглядѣться...“

— А вы сперва закусили бы, а потомъ ужъ — „ангелъ мой!“ Остынутъ яйца-то!—говорила Марья Петровна, заглядывая въ залъ...

— Сейчасъ! Сейчасъ!—съ досадою отвѣчалъ Иванъ Михайловичъ и продолжалъ ходить и мурлыкать, отдаваясь неяснымъ душевнымъ движеніямъ, смутнымъ воспоминаніямъ и ощущеніямъ нѣжной грусти о прошломъ.

Потомъ они втроемъ пили чай, закусывали и дружелюбно разговаривали, и у всѣхъ ихъ было хорошо и спокойно на душѣ. Ксенія Павловна переодѣвалась въ бѣлый капотъ съ рукавами, похожими на крылья, и распускала волосы. Она нѣсколько разъ уходила въ дѣтскую и, становясь на колѣни у дѣтскихъ крова-

токъ, съ материнской нѣжностью и страстью смотрѣла на сонныхъ ребятишекъ съ полными голыми ручками и съ такими милыми, безпечными личиками, и ей казалось, что это спятъ маленькіе ангелы, чистые и кроткіе, беззащитные и великіе своею непорочностью, которые уносили Маргариту на небо...

— Ты похожа на Маргариту въ тюрьмѣ,—замѣчалъ Иванъ Михайловичъ и, облокотясь на руку, смотрѣлъ на жену долго и пристально, и ему казалось, что цѣлая полоса жизни куда-то исчезала, и передъ нимъ попрежнему была милая дѣвушка съ золотыми волосами, которую хочется любить и боготворить вѣчно... И подъ этимъ взглядомъ Ксенія Павловна опускала глаза, улыбалась и чувствовала, какъ гдѣ-то далеко, на самомъ днѣ ея души, какъ эхо горъ, тихо звучитъ мелодія оборванной, недопѣтой пѣсни юнаго сердца...

Иванъ Михайловичъ, ужинавшій обыкновенно въ жилеткѣ, съ помочами на виду, теперь стѣснялся снять сюртукъ и всѣмъ своимъ движеніямъ и жестамъ придавалъ, насколько могъ, побольше красоты и граціи, и былъ любезенъ и предупредителенъ даже по отношенію къ Марьѣ Петровнѣ.

— Вамъ—масло?—говорилъ онъ и предупреждалъ желаніе тещи.

— Вы точно въ гости пришли, — замѣчала Марья Петровна и, пріятно улыбаясь, принимала масло и говорила:

— Мерси!

— Ну, до свиданія, моя Маргарита! — говорилъ Иванъ Михайловичъ и, подходя къ женѣ, опять долго и пристально смотрѣлъ ей въ глаза, а потомъ цѣловалъ руку и щеку.

— Спи, мой Фаустъ!—шутливо и довольно отвѣчала Ксенія Павловна и цѣловала мужа въ губы.

Затѣмъ Иванъ Михайловичъ подходилъ къ Марьѣ

Петровнѣ, подавалъ ей руку и желалъ спокойной ночи, и уходилъ въ спальню. Здѣсь горѣлъ подъ потолкомъ фонарикъ, обливая комнату меланхолическимъ голубоватымъ свѣтомъ, мягкимъ такимъ, успокаивающимъ, и было такъ хорошо и уютно... Иванъ Михайловичъ медленно раздѣвался и, снимая сапоги, напѣвалъ нѣжнымъ фальцетомъ:

„Привѣтъ тебѣ, пріютъ священный!..“

ИМЕНИННИЦА.

I.

Красивое озеро, похожее на гигантское овальное зеркало, вставленное въ рамку изъ зелени садовъ и вычурныхъ дачныхъ построекъ, какъ бы врѣзывалось тупымъ концомъ своимъ въ самую середину города. Здѣсь было всегда шумно и весело. Купальни, плоты для мойки бѣлья, множество лодокъ и катеровъ, окрашенныхъ въ яркіе цвѣта, шныряющіе по озеру взадъ и впередъ маленькіе, похожіе на игрушечные, пароходики—кишѣли народомъ. На плотахъ вереницы бабъ, съ подоткнутыми подолами и голыми ногами, колотили вальками мокрое бѣлье, бранились и перекликались, и удары ихъ вальковъ, такіе же звонкіе, какъ ихъ голоса, отскакивая отъ купаленъ, удваивались эхомъ и сыпались дождемъ на тихую зеркальную гладь озера; маленькіе пароходики всегда пыхтѣли, подходя или уходя отъ пристани, и всегда были такъ переполнены пассажирами, что казалось, словно на водѣ покачиваются конгломераты изъ шляпъ, цилиндровъ и зонтиковъ, облѣпившихъ дымящуюся трубу и звонко, какъ птицы, щебечущихъ легкомысленными голосами безотчетной радости. На длинныхъ узкихъ мосткахъ съ перилами, перекинутыхъ съ берега къ купальнямъ, пестрѣли своими костюмами женщины и, усаживаясь при помощи сопровождающихъ ихъ на про-

гулку мужчинъ въ лодки, вскрикивали отъ испуга и смѣялись, а изъ купаленъ доносился смѣшанный гулъ голосовъ, мужскихъ и женскихъ, шумъ и плескъ воды, дѣтскій плачъ и крикъ, и можно было подумать, что тамъ или дерутся, или играютъ люди зрѣлые вмѣстѣ съ подростками. Всѣ эти звуки, смѣшиваясь съ безпрерывной трескотней извозчичьихъ дрожекъ и звонками конки, давали, въ общемъ, такой бодрый, здоровый аккордъ жизни, что всѣ бывшіе здѣсь люди, чувствуя инстинктивный порывъ къ радости бытія, улыбались, были веселы, добры и разговорчивы, а проходившіе мимо невольно останавливались, долго смотрѣли смѣющимися глазами на этотъ водоворотъ жизни и, казалось, не хотѣли идти дальше. Военные и студенческіе мундиры и кителя, мелькавшіе въ копошившейся здѣсь публикѣ своими золотыми пуговицами и погонами, гибкія, стройныя фигуры молодыхъ дѣвушекъ съ розовыми лицами подъ ярко-желтыми соломенными шляпками, гимназическія куртки и бѣлыя фуражки какъ бы окрашивали всю толпу въ цвѣтъ юности, здороваго веселья и радостныхъ надеждъ, и подъ яркими лучами лѣтняго солнышка даже старики и люди въ потертыхъ и истрепанныхъ костюмахъ, казалось, всѣмъ были довольны и совершенно счастливы...

На набережной высились громоздкіе дома, красивые и массивные, съ большими зеркальными стеклами въ дверяхъ и окнахъ, съ балконами и барельефами; бѣлая, какъ снѣгъ, колокольня церкви поднималась изъ-за зеленыхъ крышъ, вознося къ голубому безоблачному небу серебряный куполъ и крестъ; пожарная часть рѣзко желтѣла на синевѣ своей каланчой, увѣнчанной шпилемъ, -- и вся эта ровная элегантная линія домовъ убѣгала отъ озера, оставляя часть праваго берега его громоздившемуся своими тяжелыми кирпичными корпусами мыловаренному заводу, изъ высокой, почернѣвшей трубы котораго тянулся по небу

длинной лентою дымъ, а лѣвое побережье—для улицы, обращенной къ озеру задворками, крыши домовъ которой, сараи, куски стѣнъ съ сверкавшими подъ солнцемъ, какъ слюда, окнами — подбѣгали почти вплоть къ водѣ и смотрѣлись въ ея зеркало... Впрочемъ, эти задворки и мыловаренный заводъ не портили общаго впечатлѣнія, потому что далѣе, по обоимъ берегамъ озера, образующимъ изгибы, затоны и заводи, густыми стѣнами зеленѣли деревья садовъ, изъ-за которыхъ выглядывали легкія, словно карточныя, постройки дачъ, съ фантастическими замками, теремами, балкончиками, бесѣдками и павильонами въ китайскомъ вкусѣ, а затѣмъ поднимался ботаническій садъ, синѣвшій вдали узорчатымъ кружевнымъ контуромъ, и озеро загибалось и длинной, свѣтлой полосой уходило вонъ изъ города и, соединяясь съ другимъ такимъ же озеромъ, сливалось съ далекимъ горизонтомъ, лугами и бѣлыми, словно изъ ваты, облачками, которыя казались висящими надъ самой водой...

Лѣто было въ самомъ разгарѣ, солнце жгло, какъ огнемъ, и отъ мостовыхъ и каменныхъ стѣнъ обдавало жаромъ, словно изъ только-что вытопленной печки. День былъ праздничный, и всѣ свободные отъ будничныхъ трудовъ горожане тянулись къ озеру, чтобы подышать прохладой, искупаться, покататься на лодочкѣ, поудить рыбу или уѣхать за городъ, чтобы побродить по зеленымъ лужкамъ, по ровнымъ аллеямъ ботаническаго сада или въ кустахъ и рощѣ на дальнемъ озерѣ, гдѣ много тѣни, заброшенности и шума зеленой листвы, навѣвающаго на душу сладкую лѣнь и истому своимъ таинственнымъ шопотомъ. Одни шли семьями, съ корзиночками и бумажными мѣшками, изъ которыхъ выглядывали булки; другіе въ одиночествѣ, съ длинными удилищами на плечахъ и съ садками для рыбы, чтобы посидѣть гдѣ-нибудь въ уединенной тихой заводи озера на маленькомъ ботничкѣ; третьи

шли парочками, счастливые и радостные, съ затаенными мыслями о предстоящемъ tête-à-tête, нетерпѣливо стремившіеся къ пристани, чтобы сѣсть на пароходикъ и поскорѣе быть у цѣли... Разноцвѣтные зонтики женщинъ, ихъ шляпки съ зеленью, цвѣтами и голубоватыми вуалетками, блестящіе, словно лакомъ покрытые цилиндры мужчинъ съ закрученными усами и съ тросточками въ рукахъ, группы студентовъ и гимназистовъ толпились на набережной и заполняли пристань, мостки и лѣстницы, сбѣгавшія съ набережной къ берегу безчисленными деревянными ступеньками... Торговцы-татары, съ загорѣлыми скуластыми лицами, на которыхъ рѣзко сверкали бѣлки глазъ, выкрикивали на ломаномъ русскомъ языкѣ „апельсинъ-а-лимона“, и ихъ плетеныя корзины наполняли воздухъ ароматомъ, напоминавшимъ о странѣ померанцевъ; торговки съ лотками соблазняли публику садовой вишней; булочники совали прохожимъ французскія булки, выкрикивая „гаррячія“; то и дѣло подкатывались пролетки и выбрасывали сѣдоковъ то партіями, то въ одиночку,— и все это торопилось и стремительно рвалось куда-то... А гулъ благовѣста, оповѣщавшій объ окончаніи праздничнаго богослуженія, еще болѣе оттѣнялъ настроеніе радости и ликованія, которыми была проникнута вся эта пестрая картина праздничной толпы, отдыхающей и безпечной...

Пароходикъ „Смѣлый“ приткнулся къ пристани и засвистѣлъ тоненькимъ голоскомъ, пронзительнымъ и задорнымъ. Матросъ бросилъ сперва чалку, потомъ сходни, и публика, толкаясь, смѣясь и вскрикивая, хлынула на пароходъ пестрой волной и разомъ заполнила и палубу, и трапъ, и всѣ уголки, напоминая муравьевъ, облѣпившихъ кусочекъ сахару. Заколыхались зонтики, цилиндры, шляпки, кителя; изъ пароходной трубы, опоясанной красной лентою краски, стали выпрыгивать клубы чернаго дыма, кто-то сказалъ „го-

тово!—и пароходикъ запыхтѣлъ, часто-часто хлопая плицами колесъ по водѣ, отдѣлился отъ конторки и, попыхивая паркомъ и накренившись на бокъ, поплылъ, будоража воду и покачивая скрипучіе мостки ближайшей купальни. Полоскавшія бѣлье бабы выпрямились и стали смотрѣть, заслоняясь руками отъ солнца; мальчуганы замахали съ берега шапками; двѣ-три лодки съ катающимися погнались вслѣдъ за пароходикомъ, чтобы покачаться на волнахъ, и отстали, колыхаясь съ боку на бокъ; изъ купальни вылѣзъ голый человѣкъ и, обнявъ себя руками, сталъ смотрѣть по сторонамъ.

— Не вылазь! Не вылазь!—закричалъ ему съ пристани городовой и добавилъ:

— Голый человѣкъ въ публичномъ мѣстѣ не дозволяется...

Голый человѣкъ кувырнулся въ воду, а пароходикъ, обернувъ корму къ публикѣ, сталъ удаляться, дѣлаясь все миніатюрнѣе...

Въ числѣ пассажировъ „Смѣлаго“ была и Клара. Разряженная, шумящая шелковою юбкою, въ шляпкѣ съ ярко-пунцовой розою и блѣдным бутономъ, красиво оттѣнявшей ея черные волосы, подъ синей вуалью, въ дымкѣ которой красивое лицо ея, слегка подрумяненное и подведенное, казалось такимъ свѣжимъ, молодымъ и здоровымъ, стройная и гибкая, она на первыхъ порахъ останавливала на себѣ общее вниманіе пассажировъ, позируя на трапѣ, но чрезмѣрно свободный жестъ, съ которымъ она вынула изъ портсигара и закурила папироску, выдалъ ее: этотъ жестъ и манера, съ которой Клара курила папиросу, были черезчуръ смѣлы и размашисты, и чуткіе мужчины и женщины сразу поняли, какая это женщина стоитъ, облокотившись о перила. Мужчины стали взглядывать на нее мелькомъ, такъ, чтобы никто этого не замѣтилъ, и въ моменты этихъ взглядовъ въ ихъ глазахъ вспыхивалъ огонекъ жадной любознательности, а женщины

стали брезгливо отворачиваться отъ Клары въ сторону и брезгливо отзывать дѣтей, когда тѣ приближались къ этой пассажиркѣ. Окидывая веселымъ взоромъ публику, Клара встрѣтила нѣсколько знакомыхъ мужскихъ лицъ. Эти двое мужчинъ, одинъ въ цилиндрѣ, а другой въ котелкѣ, такіе чистенькіе, прилизанные, съ полными животами, съ цѣпочками на жилетахъ, сидящіе въ непринужденныхъ позахъ, полныхъ гордости и сознанія своего превосходства, этотъ изящный офицерикъ въ бѣлоснѣжномъ китель и въ узкихъ брючкахъ, старающійся какъ можно красивѣе устроить свои ноги въ рейтузахъ, этотъ студентъ въ очкахъ, угрюмый и глубокомысленный, были знакомы Кларѣ, одни—коротко, другіе,—она не помнитъ, — быть можетъ, лишь мелькомъ прошли мимо въ безчисленной галлереѣ лицъ, угощавшихъ ее коньякомъ, бифштексами, танцовавшихъ съ ней легкомысленные танцы... Клара скользила слегка смѣющимся взоромъ по лицамъ этихъ мужчинъ, и тѣ отводили глаза въ сторону, и никто не подавалъ вида, что когда-нибудь даже встрѣчался съ этой женщиной... Кларѣ было смѣшно и немного досадно, но легкое покачиваніе пароходика убаюкивало досаду, а теплый вѣтерокъ угонялъ ее прочь, и Клара одиноко стояла у перилъ трапа и смотрѣла на гладь озера глазами, полными радости отъ ощущенія свободы, приволья и своей общности съ міромъ, съ этимъ озеромъ, съ голубыми небесами, съ далекимъ сизымъ туманомъ, въ которомъ рисовался зубчатый контуръ ботаническаго сада...

Когда пароходикъ плылъ мимо улицы, обращенной къ озеру задворками, то всѣ вдругъ отвернулись, потому что никому не хотѣлось не только смотрѣть, но даже и думать объ этой улицѣ...

Странная была эта улица!..

Всѣ о ней знали, но никто не говорилъ, и когда случайно имя этой улицы произносилось вслухъ въ

обществѣ, то мужчины обыкновенно дѣлали беззаботно-невинный видъ, начинали что-нибудь напѣвать, а женщины задавали вдругъ вопросы о погодѣ или о чемъ-нибудь совершенно неумѣстномъ и неожиданномъ, а наиболѣе стыдливыя и малонаходчивыя краснѣли и опускали глаза. По характеру своихъ построекъ эта улица ничѣмъ не отличалась отъ другихъ улицъ города и была даже лучше, красивѣе многихъ изъ нихъ: тутъ были дома каменные и деревянные, одноэтажные, двухъэтажные и трехъэтажные, были лавки, трактиры, пивныя, парикмахерскія, и по концамъ улицы, такъ же, какъ на всѣхъ прочихъ, стояли городовые и наблюдали, чтобы все было хорошо и въ порядкѣ. Отличалась она отъ другихъ улицъ только тѣмъ, что днемъ здѣсь было безлюдно, тихо и сонно, и казалось, что эта улица на берегу красиваго озера задремала подъ тихій плескъ набѣгающей на берегъ волны или околдована сказочнымъ волшебникомъ изъ „1001 ночи“: дома смотрѣли пустыми, осиротѣлыми, окна ихъ были закрыты ставнями или плотно завѣшаны темными шторами, словно обитатели этихъ домовъ, какъ летучія мыши, боялись дневного свѣта; не слышалось здѣсь ни людского говора, ни дѣтскаго смѣха и плача, ни стука отворяемыхъ дверей, и только изрѣдка, осторожно выглянувъ сперва въ калитку изъ воротъ, выходилъ какой-нибудь господинъ, штатскій или военный, молодой или старый, и, безпокойно оглядываясь по сторонамъ, уходилъ торопливо прочь, и шаги его, одинокіе и смущенные, какъ-то странно звучали по панели, нарушая мирный сонъ околдованной улицы, пока не пропадали въ отдаленномъ шумѣ городской сутолоки...

Зато по мѣрѣ того, какъ городъ мало-по-малу затихалъ въ вечернихъ сумеркахъ, по мѣрѣ того, какъ онъ успокаивался подъ покровомъ надвигающейся ночи и становился все молчаливѣе и безлюднѣе, когда въ кроткой тишинѣ ночи мелодично перезванивали коло-

кола городскихъ часовъ на крѣпостной башнѣ, вызванивая гимнъ Богу, да караульщики, какъ коростели, начинали перекликаться своими трещотками, — здѣсь пробуждалась жизнь и все росла и росла, превращаясь послѣ полуночи въ шумный, веселый праздникъ. Словно по мановенію жезла того же волшебника изъ „1001 ночи“, странная спящая улица пробуждалась: надъ парадными подъѣздами, крыльцами и воротами зажигались большими пятнами огни красныхъ фонарей, всѣ окна домовъ загорались яркимъ свѣтомъ, и на фонѣ кисейныхъ занавѣсей начинали мелькать силуэты людей, прыгающихъ и кружащихся, какъ бабочки у огня; изъ распахнутыхъ оконъ верхнихъ этажей вырывались на улицу, вмѣстѣ съ потоками свѣта, аккорды музыки—роялей и струнныхъ оркестровъ, наигрывающихъ грустные вальсы, веселыя польки, кадрили изъ русскихъ пѣсенъ, то заунывныхъ, то ухарскихъ,—и шарканье многочисленныхъ ногъ, вмѣстѣ со звонкими голосами женщинъ, грубыми выкриками мужчинъ, со звономъ посуды и необузданнымъ хохотомъ и визгами, сливаясь въ одинъ сплошной потокъ звуковъ, заполняли всю улицу какимъ-то беззаботнымъ весельемъ, искренностью восторговъ и радости,—и тогда казалось, что здѣсь живутъ самые счастливые въ мірѣ люди, жизнь которыхъ, полная радостей, довольства, искренняго веселія, похожа на вѣчный праздникъ, безъ огорченій, безъ болѣзней, безъ слезъ и горя... Кровавые огни, привѣтливо лившіе темно-малиновый свѣтъ свой съ крылецъ и подъѣздовъ на панели, казалось, приглашали войти въ гостепріимно распахнутыя двери, аккорды музыки, то рѣзкіе, то глухіе и мягкіе, съ дребезжащими басами роялей, съ пѣвучей мелодіей скрипки и угрюмымъ контрабасомъ, какъ бы подчеркивающимъ шарканье танцующихъ ногъ, казалось, звали забыть всѣ огорченія жизни и закружиться въ вихрѣ трепещущей радости счастливцевъ, а звонкіе беззаботные

голоса и смѣхъ, казалось, кричали о томъ, что жизнь мимолетна, призрачна, но прекрасна и что съ каждымъ часомъ ея остается меньше... И вся эта улица, съ ея темно-малиновыми фонарями, съ яркими окнами и музыкой, напоминала тогда сказочный городокъ изъ „1001 ночи“... По этой улицѣ бродили, путешествуя изъ дома въ домъ, толпы молодежи и пѣли Gaudeamus igitur, хохотали и прыгали, какъ молодые жеребята, мастеровые бѣгали со свистомъ и гиканьемъ, заводя ссоры и драки, почтенные горожане, покачиваясь, ѣхали на извозчикахъ... Всѣ откликались на призывъ красныхъ фонарей, грохочущей музыки и женскаго смѣха, — и городовые, желавшіе, чтобы все было хорошо и въ порядкѣ, не успѣвали умѣрять восторги, повторяя:

— Потише, господа! Неприлично въ публичномъ мѣстѣ безпорядки заводить!

Эта улица называлась Веселой и представляла собой одинъ сплошной гаремъ города съ полуторастотысячнымъ населеніемъ, куда люди всѣхъ возрастовъ, классовъ и національностей сходились и братались за круговой чашей человѣческой мерзости...

Когда пароходикъ плылъ мимо этой улицы, Клара, вмѣстѣ съ другими пассажирами, отвернулась отъ нея. Она отошла отъ перилъ и сѣла на другой сторонѣ, потому что сегодня она была именинница, ходила къ обѣднѣ въ соборъ и теперь хотѣла, чтобы ничто не напоминало ей о томъ, что она не такая, какъ всѣ другія, пассажирка, и чтобы полнѣе была иллюзія свободы и радости. А эта свобода охватывала все существо Клары радостнымъ трепетомъ и подъ шумъ пароходныхъ колесъ, ритмическій стукъ машины и веселаго торжествующаго потока голосовъ жизни, носившихся надъ гладкой поверхностью озера, уносила Клару въ невѣдомые края. туманнаго счастья... Сегодня Кларѣ хотѣлось быть совсѣмъ свободной, побыть съ собой наединѣ, съ своей собственной радостью и своими ду-

мами, своими ощущеніями и своей волей... Она вдыхала полной грудью влажный воздухъ, подставляла щеки и губы теплому вѣтерку, смотрѣла вдаль, гдѣ въ голубомъ эѳирѣ, сверкая какъ серебряные, кружились голуби,—и ей хотѣлось смѣяться, и въ глазахъ ея искрилась радость жизни, тихая и захватывающая...

На бѣлой рѣшотчатой лавочкѣ, противъ Клары, стояли на колѣняхъ два мальчугана въ матросскихъ синихъ курточкахъ и въ шляпахъ, сдвинутыхъ на затылокъ, съ развѣвавшимися по вѣтру ленточками. Они звонко выкрикивали междометія восхищенія и удивленія, показывая руками на воду, гдѣ, серебрясь чешуей, играла на солнышкѣ мелкая рыбешка, и теребили другъ друга, торопясь подѣлиться впечатлѣніями:

— Смотри! Смотри! Какая громадная!—съ визгомъ радости, подпрыгивая всѣмъ тѣльцемъ, кричалъ старшій.

Отецъ, низкорослый кругленькій человѣкъ въ котелкѣ, стоялъ позади ихъ, съ руками, заложенными за спину, и поучительнымъ тономъ пояснялъ, что руками показывать не годится, а мать, дама полная и добродушная, смотрѣла на всѣхъ ихъ, и улыбка удовольствія шевелила ея губы, а все лицо принимало выраженіе удовлетворенности, спокойствія и гордости. Клара смотрѣла на счастливую мать и думала о томъ, что гдѣ-то она встрѣчала эту даму, но никакъ не могла припомнить... Она прислушивалась къ дѣтскимъ голосамъ, рѣзко раздававшимся въ шумѣ общаго говора пассажировъ, и далекія смутныя воспоминанія начинали волновать ея душу какой-то грустной и вмѣстѣ съ тѣмъ радостной тревогой, словно на нее пахнулъ вдругъ вѣтерокъ изъ позабытаго уголка своего собственнаго далекаго дѣтства и принесъ отзвуки знакомыхъ, полупозабытыхъ мотивовъ... Она смотрѣла на тоненькія, обтянутыя полосатыми чулками, ножки мальчиковъ, на развѣвавшіяся по вѣтру ленточки ихъ шляпъ съ надписями „озорникъ“ и „забіяка“, и невольная улыбка

скользила по ея губамъ, ярко-пунцовымъ отъ губной помады, красивые, бѣлые зубы начинали сверкать подъ вуалеткой, а глаза—смѣяться, озаряя лицо Клары выраженіемъ молчаливаго умиленія... Въ этотъ моментъ Клара была красива и привлекательна, и молоденькій офицерикъ, позабывъ о приличіяхъ, сталъ наскоро пожирать ее своими масляными глазами, потомъ онъ началъ медленно прохаживаться около Клары, покручивать усики и искоса поглядывать на сіяющую улыбкой женщину, напѣвая задумчиво какой-то романсъ со словами: любовь и кровь, слезы и грезы... Когда одинъ изъ мальчиковъ, обернувшись и встрѣтивъ на лицѣ Клары симпатизирующую улыбку, тоже улыбнулся ей въ отвѣтъ, она вдругъ громко разсмѣялась отъ какой-то странной радости, приливъ которой всколыхнулъ и переполнилъ все существо ея.

— Коля! — окликнулъ недовольный голосъ полной дамы.

— Что, мамочка?

— Поди сюда! — строго сказала дама, и лицо ея перестало улыбаться и сдѣлалось строгимъ и сухимъ.

Мальчикъ, подпрыгивая на одной ножкѣ и поправляя на ходу спустившійся чулокъ, приблизился къ матери. Та что-то пошептала ему на ухо, и Клара поняла, что дѣло идетъ о ней, потому что мальчикъ, когда мать шептала ему на ухо, раза два съ недоумѣвающимъ страхомъ въ черныхъ широко раскрытыхъ глазахъ взглянулъ на Клару и больше уже не смѣялся ей... И вся радость, трепетавшая въ душѣ Клары, сразу исчезла, и она, прищуривъ глаза, стала нагло смотрѣть на полную даму, и въ ея взглядѣ было столько насмѣшливой ироніи, что та измѣнила позу и закрылась отъ Клары зонтикомъ, а Клара, закуривъ папироску, положила ногу на ногу, по-мужски, и стала съ какимъ-то ожесточеніемъ курить, далеко выдувая дымъ, а когда докурила, то размашистымъ жестомъ швырнула

окурокъ за бортъ и, перекинувшись своимъ гибкимъ станомъ черезъ перила, стала смотрѣть на воду, подъ колеса, гдѣ крутился водоворотъ и пузырилась бѣлая пѣна, на городъ, который словно улеталъ на коврѣ-самолетѣ назадъ и начиналъ уже казаться безпорядочнымъ хаосомъ цвѣтныхъ крышъ, стѣнъ, колоколенъ и трубъ, все болѣе и болѣе заволакиваемыхъ золотистой пылью дали...

Теперь по обоимъ берегамъ озера тянулись сады, красивые дачные домики, маленькія купальни съ миніатюрными лодочками у мостковъ; порой открывались затоны, обросшіе камышомъ и кустами тальника, заводи, покрытыя зеленой плѣсенью водорослей и пловучими листами водяной кувшинки съ желтыми чашечками... Иногда въ такой заводи прятался одинокій рыбакъ на крошечномъ ботничкѣ, и этотъ рыбакъ въ своей шляпѣ съ нависшими полями казался сидящимъ прямо на водѣ и напоминалъ въ своей сосредоточенной неподвижности огородное пугало... Навстрѣчу попадались большія лодки съ подвыпившими мастеровыми; они встрѣчали пароходъ смѣхомъ и шутками, махали ему руками и что-то кричали, но лодка быстро оставалась за кормой и уносилась назадъ, къ городу, и только гармоника продолжала верещать и всхлипывать, долго преслѣдуя пассажировъ своей надоѣдливой музыкой...

А пароходикъ усиленно пыхтѣлъ и торопился, словно хотѣлъ поскорѣе скрыться отъ этой музыки, и пронзительнымъ свистомъ оглашалъ окрестности, приближаясь къ ботаническому саду. На лѣвомъ берегу поднимались высокой стѣною старыя липы, зеленая рѣшотка ограды рябила своими столбиками и фигурами, и ровныя усыпанныя желтымъ пескомъ аллеи сада то и дѣло виднѣлись черезъ рѣшотку, разбѣгаясь во всѣ стороны длинными, ровными коридорами. Когда пароходикъ обогнулъ зеленый мысъ, на водѣ, у берега

показался плотъ, съ толпившимися на немъ людьми, и красивая узорчатая арка воротъ ботаническаго сада, у которыхъ, словно на стражѣ, стояли два громадныхъ тополя, на сухихъ вершинахъ которыхъ были разбросаны, похожія на шапки, гнѣзда воронъ...

Какъ знакомы Кларѣ эти ворота и эти два тополя! При видѣ ихъ сердце Клары защемило грустью, и на душу повѣяло чѣмъ-то старымъ, далекимъ и дорогимъ... Вершины тополей высохли еще больше и стали походить на метлы, но ворота остались такими же, только теперь они какъ-то уменьшились и утратили свою величавость. Такъ же отъ берега идетъ въ гору дорожка, усыпанная гальками, а по изгороди растутъ лопухи и крапива; такъ же шумятъ липы, и старыя сосны протягиваютъ свои мохнатыя, корявыя лапы, изъ зелени листвы смотритъ крыша дома, гдѣ живетъ садовникъ, труба водокачки и длинная, тонкая жердь, обвитая лентою черной краски... На эту жердь поднимали флагъ, и онъ рвался и шумѣлъ, волнуясь отъ вѣтра... Все по-старому!.. И такъ же тянутся съ берега мостки, а на водѣ стоитъ плотъ, къ которому причаливалъ теперь „Смѣлый“.

— Ботаническій садъ! Кто слѣзаетъ, приготовьте билетики!

Нѣсколько студентовъ спрыгнули съ борта на плотъ, не ожидая полной остановки; то же сдѣлали два юнкера; а потомъ чинно и важно потянулись дамы съ мужьями и безъ мужей, съ дѣтьми и безъ дѣтей, молодые люди въ цилиндрахъ, пріѣзжій изъ села священникъ, на все бросавшій любопытные и недоумѣвающіе взгляды, военный писарь-сердцеѣдъ съ женщиной въ голубомъ шелковомъ платочкѣ съ пунцовыми цвѣточками по угламъ... Клара стояла на трапѣ, смотрѣла на ворота, на тополи, на усыпанную гальками дорожку, на лопухи и крапиву вдоль ограды и, когда пароходикъ засвистѣлъ въ третій разъ, сорва-

лась вдругъ съ мѣста и проворно сошла съ парохода и двинулась слѣдомъ за вереницей людей, тянувшихся къ воротамъ ботаническаго сада... Вѣрно, за ней слѣлили, потому что и юнкера, и студенты, и два молодыхъ человѣка въ цилиндрахъ оглядывались и замедляли шагъ, пропуская впередъ степенныхъ дамъ и мужчинъ, а когда Клара вошла въ арку воротъ, то оказалось, что всѣ эти молодые люди разсѣлись по аллеѣ на первыхъ попавшихся лавочкахъ и ждали, когда пройдетъ Клара. А когда она проходила, то всѣ они смотрѣли на Клару игривымъ и дерзкимъ взглядомъ, а потомъ она услыхала позади сдержанный смѣхъ, искусственное покашливанье, свистъ и мяуканье... Клара свернула направо и скрылась за кустами въ уединенной аллеѣ липъ, огибающей садъ по берегу, гдѣ пахло сыростью, грибомъ и перегнившей листвою, и куда не любила ходить публика, потому что здѣсь пряталось много птицъ, постоянно летали съ карканьемъ вороны и пачкали лавочки... Она торопилась уйти подальше, въ глубь, чтобы остаться одной, подумать и вспомнить прошлое...

Когда-то Клара бѣгала здѣсь босикомъ и пряталась въ кустахъ отъ дѣдушки, служившаго въ саду сторожемъ..

Умеръ дѣдушка! Маленькій домикъ его съ однимъ окошечкомъ остался на старомъ мѣстѣ, скрытый густой сиренью, и тамъ живетъ теперь кто-нибудь другой, чужой и незнакомый. Она туда сходитъ и посмотритъ...

Старыя липы шумѣли своими вершинами, и въ этомъ шумѣ было что-то знакомое и тоскливое, словно и липы тоже вспоминали то время, когда Клара была подросткомъ... Она замедлила шагъ и тихо двигалась съ опущенной головой, прислушиваясь къ шелесту листвы, щебетанію птичекъ и къ смутной тревогѣ и тоскѣ, начинавшей дрожать въ груди ея подъ нахлы-

нувшими воспоминаніями, то неясными, отрывочными, то такими яркими, словно съ тѣхъ поръ прошло не шесть лѣтъ, а только шесть дней... Мягкіе шаги приближающихся людей заставили ее очнуться и поднять глаза; навстрѣчу шла парочка подъ-ручку: дама и молоденькій офицерикъ, тотъ самый, который ѣхалъ съ Кларой на пароходѣ и пѣлъ про кровь и любовь. Эта парочка была всецѣло занята собой и тихо ворковала подъ тѣнью старыхъ липъ, счастливая полнымъ уединеніемъ. Когда Клара поровнялась съ этой парочкой, дама сперва встрепенулась, но сейчасъ же успокоилась и, сощуривъ глаза, гордо обмѣрила Клару съ головы до ногъ презрительнымъ взоромъ порядочной женщины, а кавалеръ ея, красивый, какъ дѣвушка, такой новенькій и блестящій, смутился и растерянно забѣгалъ глазами по сторонамъ: онъ испугался, какъ бы Клара не вздумала узнать его и улыбнуться, а еще больше—какъ бы не назвала по имени „поручикъ Дремковъ“, какъ она называла его обыкновенно, и эта мысль была такъ ужасна, что поручикъ всплыхнулъ, какъ піонъ, и какъ-то съежился, словно ждалъ направленнаго въ него выстрѣла. Но Клара прошла скромная, серьезная, и глаза ея, безразлично скользнувъ по лицамъ встрѣчныхъ, опять опустились въ землю... Въ концѣ аллеи, гдѣ деревья образовали своими сплетшимися вершинами шатеръ, чрезъ который едва пробивались брызги солнечныхъ лучей, гдѣ было сумрачно и одиноко, стоялъ полусгнившій, заброшенный столикъ съ облупившейся краскою, изрѣзанный перочиннымъ ножомъ и усѣянный надписями и иниціалами; однѣ изъ этихъ надписей были восторженны и отмѣчали какіе-то роковые дни и числа, а другія—пошлыя и скабрезныя. На этомъ столикѣ бѣлѣлъ смятый носовой платокъ, тонкій и благоухающій... На сыроватомъ грунтѣ земли, около лавочки, были начертаны, вѣроятно зонтикомъ, полукруги, написано

печатными буквами „да“ и два раза подчеркнуто... Вѣрно, здѣсь сидѣла дама съ поручикомъ Дремковымъ, и она забыла этотъ изящный, обшитый кружевами платочекъ...

Эта лавочка, столикъ и позабытый платокъ, словно спрятавшіеся въ сумракѣ уединеннаго уголка, опять пробудили въ душѣ Клары какое-то неясное воспоминаніе и тоскливое сожалѣніе о чемъ-то такомъ радостномъ и хорошемъ, чего не припомнишь, но что было, непремѣнно было когда-то... Когда?

Клара присѣла на лавочку и стала думать о томъ, что же именно и когда было, но птицы щебетали такъ задорно въ гущѣ листвы, что мѣшали припомнить, и на душѣ оставалось только томительное сладостное и вмѣстѣ тоскливое настроеніе, и думы, неясныя, какъ позабытые сны, плыли куда-то, унося съ собой Клару...

II.

Весной и лѣтомъ въ ботаническій садъ пріѣзжали горожане, гуляли здѣсь, разсматривали цвѣтники и деревья, а потомъ пили чай за маленькими зелеными столиками, разбросанными тамъ и сямъ по кустамъ, подъ тѣнистыми деревьями. У дѣдушки было три самовара и много посуды, и по праздникамъ Ольга съ утра до вечера ставила ихъ, гремя около сторожки прогорѣвшими желѣзными трубами, раздувала дѣдушкинымъ сапогомъ и своими легкими, таскала эти самовары, краснѣя отъ напряженія, къ столикамъ и обратно и носилась легкой поступью съ чернымъ ликированнымъ подносомъ, гремящимъ посудой и ложками,—и всѣхъ плѣняла своей живостью, толстой косой, румянцемъ щекъ и глазами, темно-карими и лукавыми, которые, казалось, всегда чему-то смѣялись и радовались...

— Какъ васъ зовутъ, милая? — спрашивали дамы, когда Ольга ставила на столъ кипящій самоваръ.

— Ольгой,—чему-то улыбаясь, отвѣчала дѣвушка.

— А сколько вамъ лѣтъ?

— Пятнадцать, — вспыхивая, отвѣчала она и, сіяя удовольствіемъ, перебрасывала свою толстую косу съ груди за спину и проворно уходила, мелькая межъ кустовъ зелени простенькимъ ситцевымъ платьемъ. Дамы начинали шумно восхищаться здоровьемъ и миловидностью этой дѣвушки, называли ее „кровью съ молокомъ“ и удивлялись, что она такъ юна и такъ хорошо уже сформирована. А мужчины задумчиво молчали, хотя раньше дамъ замѣчали, какъ отмѣнно сформирована эта вертлявая глазастая дѣвушка.

Объ этой дѣвушкѣ знали и думали очень многіе мужчины въ городѣ и, когда разговаривали между собой о томъ, что хорошо бы съѣздить въ ботаническій садъ, то подмигивали другъ другу и лукаво спрашивали:

— Къ Оленькѣ?

Послѣ чего всѣ смѣялись, хлопали другъ другъ по колѣнкѣ и произносили, цѣлуя кончики пальцевъ:

— Штучка, доложу вамъ!..

Къ Ольгѣ стали приглядываться уже давно, а теперь ее знали всѣ, штатскіе и военные, старые и молодые, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ она пробуждала безкорыстное восхищеніе своей свѣжестью, природной граціей юнаго кокетства и женственности, а въ большинствѣ будила мерзкія вожделѣнія и преступные замыслы, еще несмѣлые и нестройные, но уже вполнѣ опредѣленные. Выбирая самые укромные уголки сада, подальше отъ аллей и отъ дѣдушкиной сторожки, гдѣ-нибудь въ сосенкахъ или кустахъ бузины, мужчины заказывали самоварчикъ и то и дѣло путешествовали къ сторожкѣ и просили Ольгу принести имъ то спичекъ, то кусокъ чернаго хлѣба, то молока, и когда она приносила, то всѣ торопливо, наперерывъ другъ передъ другомъ, говорили дѣвушкѣ комплименты или пошлости:

— Оленька! Ваши чудные глаза меня рѣжутъ безъ ножа!..

— Оля! Я влюбленъ въ васъ!

— Не слушайте его... Оленька!

— Да постой ты! Оля! Почему у васъ всегда оттопырены губки?

— Ну васъ тутъ!—обрывала дѣвушка и намѣревалась уйти, но ее задерживали.

— Постойте! Дѣло!

— Ну, говорите!..

— Ахъ, розанчикъ!..

Дѣвушка уходила, раскраснѣвшаяся, немного какъ будто сердитая, но все же польщенная и довольная открытымъ признаніемъ своей привлекательности.

Офицеры ей нравились больше, чѣмъ штатскіе, но она ихъ боялась, потому что они „очень ужъ позволяли себѣ много“, брали ее иногда за талію или хватали за руку, а она не рѣшалась быть грубой и только дергала плечомъ и просила:

— Оставьте! Серьезно!

— Серьезно?.. Экъ недотрога!

Какой-то отставной генералъ, живущій на пенсію и скучающій отъ нечего дѣлать, иногда появлялся въ саду съ палочкой и „Рокамболемъ“ въ рукахъ. Онъ былъ сѣдъ, глаза у него были красные, слезящіеся, но ходилъ по аллеямъ въ синихъ штанахъ съ красными полосками гордо, съ военной выправкой и кашлялъ громко, словно вскрикивалъ: „здорово, ребята!“ Онъ часто заглядывалъ въ сторожку и разговаривалъ съ дѣдушкой Архипомъ, который, какъ старый солдатъ, благоговѣлъ передъ штанами съ красными полосками.

— Какъ живешь, дѣдъ?—спрашивалъ генералъ.

— Слава Богу, ваше превосходительство!

— Ну, а какъ ты, шустрая, прыгаешь?—спрашивалъ генералъ Ольгу.

Ольга опускала глаза, а дѣдушка, польщенный та-

кимъ вниманіемъ, раболѣпно смѣялся старческимъ смѣхомъ и говорилъ:

— Что ей дѣлается?! Рыщетъ себѣ по саду...

— Вишь, какая выросла... сдобная!.. Хе-хе-хе!—шутилъ генералъ и тыкалъ Ольгу въ бокъ указательнымъ пальцемъ.

— Здоровущая, ваше превосходительство, потому ржаная... Въ деревнѣ вѣдь, подлая, родилась...

— Да, да... Я посижу тамъ, подъ ельникомъ, а потомъ пусть она самоварчикъ мнѣ туда принесетъ...

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Сколько ей лѣтъ?—дѣлая серьезное лицо, участливо спрашивалъ генералъ.

— Пятнадцать только...

— Скажите пожалуйста! А! Гм...

Генералъ осматривалъ Ольгу во всѣхъ подробностяхъ, словно покупалъ лошадь, и въ его слезящихся глазахъ вспыхивало жадное любопытство и еще что-то отвратительное, придававшее всему лицу его выраженіе безпомощной похотливости. Когда Ольга приносила ему въ ельникъ самоваръ, онъ начиналъ какъ-то безпокоиться, выпускать „хе-хе-хе“ и топтался около, пока дѣвушка ставила самоваръ на мѣсто, а потомъ онъ опять тыкалъ ее пальцемъ и говорилъ:

— Вишь, какая сдобная, мягкая... а?!

А когда Ольга приходила, чтобы убрать самоваръ и посуду, онъ трясущимися руками рылся въ кошелькѣ и вынимая деньги, говорилъ:

— Это вотъ дѣдкѣ, за самоваръ... А это тебѣ на платочекъ... да... Сдобная!

И давалъ дѣдушкѣ двугривенный, а Ольгѣ полтинникъ. Ольга вспыхивала отъ радости и хватала руку генерала, чтобы поцѣловать.

— У-у, шустрая! — говорилъ генералъ и, тяжело дыша, гладилъ дѣвушку своей желтой, покрытой на-

дувшимися жилами, рукою по щекѣ, по подбородку и нечаянно касался груди:

— Хе-хе-хе!

Дѣвушка отскакивала и съ задорнымъ дѣвичьимъ смѣхомъ убѣгала за ельникъ, съ зажатыми въ рукахъ деньгами, и смотрѣла оттуда на генерала, который отиралъ съ плѣшивой головы потъ, пыхтѣлъ и говорилъ шопотомъ:

— Ну, чего ты убѣжала? Хочешь получить еще полтинникъ? Будетъ рубль. Поди сюда! Ну поди же!

Ольгѣ очень хотѣлось, чтобы былъ рубль, потому что она, лежа ночью въ сѣняхъ сторожки, часто мечтала о томъ, что когда-нибудь и она купитъ себѣ шляпку и зонтикъ, и тогда будетъ какъ барышня... Но ей было стыдно и смѣшно, и она колебалась, сверкая глазами въ вѣтвяхъ ельника, гдѣ пряталась. Но однажды, когда повторилась только-что описанная сцена, Ольга спросила:

— А что будетъ?

— Да ничего не будетъ, дурочка... Поцѣлую только и больше ничего...

— А больше ничего? — наивно повторила дѣвушка, сдѣлавъ шагъ впередъ. Генералъ говорилъ, что „больше ничего“, и она, наконецъ, рѣшилась заработать рубль и стыдливо приблизилась къ столику. Генералъ оглядѣлся по сторонамъ, а потомъ обхватилъ гибкій станъ дѣвушки и сталъ цѣловать ее, оставляя на щекахъ и на шеѣ свои слюни.

— Будетъ! Будетъ!—тихо вскрикивала Ольга, отталкивая напиравшаго генерала, и, наконецъ, вырвалась, смущенная, вся пунцовая, съ сбившимися на лобъ волосами.

— Скользкая... какъ рыба!..—тяжело отдуваясь, прошепталъ генералъ, потомъ положилъ на столъ серебряный рубль, застегнулъ тужурку и съ серьезнымъ лицомъ, полнымъ прежней солидности и величія, вы-

шелъ изъ ельника и, опираясь на трость, а въ другой рукѣ держа неразлучнаго „Рокамболя“, пошелъ, словно ничего игриваго не совершилось...

Съ этихъ поръ генералъ сталъ ходить въ садъ часто и всегда пилъ въ ельникѣ чай. Но приходившій занимать его разговорами о турецкой войнѣ и о покойномъ императорѣ дѣдушка мѣшалъ ему шалить съ внучкой.

Иногда въ садъ пріѣзжали студенты, чтобы, подъ руководствомъ сопровождавшаго ихъ приватъ-доцента, практически знакомиться съ растительнымъ міромъ, и тогда въ саду былъ настоящій праздникъ. Студенты, покончивъ занятія, оставались въ саду, смѣялись, шутили, бѣгали по аллеямъ, пили чай на большой верандѣ дома, гдѣ жилъ садовникъ, и пѣли свои пѣсни, и весь садъ начиналъ жить какой-то новой, необычной для него жизнью, словно въ него прилетали вдругъ шумной стаей какія-то радостныя птицы изъ далекаго края и заполняли его своими звонкими голосами. Тогда Ольгѣ было много хлопотъ, но зато было и весело, потому что студенты называли ее Ольгой Петровной, разговаривали и шутили съ ней, угощали ее орѣхами и конфектами, а главное—очень хорошо пѣли хоромъ пѣсни, отъ которыхъ Ольгѣ хотѣлось то плясать, то плакать, и которыя влекли ее, какъ что-то сильное и загадочное, и заставляли дрожать ея дѣвичью душу своими мощными красивыми аккордами...

Дѣдушка любилъ студентовъ и всегда приходилъ слушать ихъ пѣсни. Онъ становился обыкновенно у веранды, гдѣ поднималась живой изгородью сирень, уставя въ землю свою сѣдую бороду, слушалъ и вздыхалъ, а когда пѣли грустную и протяжную пѣсню, то шепталъ еще: „о Боже милостивый!..“ А Ольга носилась съ полотенцемъ на плечѣ по террасѣ и едва успѣвала наливать чай и разносить его:

— Ольга Петровна! Еще стаканчикъ!

— Ольга Петровна!..

— О-льга Пет-ровна! — кричали со всѣхъ сторонъ, и дѣвушка, быстро повертываясь, размахивала своей толстой косой, всегда въ такихъ случаяхъ украшенной алой ленточкой, и, ударяя ею кого-нибудь изъ студентовъ, восклицала!

— Ахъ, извините!

У Ольги, какъ и у дѣдушки, было какое-то неясное, не мотивированное уваженіе ко всѣмъ этимъ юношамъ въ мундирахъ съ синими воротниками, въ блузахъ и кителяхъ съ блестящими пуговицами, и студенты казались ей самыми лучшими людьми на свѣтѣ. Когда одинъ изъ нихъ, высокій, съ волнистыми русыми волосами, небрежно накрытыми сдвинутой на затылокъ фуражкою, перегнувшись черезъ стулъ, поймалъ ударившую его косу дѣвушки и украсилъ сорванной въ оранжереѣ бѣлой розою, — Ольга вся затрепетала отъ счастія и гордости и покраснѣла до корней волосъ:

— Ахъ, что вы это!—смущенно сказала она, тряхнувъ своей красивой головкой, но глаза ея были полны благодарности.

— На память!—сказалъ голубоглазый юноша и посмотрѣлъ Ольгѣ въ глаза такъ странно, хорошо, что у нея затрепетало сердце отъ ощущенія, похожаго на то, какое она испытывала, качаясь высоко и быстро на качеляхъ. Этотъ голубоглазый студентъ говорилъ неровнымъ баскомъ, вытягивая слова, и какъ-то молодецки ходилъ, высоко неся свою кудреватую голову. Онъ запѣвалъ въ хорѣ, и всѣ товарищи относились къ нему какъ-то особенно любовно и преданно, хотя многіе изъ нихъ были старше и серьезнѣе его на видъ. Ольга его сразу замѣтила и сразу выдѣлила изъ остальныхъ студентовъ. Узнала, что его зовутъ Савеліемъ и что онъ любитъ чай со сливками. Этотъ Савелій не разъ занималъ мысли Ольги, когда надъ садомъ опускалась теплая лѣтняя ночь, въ аллеяхъ сгущался мракъ, и серебряныя звѣзды сверкали огоньками чрезъ

густую листву сплетшихся деревьевъ, а соловей начиналъ пощелкивать гдѣ-то, оглашая садъ своими звонкими въ тишинѣ ночи и дивными трелями. Ольга задумчиво, со страхомъ шагала по пустыннымъ аллеямъ, усаживаясь гдѣ-нибудь на лавочкѣ, и, прислушиваясь къ голосамъ ночи и щелканью соловьевъ, думала о Савелiи и о томъ, что еслибъ Савелiй, такъ же, какъ генералъ, звалъ ее и просилъ поцѣловать, то ей не надо бы никакихъ денегъ за это... И въ сумракѣ сада передъ ней вставалъ образъ голубоглазаго юноши, а душа опять замирала въ сладостной истомѣ.

— Ольга!—звалъ дѣдушка. Но ей казалось, что дѣдушка гдѣ-то далеко-далеко, и она не отзывалась, продолжая неподвижно сидѣть на лавочкѣ.

— Ольгунька-а!

— Здѣсь!—недовольнымъ голосомъ и тихо отвѣчала дѣвушка, не поднимаясь съ мѣста.

— Ходи въ избу... будетъ рыскать-то,—ворчалъ голосъ дѣдушки совсѣмъ близко, и силуэтъ человѣка колыхался на аллеѣ, приближаясь и вырастая...

— Что ты тутъ дѣлаешь? Звѣзды считаешь?

— Что мнѣ ихъ считать-то!

— Ходи спать!

— Не охота что-то...

Дѣдушка подозрительно оглядывался по сторонамъ, тыкая длинной палкой въ чащу кустовъ, какъ бы кого-то отыскивая, а потомъ спрашивалъ:

— И не скучно тебѣ здѣсь... одной-то?

— А можетъ, не одна? Ты поищи хорошенько,—съ досадой говорила Ольга и, вставъ съ лавочки, тихо и нехотя шла по направленiю къ сторожкѣ. А дѣдушка, шагая позади, время отъ времени потыкивалъ палкой по кустамъ, и покашливалъ, какъ бы все еще не довѣряя, что все благополучно. На порогѣ сѣней дѣвушка останавливалась и, закинувъ руки за голову, потяги-

валась всѣмъ своимъ молодымъ гибкимъ тѣломъ, а старикъ сердился и ворчливо говорилъ:

— Ишь, какъ тебя каряжитъ! Изломаешься. Иди спать!

— Я здѣсь постою маленько...

— Вотъ угомону нѣтъ на дѣвку...

— Сна нѣтъ, дѣдушка... Больно соловьи поютъ...

— Замужъ, видно, охота одолѣваетъ... Вотъ что!

О замужествѣ Ольга не думала, но порою, когда она въ тишинѣ звѣздной ночи вспоминала о Савеліи, то кровь вдругъ приливала ей къ сердцу и къ щекамъ, и все тѣло ея охватывалъ какой-то сладкій порывъ, и ей хотѣлось крѣпко-крѣпко сжать своими сильными, мускулистыми руками Савелія... Но Савелія подъ руками не было, и сладость смѣнялась грустью, тихой такой и пріятной, и Ольга начинала думать о томъ, что когда-нибудь студенты опять пріѣдутъ въ садъ, и тогда она опять увидитъ Савелія. Когда дѣдушка посылалъ ее въ городъ за покупками, Ольга долго бродила мимо университета и все надѣялась, что вотъ сейчасъ изъ-подъ бѣлыхъ колоннъ его выйдетъ Савелій, и она ему поклонится. Студенты шли туда и оттуда, но Савелій не появлялся. Ольгу подмывало спросить каждаго изъ нихъ, не знаетъ ли онъ Савелія, но ей было стыдно спросить, и она медленно отходила прочь, недовольная и печальная... По дорогѣ попадались тоже студенты, и нѣкоторые изъ нихъ шли рядомъ съ нарядными барышнями въ шляпахъ, подъ вуалями, съ раскрытыми зонтиками, въ шуршащихъ юбкахъ. Тогда Ольга думала о томъ, что, быть можетъ, и Савелій гуляетъ теперь гдѣ-нибудь съ такими же нарядными, красивыми барышнями и не посмотритъ на нее, въ платочкѣ, сколотомъ подъ шеей булавочкой, съ загорѣвшими руками, въ толстыхъ, громко стукающихъ каблуками, башмакахъ. И оглядываясь вслѣдъ шуршащимъ юбкамъ, Ольга чувствовала зависть и не-

пріязнь ко всѣмъ этимъ нарядным людямъ. „Дура ты, дура,—говорила она себѣ мысленно,—тоже вообразила, что тебя кому-то нужно!“—и торопилась покинуть городъ и поскорѣе вернуться въ садъ, гдѣ она казалась сама себѣ лучше, красивѣе и умнѣе, чѣмъ здѣсь, въ городѣ... Такъ повторялось нѣсколько разъ, и всегда послѣ этого Ольга ждала, когда генералъ придетъ пить чай, а когда онъ приходилъ, то ждала, когда онъ ее поцѣлуетъ и дастъ еще полтинникъ, а можетъ быть, и рубль: когда она скопитъ достаточно денегъ, то купитъ себѣ шляпу, зонтикъ, хорошіе башмаки и перчатки и тогда пойдетъ въ городъ и, можетъ быть, встрѣтится съ Савеліемъ... И воображая, какъ все это случится, Ольга, лежа въ сѣняхъ ночью, начинала разговаривать:

— Здравствуйте, Савелій... а по батюшкѣ-то и не знаю...

— Мое почтеніе!.. Я васъ не узналъ...

— Это почему же?

— Вы—какъ барышня... И очень привлекательны!..

Дѣдушка выглядывалъ изъ сторожки, удивленно осматривался и спрашивалъ:

— Съ кѣмъ это ты?

— Ни съ кѣмъ. Одна.

— Хм... Ты никакъ помрачаться въ умѣ стала...

— Сна нѣтъ, дѣдушка... Больно соловьи поютъ!..

Генералъ приходилъ, пилъ чай и, цѣлуя Ольгу, дѣлался съ каждымъ разомъ требовательнѣе. Его желтыя руки все крѣпче держали дѣвушку и дольше скользили по ея тѣлу, заставляя Ольгу смѣяться какимъ-то страннымъ смѣхомъ досады и смущенія и оставляя на душѣ ея осадокъ чего-то преступнаго и страшнаго. И однажды случилась бѣда. Пришелъ такъ же, какъ всегда, генералъ, и когда цѣловалъ ее, то хотѣлъ непремѣнно, чтобы Ольга посидѣла у него на рукахъ.

— Ну чего ты юлишь? Вѣдь тебя не убудетъ...

— Оставьте! Нехорошо!.. Увидятъ...

— Ну вотъ такъ... и все! Посиди минутку, одну только минутку... Хочешь покататься со мной на лодочкѣ? а?

— Что вы это! Развѣ дѣдушка пуститъ?!

— У-у, дурочка! Дѣдушка не будетъ знать... Я тебѣ серьги куплю, золотыя... а?

— Оставьте!—вскрикнула вдругъ дѣвушка и вырвалась, вся пунцовая, съ горящими глазами и трепещущей грудью, а генералъ кашлянулъ и сдѣлалъ строгое лицо: изъ-за елокъ удивленно и насмѣшливо смотрѣлъ садовникъ...

— Пріятный вечеръ, г. генералъ!—иронически произнесъ онъ и, обратясь къ сконфуженной и растерянной дѣвушкѣ, добавилъ:

— Ай да Оленька! Подросла?.. А все-таки за такія картинки я тебя съ дѣдушкой отсюда вышибу... Надо знать время и мѣсто...

Садовникъ былъ среднихъ лѣтъ, коротенькій и толстенькій, ходилъ маленькими шажками и говорилъ теноркомъ, такимъ кроткимъ и сладенькимъ. Онъ былъ человѣкъ семейный и набожный и каждый праздникъ ходилъ къ обѣднѣ, ведя за руки своихъ ребятишекъ. Зимой онъ жилъ въ городѣ, а весной перебирался въ садъ, гдѣ имѣлъ приличную квартиру. Онъ былъ очень вспыльчивъ, но отходчивъ, и когда сердился, то все лицо его и шея краснѣли, ножки топали по землѣ часто-часто, а голосъ дѣлался пискливымъ и какъ-то застревалъ въ горлѣ, чрезъ силу выскакивая оттуда вмѣстѣ съ брызгами слюны. Дѣдушка его побаивался и за-глаза называлъ „мразью“, а въ глаза „вашимъ благородіемъ“. Садовникъ зналъ Ольгу съ четырнадцати лѣтъ, и она на его глазахъ изъ дикаго и немного неуклюжаго подростка превратилась въ красивую дѣвушку. Иногда, встрѣчаясь съ Ольгой гдѣ-нибудь

одинъ-на-одинъ, онъ по-отечески похлопывалъ ее по плечу или по щекѣ и приговаривалъ:

— Расти, расти! Вырастешь большая—умная будешь!

Ольга, въ глазахъ которой Павлинъ Егорычъ былъ начальникомъ, страшнымъ во гнѣвѣ и всемогущимъ по отношенію къ ней и дѣдушкѣ, покорно стояла передъ нимъ, опустивъ голову и теребя въ рукахъ кончикъ своей косы, а Павлинъ Егорычъ продолжалъ милостиво шутить:

— А все-таки, хоть ты и заневѣстилась, а если будешь у меня цвѣты рвать, я того!.. Подниму юбку да фюйть! Фюйть!

И Павлинъ Егорычъ посвистывалъ, изображая взмахи розогъ.

Когда Ольга мыла полы на террасѣ и, высоко подоткнувшись и переломившись на-двое, топталась на мѣстѣ,—Павлинъ Егорычъ садился у раскрытаго окна, покуривалъ толстую сигару и наблюдалъ. Въ его маленькихъ свиныхъ глазкахъ сверкалъ огонекъ животнаго, и когда Ольга терла тряпкой полъ подъ самымъ окномъ, то Павлинъ Егорычъ вытягивалъ шею и разсматривалъ торсъ и голыя ноги дѣвушки на близкомъ разстояніи, покручивалъ усы и поминутно оглядывался назадъ, чтобы посмотрѣть—нѣтъ ли поблизости жены... Большаго онъ себѣ не позволялъ, быть можетъ—потому, что считалъ это безнравственнымъ и грѣховнымъ, а можетъ быть, просто потому, что побаивался жены.

Но послѣ того, какъ Павлинъ Егорычъ сдѣлался случайнымъ свидѣтелемъ игривой сцены въ ельникѣ, онъ какъ-то сразу перемѣнился и сдѣлался безнравственнымъ. Встрѣчаясь съ Ольгой гдѣ-нибудь въ укромномъ безлюдномъ мѣстѣ, онъ схватывалъ ее сзади и начиналъ мять, подстерегалъ у водокачки, когда она приходила сюда съ ведромъ, и щекоталъ, и щипалъ, шопотомъ произнося: „съ генераломъ баловаться“, придавливалъ ее своимъ тѣломъ въ воротахъ, когда Ольга

возвращалась съ озера съ мокрымъ бѣльемъ... Ольга бывала такъ обезкураживаема этими внезапными нападеніями всегда серьезнаго и скромнаго Павлина Егорыча, что обыкновенно совершенно терялась и не знала, что ей дѣлать: обороняться, убѣжать или съ покорностью дожидаться конца, и не успѣвала она разрѣшить этого вопроса, какъ Павлинъ Егорычъ былъ уже въ отдаленіи, съ дѣловымъ недовольнымъ лицомъ разсматривалъ цвѣтникъ или стучалъ тростью по жолобу и повелительнымъ тономъ кричалъ:

— Скажи старому хрычу, чтобы вычистилъ жолобъ! Я ему уже говорилъ объ этомъ... Слышишь?

— Скажу, Павлинъ Егорычъ,—смущенно оправляя на головѣ волосы и отряхивая рукой юбку, отвѣчала Ольга.

— Васъ съ дѣдушкой надо во все носомъ тыкать... Этакія свиньи!—тихо заканчивалъ онъ, какъ бы размышляя вслухъ, и проходилъ, окидывая садъ взоромъ заботливаго и бережливаго хозяина...

Это случилось, когда Ольгѣ только-что минуло шестнадцать лѣтъ.

Солнце уже начинало грѣть по-весеннему, и снѣгъ быстро таялъ, сбѣгая шумными, говорливыми ручьями къ озеру, только около изгороди, въ густой чащѣ кустовъ сирени да подъ липами еще бѣлѣли ноздреватые, рыхлые сугробы. На пригоркахъ уже выглянула и зазеленѣла первая травка, фіалки скромно выглянули изъ-подъ снѣга, привѣтствуя яркое солнышко, и мелкія птицы неугомонно затрещали во всѣхъ концахъ сада, словно у нихъ происходили безпрерывныя совѣщанія по какимъ-то важнымъ и спѣшнымъ вопросамъ. Деревья сада наливали почки, почернѣли и заблистали своими глянцевитыми вѣтками; по дорожкамъ сѣрыхъ, словно только-что вымытыхъ, аллей прыгали грачи и съ крикомъ копошились на высокихъ тополяхъ, ремонтируя старыя гнѣзда. На скворечницѣ,

торчавшей на конькѣ сторожки, всегда сидѣлъ скворчикъ и пѣлъ, точно захлебывался отъ радости, и весь садъ былъ полонъ какихъ-то странныхъ шороховъ и движеній, словно земля подъ нимъ начинала пошевеливаться и потягиваться, вздыхать и отдуваться отъ усталости послѣ долгой зимней спячки... Ледъ на озерѣ отсталъ отъ береговъ и опустился, и только далеко, посерединѣ, сверкалъ на солнцѣ ослѣпительнымъ блескомъ и, трескаясь, тяжело ухалъ и боролся съ набѣгавшей волной, которая казалась расплавленнымъ свинцомъ и глухо бурлила гдѣ-то тамъ, въ полыньяхъ и трещинахъ...

Для дѣдушки и Ольги наступило горячее время. Надо было прорыть канавки для стока талой воды, очищать аллеи отъ прошлогодней листвы, сметенной осеннимъ вѣтромъ въ кучки, выгребать мусоръ и грязь изъ жолобовъ, приготовлять заколоченный на зиму домъ садовника, который послѣ Пасхи перебирался сюда съ семействомъ, а пока ежедневно пріѣзжалъ распорядиться и посмотрѣть. Много было хлопотъ и для дѣдушки Архипа, и для его внучки. Они вставали очень рано, одѣвались грязно и весь день и сами работали, и распоряжались тремя поденными рабочими, которые подъ вліяніемъ пригрѣвающихъ солнечныхъ лучей были очень склонны почесываться, мурлыкать пѣсенки и позабывать о томъ, зачѣмъ ихъ, собственно, наняли... А тутъ еще дѣдушкѣ приходилось то и дѣло путешествовать въ городъ, обходомъ черезъ слободу, потому что требовались услуги то плотника, то печника, то маляра, то слесаря, и старикъ горѣлъ въ работѣ и хлопотахъ. Ольга въ подоткнутой юбкѣ, съ голыми руками, съ сбившимся съ головы платкомъ то и дѣло мелькала межъ деревьями, то съ лейкой, то съ ведрами, полными водой, то съ топоромъ, и ея голосъ, звонкій и яркій, какъ солнце, гулко разносился по

саду, вспугивая птицъ, шумными стаями взлетавшихъ при ея окрикѣ изъ кустиковъ.

Однажды, когда дѣдушка ушелъ въ городъ за какими-то гвоздями, пріѣхалъ Павлинъ Егорычъ. Онъ ходилъ по саду въ большихъ сапогахъ, въ теплой курткѣ, съ кривымъ ножомъ въ рукѣ и кричалъ, недовольный и тѣмъ, и другимъ, и третьимъ. Все ему не нравилось: и то, что домъ его плохо обчищенъ, что подъ террасой бѣлѣетъ снѣгъ, что до сихъ поръ не раскрыты ставни, что стекла парниковъ загрязнены и побиты, а на большой аллеѣ стоитъ огромная лужа съ плавающими въ ней прошлогодними листьями. Не понравилось и то, что въ сѣняхъ у дѣдушки стоитъ наметка, а нѣтъ коловорота, который ему понадобился.

— Ставни въ домѣ раскрыть! Олухи!—закричалъ онъ, заглянувъ въ сторожку.

— Бери клещи и топоръ и ступай за мной!

Ольга взяла топоръ и пошла, было, но Павлинъ Егорычъ остановилъ:

— А клещи? Что же клещи?

Клещей тоже не оказалось, и Павлинъ Егорычъ очень разсердился, сталъ ворчать, что на умѣ у нихъ генералы да наметки для рыбы, и что давно бы ихъ съ дѣдушкой надо было выгнать...

Ольга пошла отпирать въ домѣ ставни. Она долго возилась, отдирая поперечныя доски, разогрѣлась, работая всѣми мускулами, покраснѣла и растрепалась. Павлинъ Егорычъ примолкъ, стоя позади, а потомъ сталъ ее научать, какъ вытащить большой крючковатый гвоздь, и самъ принялся помогать Ольгѣ. Они стояли близко, касаясь тѣломъ другъ друга, и Павлинъ Егорычъ сдѣлался добрѣе и началъ смѣяться и шутить, а Ольга, напуганная уже его крикомъ и неудовольствіемъ, обрадовалась, что все обошлось такъ хорошо...

— Ну! Еще! Еще! — приговаривалъ Павлинъ Его-

рычъ, напирая своимъ круглымъ животомъ на дѣвушку, и, когда дверь, наконецъ, распахнулась, чуть было не упалъ вслѣдъ за Ольгой.

Въ пустыхъ комнатахъ было тихо и сумрачно, пахло сосной и краской и вѣяло какой-то таинственностью. Чрезъ щели ставней тамъ и сямъ врывались длинныя ленточки солнечнаго свѣта, и отъ этого здѣсь казалось еще темнѣе, чѣмъ было въ дѣйствительности. Кое-гдѣ по стѣнамъ стояла простая, аляповатая мебель: два складныхъ садовыхъ стула, горбатый диванъ съ сидѣньемъ изъ планокъ дерева, широкая расшатанная кровать съ некрашенными досками; нѣсколько пустыхъ пыльныхъ бутылокъ толпились на подоконникѣ, тутъ же валялся зеленый стаканчикъ изъ-подъ лампадки...

Когда Ольга подошла къ одному изъ оконъ, чтобы отомкнуть замокъ болта, Павлинъ Егорычъ вдругъ обхватилъ ее сзади подъ руки и сталъ мять и куда-то тащить. Ольга вырвалась и кинулась прочь, вся перепуганная и трепещущая, съ сверкающими бѣлками глазъ и съ распустившейся косою.

— Ахъ ты...—задыхаясь, шепталъ Павлинъ Егорычъ и, напомнивъ о генералѣ, началъ бѣгать за Ольгой по комнатамъ, а когда она побѣжала къ выходу, то предупредилъ ее, подскочилъ къ двери и всталъ, растопыривъ руки въ стороны... Лицо его было какое-то странное, улыбающееся, но свирѣпое, маленькіе глаза прыгали въ орбитахъ, а ноздри мясистаго носа раздувались, какъ у лошади.

— И не убѣжишь!.. Нѣтъ!.. — шепталъ онъ, задыхаясь, а Ольга стояла въ отдаленіи и смотрѣла по сторонамъ, спѣшно что-то отыскивая глазами, какъ заяцъ, загнанный собакою въ безвыходное положеніе...

— Что вы, что вы!.. Побойтесь Бога-то!..—говорила дѣвушка, вздрагивая всѣмъ тѣломъ.

Павлинъ Егорычъ опустилъ вдругъ руки и отошелъ отъ дверей...

— А ты, дура, испугалась?!. Что ты себѣ вообразила?—пыхтя и отдуваясь, сказалъ Павлинъ Егорычъ и, подойдя къ окну и отомкнувъ болтъ, съ сердцемъ вытолкнулъ загрохотавшій ставень окна.

Ослѣпительный свѣтъ наполнилъ вдругъ комнату, и щебетаніе птицъ ворвалось туда вмѣстѣ съ весенней прохладой.

— Давно бы надо такъ... сырость!.. Поставь мнѣ самоваръ!—сказалъ Павлинъ Егорычъ, не оборачиваясь.

Ольга осторожно, боясь еще новаго нападенія, прокралась къ двери и пустилась бѣжать. Сердце ея колотилось въ груди, а ноги дрожали, и когда она выскочила въ садъ, то отъ массы свѣта, веселаго шума, говорливаго журчанія ручьевъ и крика грачей, охватившихъ ее со всѣхъ сторонъ, ей сдѣлалось вдругъ такъ весело, что она громко расхохоталась и побѣжала въ припрыжку...

— Дѣдушка-а! — закричала она, направляясь къ сторожкѣ.

Но дѣдушки не было. Она вошла въ сторожку и присѣла къ окну, потому что ноги у нея все дрожали, сердце билось торопливо и тревожно, и во всемъ тѣлѣ чувствовалась слабость, словно она только-что принесла изъ-подъ горы, съ озера, что-нибудь тяжелое.

— Ахъ ты, окаянная сила!—говорила она съ досадою, заплетая свою косу, и ругала Павлина Егорыча самыми обидными словами, какія приходили только ей въ голову.

— Мразь ты пузатая! А? чего выдумалъ, постылый!

И она принялась ставить самоваръ, сердито швыряя трубу и спички. Не прошло и десяти минутъ, какъ подъ окномъ опять послышался сердитый голосъ садовника:

— А хрыча все нѣтъ?

Ольга обернулась: Павлинъ Егорычъ стоялъ подъ окномъ и смотрѣлъ въ сторожку. Лицо у него было строгое и хлопотливое и на немъ столько было недоступности и порядочности, что трудно было даже предположить, чтобы этотъ человѣкъ всего нѣсколько минутъ тому назадъ покушался на гнусное дѣло. Онъ приказалъ принести ему самоваръ въ теплицу, спросилъ, былъ ли сегодня смотритель оранжереи, и, узнавъ, что тотъ заболѣлъ, началъ опять высказывать свое неудовольствіе и на смотрителя, и на всѣхъ людей, называя ихъ свиньями, лѣнтяями и пьяницами, а потомъ пошелъ къ озеру, и было слышно, какъ онъ ругалъ чинившихъ размытый водою скатъ поденщиковъ.

При оранжереѣ была небольшая комната, которую называли конторой. Здѣсь были топки, отъ которыхъ на двѣ стороны расходились трубы для нагрѣванія оранжереи, стояла конторка и большой деревянный столъ, заваленный мѣшечками съ сѣменами, дощечками для надписей, маленькими горшечками и всякой рухлядью. Полъ былъ земляной, плотно утрамбованный и неровный, и непріятно шуршалъ подъ ногами. Изъ этой темноватой комнаты одностворчатая дверь вела въ оранжерею, большую, высокую и свѣтлую, похожую на цѣлый городокъ съ улицами изъ зелени и цвѣтовъ, съ переулками, площадками и глухими углами. Распластавшія свои руки пальмы разныхъ видовъ поднимались выше всѣхъ другихъ растеній и, казалось, благословляли этотъ мірокъ растительнаго царства, щедро обливаемый сверху чрезъ клѣтчатую стеклянную крышу потоками животворящихъ лучей весенняго солнышка. Яркіе цвѣты распустившихся розъ и однолѣтнихъ растеній безчисленными разноцвѣтными пятнами мелькали въ зелени разныхъ оттѣнковъ, и дыханіе ихъ насыщало теплый воздухъ оранжереи тяжелымъ одуряющимъ ароматомъ. Здѣсь было удивительно спокойно и тихо, и казалось, что въ этой тишинѣ со-

вершается какое-то невидимое таинство, и что пальмы прислушиваются къ нему и гордятся имъ...

Ольгѣ рѣдко случалось бывать здѣсь: у нея была слабость къ цвѣтамъ, и потому ее не пускали сюда безъ особой надобности и безъ присмотра. Зато она часто ходила вокругъ оранжереи и, отыскавъ свободный отъ зелени кусочекъ стекла, смотрѣла туда, въ этотъ вѣчный, неувядающій садъ, полный таинственности, красоты и загадочнаго молчанія...

— Вѣрно, въ раю этакъ же было, какъ тамъ,—говорила Ольга дѣдушкѣ, и тотъ соглашался, только дѣлалъ нѣкоторыя поправки:

— Въ родѣ этого... Только, конечно, рай огромадный, десятинъ на двадцать этакъ, а то и побольше...

— Заплутаться можно...

— Еще бы! И опять тамъ все росло и цвѣло безъ хлопотъ. Посреди, это, стояло дерево жизни, а напротивъ—дерево злобы... А, дѣйствительно, сходство есть!—говорилъ Архипъ такъ увѣренно, словно ему доводилось бывать въ раю...

Когда самоваръ вскипѣлъ, Ольга отнесла его въ контору и, опростaвъ и накрывъ салфеткой уголъ большого стола, приготовила чай для Павлина Егорыча. Его здѣсь не было. Вѣрно, онъ все еще ругалъ поденщиковъ, чинившихъ скатъ и изгородь. Ольга заглянула въ слегка пріотворенную дверь въ оранжерею и крикнула:

— Павлинъ Егорычъ! Вы здѣсь?

Но никто не отозвался. Она вошла въ оранжерею и еще разъ, громче, позвала садовника, но опять никто не отозвался. Оглянувшись, Ольга тихо, крадучись, какъ кошка, пошла по влажному земляному полу къ розамъ, выглядывавшимъ изъ-за угла зеленой улицы, потомъ съ бьющимся сердцемъ подбѣжала и, исколовъ второпяхъ руки, сорвала одну изъ нихъ, самую пышную и пунцовую... Но въ этотъ моментъ послышались шаги,

и отворилась дверь въ контору. Ольга проворно шмыгнула за уголъ и вся замерла отъ ужаса, позабывъ даже выбросить изъ рукъ розу. Но, вѣрно, Павлинъ Егорычъ замѣтилъ чрезъ раскрытую дверь клочокъ мелькнувшей въ зелени синей юбки и догадался. Онъ заперъ дверь конторы, покашлялъ, побрянчалъ посудой, тихо напѣвая „тра-ра-ра“. Потомъ онъ снялъ тужурку и шапку и, оставшись въ одной жилеткѣ, вошелъ въ оранжерею и, притворивъ за собою дверь, сталъ снимать съ лавки высокіе олеандры и загораживать ими выходъ. Устроивъ все это, Павлинъ Егорычъ тихо вошелъ вглубь и, наклоняясь и высматривая чрезъ цвѣты и зелень, началъ медленно подвигаться вдоль зеленой улицы. Потомъ онъ вдругъ приподнялся и побѣжалъ черезъ переулочекъ и, завидя синюю юбку Ольги, крикнулъ шопотомъ:

— Опять цвѣты воровать?..

И они молча бѣгали по улицамъ зеленаго города, пока Ольга не попала въ глухой уголъ, откуда нельзя было убѣжать...

Спустя нѣкоторое время, Ольга сидѣла здѣсь на землѣ одна, въ сумракѣ отъ зеленыхъ густыхъ стѣнъ растеній. Рядомъ, на черномъ грунтѣ пола, валялась сорванная ею, смятая роза, нѣсколько лепестковъ которой, какъ пятна крови, краснѣли вокругъ. Надъ ней склонялись со всѣхъ сторонъ вѣтви растеній и бѣлые цвѣты пышно распустившихся магнолій, а она, растрепанная, тихо плакала, закрывъ лицо руками и причитая: „что вы со мной сдѣлали“...

На Пасхѣ Павлинъ Егорычъ опять пріѣхалъ. Онъ былъ одѣтъ нарядно, въ новой сиреневой парѣ, въ бѣломъ галстухѣ и въ новыхъ, сверкающихъ резиною, калошахъ. Снявъ котелокъ, онъ заглянулъ въ сторожку и поздравилъ съ праздникомъ Святого Воскресенія, похристосовавшись сперва съ дѣдушкой, а потомъ съ Ольгой по русскому обычаю: три раза крестъ-на-крестъ.

Дѣдушкѣ онъ подарилъ евангеліе въ красивомъ красномъ переплетѣ съ золотымъ крестомъ и далъ куриное яичко, а Ольгѣ подарилъ деревянное яйцо, въ которомъ оказалось пять рублей денегъ.

— Это ей на шляпку!—сказалъ онъ.

Дѣдушка былъ растроганъ такой добротою Павлина Егорыча и, низко кланяясь, говорилъ:

— Воистину воскресе! Воистину, ваше благородіе!

И дергалъ за рукавъ Ольгу, потому что та плохо благодарила и стояла, опустивъ голову, смущенная и молчаливая.

— Только цвѣты у меня не воруй, озорница!—добавилъ Павлинъ Егорычъ и шутливо погрозилъ Ольгѣ пальцемъ.

— Это ужъ какъ же можно, ваше благородіе? Она ужъ выросла, понятіе имѣетъ... Никогда!...

Павлинъ Егорычъ обошелъ садъ, побывалъ въ своемъ домѣ, гдѣ было чисто и свѣтло, и всѣмъ остался доволенъ. Онъ сказалъ, что на Ѳоминой сюда переѣдетъ на жительство со всѣмъ семействомъ, и очень просилъ еще разъ вымыть полы и окна, а то жена будетъ сердиться, и имъ же будетъ хуже.

— Каждый день надо протапливать!—сказалъ онъ, постукивая тросточкой по печной дверкѣ, и тихо вышелъ, и задумчиво двинулся въ сопровожденіи старика къ воротамъ, гдѣ ждала его лошадь. Ольга отъ нихъ отстала, но когда Павлинъ Егорычъ подошелъ къ калиткѣ, то, вѣрно, заговорилъ что-нибудь о ней, потому что дѣдушка замахалъ рукой и закричалъ:

— Ольга! Ольгунька!

Ольга подошла. Она боялась смотрѣть ему въ глаза и вблизи его чувствовала какой-то страхъ, отъ котораго у ней дрожали ноги и кружилась голова, а когда онъ заговорилъ съ ней, то стала вздрагивать и то блѣднѣла, то дѣлалась пунцовой.

— Ты, смотри, не болтай про то, что я тебѣ подарилъ пять рублей...

Ольга стояла съ краснымъ яйцомъ въ рукѣ, опустивъ низко голову, а дѣдушка за нее сказалъ:

— Языкъ-то прижми! Народъ завистливый... Не скажетъ, ваше благородіе...

И Павлинъ Егорычъ уѣхалъ, мелькая въ рѣшоткѣ ограды своимъ кругленькимъ туловищемъ...

А когда онъ перебрался съ семействомъ въ садъ, то опять сдѣлался скромнымъ, серьезнымъ, хлопотливымъ, опять по праздникамъ ѣздилъ съ ребятишками къ обѣднѣ и возвращался съ просфорой въ рукѣ такой тихій, благоговѣйный и теноркомъ напѣвалъ вполголоса: „яко да царя всѣхъ, подымемъ, подымемъ“, и гулялъ по саду подъ-руку съ женой, которая всегда лѣтомъ была беременна, и почтительно заботился, чтобы тяжелая женщина не споткнулась и чтобы ей было удобнѣе. И тогда казалось, что ничего, что описано выше, не было, а если и было, то тамъ дѣйствовалъ какой-то другой Павлинъ Егорычъ, а совсѣмъ не этотъ.

На праздникахъ Ольга ходила нѣсколько разъ въ городъ покупать себѣ шляпку. Дорогой она присматривалась къ встрѣчнымъ барышнямъ и барынямъ, и всѣ шляпки на нихъ казались ей очень красивыми, но когда она приходила въ магазинъ и начинала выбирать и примѣрять себѣ шляпку, то ей казалось, что всѣ онѣ нехорошія, не такія, не идутъ къ ней, и она была готова расплакаться отъ огорченія. Одна шляпка, впрочемъ, очень ей пришлась по сердцу, но когда ей сказали, что эта шляпка стоитъ двѣнадцать рублей, то она грустно положила ее на мѣсто и попросила „такую же, но только подешевле“. Въ одномъ магазинѣ ее обидѣли:

— Вы, вѣрно, сами не знаете, какую хотите...

— Вотъ „такую, чтобы тутъ было маленько загнуто, а здѣсь—цвѣточекъ...

— Загнуто, загнуто, — передразнилъ приказчикъ, — вкуса у васъ никакого нѣтъ, а тоже „загнуто“!..

— Всякому хочется получше, покрасивѣе,—сконфуженно проговорила Ольга и ушла въ другую лавку...

Наконецъ, шляпка была выбрана, купленъ зонтикъ и еще ботинки на пуговицахъ, какихъ еще никогда не было у Ольги. Возвратившись домой, она долго любовалась собой въ шляпкѣ, вертя передъ лицомъ маленькое кругленькое зеркальце, передѣлывала на головѣ прическу и, поднимая юбки, смотрѣла на ногу, обутую въ новую ботинку на пуговицахъ. Дѣдушка сердился и ворчалъ, говоря, что всѣ эти шляпки и зонтики забросить въ озеро, и что ботинки эти ни чорта не стоятъ, потому что лопнутъ, какъ побѣжишь...

— Все у тебя изъ башки-то теперь вылетѣло. Однѣ шляпки да зонтики остались!—говорилъ онъ, косясь на внучку.

Пришла кухарка отъ Павлина Егорыча и, вертя въ рукахъ Ольгину шляпку, съ завистью спрашивала:

— Почемъ брали?

— Четыре рубля.

— Ай-ай-ай!—говорила та, качая головой и, вздохнувъ, добавила:

— А я вотъ все не могу съ деньгами собраться!..

Приходили смотрѣть шляпку двѣ подруги Ольги изъ слободки и, когда она показывала имъ свои покупки, то онѣ только выкрикивали „ахъ!“ и причмокивали губами. Прижавшись другъ къ другу, онѣ съ умиленіемъ смотрѣли и на шляпку, и на зонтикъ, и на башмаки, а уходя, шептались между собою:

— И гдѣ она, шельма, денегъ взяла?

— Генералъ ей даетъ. Сама сказывала.

— Вотъ счастливая!

— Поцѣлуетъ — и сейчасъ рупь! Поцѣлуетъ — и другой...

— Ну?

— Сама сказывала.

Весна шла быстро, словно торопилась. Въ срединѣ апрѣля почки на деревьяхъ лопнули, и весь садъ опушился нѣжнымъ блѣдно-зеленымъ пушкомъ первыхъ листочковъ, такихъ маленькихъ, яркихъ, словно покрытыхъ лакомъ, и наполнился голосами торжествующей жизни. Солнышко уже высушило сырость и влагу въ котловинахъ и овражкахъ, и аллеи пріятно радовали глазъ желтымъ чистымъ пескомъ, въ которомъ искрились, какъ блестки золота, стекловидныя крупныя песчинки. Молодая травка покрыла всѣ площадки и стала выскакивать всюду, гдѣ было можно и гдѣ нельзя. Въ кустахъ сирени и акацій прыгали птицы, и весь садъ, казалось, пѣлъ и стрекоталъ, и весело улыбался солнцу. Озеро наполнилось до самыхъ краевъ, и лодки, только-что осмоленныя и заново выкрашенныя, скользили по водѣ подъ бѣлыми надувшимися парусами или тихо катились на веслахъ, серебрясь ими на солнцѣ и поскрипывая уключинами. Въ лагеряхъ, расположенныхъ на дальнемъ озерѣ, съ ранняго утра начиналось ученіе: трещалъ барабанъ, и горнистъ выигрывалъ сигналы, а потомъ вдругъ доносился глухой гулъ человѣческихъ голосовъ, похожій на крикъ индѣйскаго пѣтуха... Съ мая опять сталъ гулять по саду отставной генералъ, но покуда чаю еще не пилъ, ходилъ въ шинели на красной подкладкѣ и слегка прихрамывалъ, опираясь на свою палку съ серебрянымъ набалдашникомъ, или садился подъ солнцемъ и грѣлъ спину, щуря слезящіеся глаза, мутные, оловянные... При встрѣчѣ съ Ольгой онъ пріободривался, и опять у него появлялась на нѣкоторое время военная выправка, на пожелтѣвшемъ лицѣ появлялась дряблая улыбка, и нижняя губа отставала и начинала шевелиться, словно онъ шепталъ что-то... Ольга улыбалась и спрашивала, не будетъ ли его превосходительство пить чай, но генералъ отрица-

тельно качалъ головой и, если никого вблизи не было, то говорилъ ей:

— Поѣдемъ куда-нибудь, гдѣ потеплѣе, а здѣсь простудишься... а?—и смѣялся, и кашлялъ.

— Теперь и здѣсь тепло, баринъ.

— А мы найдемъ еще потеплѣе... а?

— Гдѣ же это теплѣе?—вездѣ одинаково, — кокетничая, говорила Ольга.

— А ты поди-ка сюда, поближе! Ну!

Ольга подходила, а онъ говорилъ ей на ухо о чемъ-то, что заставляло ее вдругъ краснѣть и съ хохотомъ убѣгать прочь.

Опять начали пріѣзжать мужчины, въ одиночку, вдвоемъ и компаніями. Иногда они являлись навеселѣ. И опять всѣ они смотрѣли на Ольгу жадными глазами, говорили ей комплименты, похожіе на пошлости, и пошлости, похожія на комплименты, и опять Ольга походила на зайца, а они на собакъ...

Какъ-то разъ, рано утромъ, когда въ саду не было еще публики, Ольга ушла въ липовую аллею и здѣсь, въ самомъ концѣ, сѣла на лавочкѣ у столика съ работой. Наклонившись надъ ней, Ольга пѣла пѣсенку и накладывала по канвѣ крестикъ за крестикомъ, совершенно углубившись въ это кропотливое занятіе. Поднявъ непокрытую голову, она вдругъ страшно растерялась: по аллеѣ къ ней приближался высокій студентъ, въ надвинутой на затылокъ фуражкѣ, изъ-подъ которой выбились и тряслись русыя кудри. Ольга сразу узнала въ немъ Савелія и до того смутилась отъ неожиданной встрѣчи,—которую сама очень часто рисовала своей фантазіей почти такъ, какъ это теперь случилось, — что закрылась работой и вдругъ засмѣялась...

— Здравствуйте, Ольга Петровна! Христосъ воскресе!

— Теперь ужъ поздно,—не поднимая головы, отвѣ-

тила Ольга и, взявшись рукою за грудь, вздохнула и сказала еще:

— Ахъ, какъ вы меня испугали!

Савелій подошелъ вплоть и протянулъ Ольгѣ руку. Она рѣшилась поднять отъ работы голову, и когда глаза ея встрѣтились, то они оба вздрогнули и покраснѣли...

— Вы очень похорошѣли,—тихо произнесъ Савелій, не выпуская руки.

— Вотъ и неправда!—сказала Ольга. — Я очень загорѣла отъ солнца...

И покраснѣла еще больше отъ счастія и смущенія. Савелій хотѣлъ еще что-то сказать, но, вѣрно, и онъ былъ смущенъ и растерянъ, потому что выпустилъ руку Ольги, задумчиво произнесъ „да-а“, постоялъ еще нѣсколько секундъ молча и медленно пошелъ по аллеѣ, крутя въ воздухѣ тросточкой. Ольга смотрѣла ему вслѣдъ, и въ глазахъ ея свѣтились радость и отчаяніе. Зачѣмъ она сказала „поздно“?. Христосуются шесть недѣль, а теперь только четвертая. Зачѣмъ не подвинулась на лавочкѣ, чтобы было мѣсто еще человѣку? Быть можетъ, тогда онъ сѣлъ бы рядомъ, и она сказала бы ему, что давно его любитъ и тоскуетъ по немъ... И не было на ней шляпки, и башмаки были старые, безъ пуговицъ... Все вышло такъ скверно!...

— Дура я, дура,—думала о себѣ Ольга и порывалась встать, догнать Савелія и воротить, но стыдъ приковывалъ ее къ мѣсту, и, провожая глазами фигуру Савелія, мелькавшую чрезъ вѣтки деревьевъ, она шептала, покачивая смуглой головкой:

— Ахъ ты, мой милый, любый ты мой, любый! Все бы отдала, только бы поцѣловать тебя довелось!..

Она сидѣла и ждала, пока снова пойдетъ мимо Савелій, но прошло съ полчаса, а онъ не появлялся. Тогда она, схвативъ со стола нитки, бумажныя полосы и канву, пошла къ сторожкѣ, полная надежды, что

встрѣтитъ Савелія. И она его встрѣтила: Савелій прохаживался взадъ и впередъ по маленькой тѣнистой аллейкѣ съ раскрытой книгою и, покачивая головой, читалъ ее... Онъ даже не замѣтилъ, какъ прошла навстрѣчу Ольга, и все качалъ головой, и это было обидно и горько Ольгѣ...

И опять образъ высокаго голубоглазаго студента сталъ преслѣдовать ея мысли. Надѣвъ новое платье и ботинки съ пуговицами, она брала зонтикъ и уходила по утрамъ подъ липы, къ столику... По дорогѣ она срывала вѣтку сирени и искала въ цвѣтахъ ея чашечки съ пятью лепестками. Такая чашечка находилась, значитъ, Савелій придетъ. Она усаживалась на лавочку и ждала и, ожидая, думала о томъ, какъ она встрѣтится съ Савеліемъ, какъ съ нимъ поздоровается и что ему скажетъ... И всякій разъ, когда въ аллеѣ слышались шаги, Ольга вздрагивала, краснѣла и оправляла платье и прическу. Но Савелій не приходилъ... Ночью она выходила изъ сада къ озеру и, усѣвшись на кручѣ берега, мечтала... Ночь была тихая, теплая, но темная; на синемъ небѣ горѣли звѣзды и, отражаясь, дрожали синими огнями въ озерѣ; въ темнотѣ слышалось, какъ гдѣ-то плескали водой весла невидимой лодки; изъ рощи дальняго озера, гдѣ уже открылись лѣтнія загородныя увеселенія, доносилась музыка, и взлетали въ небо длинными хвостами и глухо лопались ракеты, разсыпаясь брызгами разноцвѣтныхъ огоньковъ; иногда пыхтѣлъ, пробѣгая мимо, пароходикъ, и тысячи искорокъ вылетали изъ его трубы и кружились, какъ огненныя бабочки въ воздухѣ... Порой двигались, мелькая темными расплывчатыми массами, большіе катера, и въ темнотѣ слышался веселый говоръ, смѣхъ и мягкій звонъ струнъ гитары... Вѣтерокъ набѣгалъ, теплый и влажный, лаская разгоряченное лицо Ольги, и старыя липы въ саду начинали о чемъ-то шептаться между собою, заглушая обрывки соловьиной пѣсни... Было немного страшно

сидѣть тутъ одной, надъ чернѣющей подъ ногами бездной съ трепетавшими въ ней огнями звѣздъ, но все-таки было хорошо, страшно хорошо!..

Подперши рукой голову, Ольга слушала голоса весенней ночи и смотрѣла по направленію города, гдѣ тянулось по небу зарево далекихъ электрическихъ и газовыхъ огней. Она думала о томъ, что гдѣ-нибудь тамъ есть Савелій, ея милый Савелій, и рвалась туда всѣми мыслями, всей душой и тоскливо вытягивала тоненькимъ голоскомъ:

„Мой миленькій пріѣхалъ, подарочекъ привезъ:
Колечко золотое, букетикъ алыхъ розъ.
Колечко потерялось, букетикъ мой завялъ...
Ахъ, миленькій дружочекъ, зачѣмъ невѣрный сталъ?“

Потомъ глубоко вздыхала, переводила духъ и съ новой тоской пѣла, словно потихоньку плакала:

„Подайте мнѣ карету и пару лошадей,
Я сяду и поѣду къ разлучницѣ своей!
Разлука ты, разлука, чужая сторона,
Никто насъ не разлучитъ, лишь мать сыра-земля...“

И на рѣсницахъ ея дрожали слезинки...

III.

Клара сидѣла, опершись рукою на столикъ, и прислушивалась къ шуму старыхъ липъ, къ щебетанію птицъ и къ стрекотанію кузнечиковъ. И моментами ей казалось, что она снова сдѣлалась Ольгой и живетъ въ этомъ саду, и что сейчасъ на аллеѣ покажется высокая фигура студента въ молодецки сдвинутой на затылокъ фуражкѣ и скажетъ:

— Здравствуйте, Ольга Петровна!..

Но студентъ не показывался, а вмѣсто него появился молоденькій поручикъ Дремковъ, побрякивающій шпорами и поскрипывающій однимъ сапогомъ,

тотъ самый, который шелъ давеча подъ-руку съ дамой и перепугался, узнавъ Клару.

— Тутъ оставленъ платокъ,—сказалъ онъ, приближаясь къ столу, потомъ оглянулся по сторонамъ и тихо произнесъ:

— Здравствуйте, Кларочка! Вы сегодня чертовски привлекательны.

— Оставьте меня,—громко и холодно сказала Клара, и лицо ея сдѣлалось злымъ.

— Вотъ онъ! Упалъ, оказывается...

Поручикъ Дремковъ нагнулся, чтобы поднять съ земли платочекъ съ кружевами, и вполголоса сказалъ:

— Темпераментъ-то! у-у!..

Клара поднялась съ лавочки и молча пошла прочь, нервно размахивая сложеннымъ зонтикомъ. Лицо ея вдругъ потускнѣло, словно солнце радости, свѣтившее изъ ея глазъ, зашло за тучку, и хмурыя тѣни побѣжали по лицу, сдѣлавъ его сумрачнымъ и печальнымъ. Она прошла боковой аллейкой подъ березы, вѣтви которыхъ обвисли, словно березы плакали, потомъ походила межъ высокихъ сосенъ, съ прямыми, какъ мачты, стволами и съ зелеными кронами наверху, побывала въ ельникѣ, гдѣ попрежнему стоялъ столикъ. Ельникъ сильно выросъ, поднялся, но какъ будто порѣдѣлъ. Остановившись около этого ельника, Клара посмотрѣла на столикъ, на лавочку, и грустная улыбка скользнула по ея губамъ: она вспомнила генерала. Генералъ смутилъ ее убѣжать отъ дѣдушки и столько же отъ Павлина Егорыча, который, проводивъ въ началѣ августа свою жену и семью въ городъ, снова сдѣлался безнравственнымъ и началъ неотвязно преслѣдовать Ольгу своей любовью, но переставалъ давать деньги... Бѣдный генералъ! — онъ нанялъ для нея квартиру, омеблировалъ ее, украсилъ коврами и замысловатыми софами и, пріѣхавъ на новоселье, скон-

чался ночью въ постели, пока Ольга расчесывала передъ зеркаломъ волосы и заплетала косу...

О, это была пренепріятнѣйшая исторія!

Пришлось заявить полиціи. Пріѣхали сыновья генерала,—одинъ штатскій, въ цилиндрѣ и пенснэ, а другой—военный, съ эксельбантами,—нашумѣли, напугали до смерти Ольгу и ея горничную, пригласили судебнаго пристава описывать ковры, мебель и кровать, широкую, изящную, очень дорогую; около дома толпились кучки народа; въ толпѣ говорили, что Ольга отравила генерала. Трупъ его увезли въ закрытой каретѣ, Ольгу оставили въ одномъ платьѣ со шляпкой и зонтикомъ и, пригласивъ въ полицію, выдали ей желтый билетъ. Тогда она еще не понимала, что значитъ этотъ желтый билетъ, и когда ей объяснили это въ полиціи, она расплакалась и съ отчаяніемъ вскрикивала: „Но я не хочу! Я не буду“, а окружающіе мужчины хихикали и перемигивались между собою...

Когда выглянула изъ листвы красная крыша сторожки, сердце Клары вздрогнуло и замерло, въ вискахъ застучало, и она остановилась, чтобы глубже вздохнуть грудью. Кто-то тамъ, въ чащѣ кустовъ, разговаривалъ, — вѣрно, было раскрыто окошечко. Клару потянуло пойти по протоптанной дорожкѣ къ знакомому крылечку, захотѣлось заглянуть внутрь домика, гдѣ она жила когда-то. Но было какъ-то страшно это сдѣлать, и Клара стояла у куста сирени и въ раздумьи чертила по песку зонтикомъ... А чего бояться? Она зайдетъ и спроситъ, не здѣсь ли живетъ старичокъ Архипъ, ей скажутъ, что — нѣтъ, она постоитъ, посмотритъ и уйдетъ. И больше ничего.

Клара рѣшительно пошла къ сторожкѣ и съ трепетомъ вошла на крылечко и заглянула въ сѣнцы. Все по-старому, все!.. И кажется, что сейчасъ появится дѣдушка и заговоритъ своимъ сиповатымъ, ворчливымъ голосомъ: „что, воротилась?“

— Вамъ кого угодно будетъ?—спросилъ, выйдя въ сѣни, человѣкъ въ фартукѣ.

— Дѣдушка... Архипомъ зовутъ... здѣсь живетъ?— задыхаясь отъ волненія, спросила Клара.

— Архипъ? А чѣмъ онъ занимается?

— Сторожемъ, что ли...

— Сторожемъ? гм... этакого нѣтъ.

— Померъ онъ давно, два года ужъ, какъ померъ...— закричалъ изъ комнаты женскій голосъ, и въ дверь выглянула баба съ худымъ, жалобнымъ лицомъ. Она съ любопытствомъ оглядѣла Клару и спросила:

— Если вамъ самоваръ, такъ обождать придется .. Одинъ у насъ самоваръ, а всѣ требуютъ.

Узнавъ, что самовара не надо, женщина ушла въ комнату.

— А гдѣ онъ похороненъ?—спросила Клара, постоявъ нѣкоторое время молча.

— А кто же его знаетъ?! На погостѣ, гдѣ всѣхъ хоронятъ, — отвѣтилъ человѣкъ въ фартукѣ и тоже повернулся спиной...

Клара пошла изъ сѣней и, скользнувъ взоромъ по стѣнѣ, увидала длинные ряды намѣченныхъ углемъ крестиковъ: это покойный дѣдушка записывалъ иногда количество самоваровъ, поставленныхъ ими для публики. У самаго крыльца вросли въ землю и выглядывали своей гладко-обточенной ногами поверхностью два знакомыхъ булыжныхъ камня. Все по-старому! Только нѣтъ дѣдушки и нѣтъ больше Ольги...

Медленно вышла Клара изъ кустовъ, въ которыхъ прятался дорогой домикъ, и нѣсколько разъ оборачивалась и смотрѣла на крышу, выглядывавшую изъ зелени... И у ней было такое чувство, словно она была на могилѣ, въ которой похоронено все дорогое въ жизни, и теперь уходитъ, надолго, быть можетъ навсегда, оставляя эту могилу. Тоска лилась ей въ грудь и хотѣлось разрыдаться, побѣжать назадъ къ крылечку,

упасть здѣсь и плакать, безъ конца плакать... Вынувъ носовой платокъ, Клара приложила его къ глазамъ и закашлялась отъ спазмъ, сжимавшихъ ей горло. Еще разъ оглянулась она на конекъ крыши со скворечницей, покачала головой и пошла прочь...

Близко слышались голоса и шаги гуляющихъ. На первой площадкѣ, около цвѣтника, ходилъ сельскій батюшка въ люстриновой рясѣ и соломенной шляпѣ. Онъ поминутно присѣдалъ, подобравъ полы рясы, къ цвѣтамъ и съ трудомъ прочитывалъ замысловатыя латинскія названія на дощечкахъ, воткнутыхъ въ землю.

— Азаліа магни-фика-а...—говорилъ онъ, вздыхая, и, поднимаясь съ корточекъ, отряхалъ рукою пыль съ рясы.

— Азаліа... хм!.. магни-фика-а... хм!..

Поровнявшись съ Кларой, онъ растерянно улыбнулся, какъ-то пригнулся и сказалъ:

— Виноватъ! Гдѣ здѣсь произрастаетъ кедръ... ливанскій?

— Не знаю, батюшка, — встрепенувшись, отвѣтила Клара.

— Должно полагать, вы тоже пріѣзжая?

За кустами раздался взрывъ хохота: тамъ наблюдали за батюшкой и подслушали его разговоръ съ Кларой о кедрѣ ливанскомъ, и то, что онъ спросилъ объ этомъ кедрѣ и что заговорилъ съ Кларой,—показалось такимъ комичнымъ, что не было силъ удержаться отъ хохота. Захохотали мужчины и женщины вмѣстѣ. Батюшка смутился и, испуганно озираясь по сторонамъ, нѣсколько разъ повторилъ „извините ужъ!“ и исчезъ за деревьями, а Клара, желая миновать веселую компанію, пошла въ сторону и свернула въ длинную аллею коротко остриженныхъ акацій... Эта аллея привела ее къ дому садовника. Теперь передъ этимъ домомъ былъ разбитъ огороженный отъ сада палисадникъ, обсаженный по изгороди рябинами, вишнями и

шиповникомъ. Въ палисадникѣ играли въ крокетъ: тамъ раздавался звонкій стукъ молотковъ о шары, перемѣшанный съ крикомъ и смѣхомъ играющей молодежи. Черезъ рѣшотку ограды было видно, какъ тамъ бѣгали съ молотками въ рукахъ двѣ барышни въ короткихъ платьяхъ, гимназистъ въ парусиновомъ костюмѣ и два мальчугана въ матросскихъ курточкахъ. Когда Клара поровнялась съ калиткой, откуда-то вдругъ вылѣзла маленькая собачонка съ бубенчикомъ на шеѣ и начала визгливо лаять и назойливо лѣзть прямо подъ ноги Кларѣ. Она отмахивалась зонтикомъ, а собачонка лаяла все громче и, казалось, пьянѣла отъ злости и жажды схватить Клару за ногу.

— Бобикъ! Бобикъ!—зазвенѣлъ дѣтскій голосокъ; калитка растворилась, и изъ нея вышелъ мальчикъ въ матросской курточкѣ и началъ гнѣвно кричать, топая ножкой:

— Не смѣть! Не смѣть, говорятъ тебѣ!

Гдѣ Клара видѣла этого мальчика? Ахъ, да это тотъ самый, который ѣхалъ вмѣстѣ съ нею на пароходѣ и смѣялся ей!...

И вдругъ у Клары промелькнула мысль, что, быть можетъ, тотъ господинъ, который стоялъ на трапѣ съ заложенными за спину руками, былъ Павлинъ Егорычъ, а толстая барыня—жена его. Неужели этотъ мальчикъ—Коля, тотъ самый карапузъ съ надутыми губами, котораго водили тогда за двѣ ручки, обучали ходить?

— Какъ зовутъ твоего папу, мальчикъ?

Мальчикъ посмотрѣлъ на Клару и тоже узналъ ее. Онъ проворно шмыгнулъ за калитку и, слегка притворивъ ее, выставилъ свою голову съ любопытными и недовѣрчивыми глазами.

— А мама не велѣла съ тобой разговаривать!—сказалъ онъ.

— Почему же?

— А потому, что ты гадкая и съ тобой стыдно говорить,—отвѣтилъ мальчикъ, растягивая слова и наклоняя голову, но сейчасъ же добавилъ:

— А мы были въ соборѣ и видѣли архирея, а ты нѣтъ!

Въ этотъ моментъ на террасѣ появился господинъ въ чесунчовомъ пиджакѣ, кургузый, съ сверкавшей на затылкѣ лысинкой и закричалъ:

— Дѣти! Обѣдать!

Да, по голосу и по фигурѣ это былъ онъ, Павлинъ Егорычъ...

Странно, что въ сердцѣ Клары не шевельнулось къ этому человѣку и тѣни непріязни. Быть можетъ, время стерло жгучесть стыда и ненависти, и Павлинъ Егорычъ сдѣлался для нея однимъ изъ живыхъ воспоминаній далекаго прошлаго... А, впрочемъ, почему бы Кларѣ особенно ненавидѣть этого человѣка? Развѣ всѣ другіе мужчины, которые видѣли ее чистой и довѣрчивой дѣвушкой, не добивались отъ нея того же самаго? Развѣ всѣмъ имъ нужно было въ ней что-нибудь, кромѣ того, что взялъ Павлинъ Егорычъ? Одни были находчивѣе и смѣлѣе, другіе трусливѣе, а въ сущности, развѣ каждый изъ этихъ мужчинъ, молодыхъ и старыхъ, которые жадно смотрѣли на ея свѣжее, гибкое тѣло, говорили ей скабрезности и двусмысленности, старались касаться своими руками ея груди,— развѣ каждый изъ нихъ не замышлялъ въ душѣ совершить подобную же гнусность?.. Сколько разъ къ ней подсылали разныхъ тетокъ, которыя приглашали ее „на свиданьице“ то съ купцомъ, то съ военнымъ и сулили ей много денегъ за то, чтобы она—какъ выражались эти тетки—„поиграла съ ними“!.. Когда она, плачущая, уничтоженная и жалкая, сидѣла на земляномъ полу оранжереи и причитала: „Что вы со мной сдѣлали“, то Павлинъ Егорычъ сказалъ: „О чемъ ревѣть? не я, такъ другой... все равно“,—и ушелъ...

— Павлинъ Егорычъ!—крикнула Клара: очень ей захотѣлось вдругъ посмотрѣть поближе на это живое воспоминаніе своей юности.

Господинъ въ чесунчовомъ пиджакѣ посмотрѣлъ на изгородь и, завидя тамъ даму подъ зонтикомъ, сошелъ съ террасы и мелкими шажками, напѣвая что-то потихоньку, двинулся къ калиткѣ.

— Это вы, Павлинъ Егорычъ?— улыбаясь, спросила Клара.—Вы меня не узнаете?

— Мм... не имѣю чести,—сказалъ господинъ, всматриваясь въ лицо Клары.

— А помните Ольгу? Съ дѣдушкой Архипомъ жили здѣсь?

— Да, да, да! Припоминаю...—сказалъ Павлинъ Егорычъ и прикрикнулъ на собравшихся у калитки дѣтей, чтобъ тѣ шли обѣдать.

— Что же вамъ, собственно, угодно?—спросилъ онъ холоднымъ тономъ.

— Ничего... Хотѣлось только посмотрѣть...

Переваливаясь, какъ откормленная утка, подошла жена Павлина Егорыча и, выглянувъ изъ-за спины мужа, остолбенѣла отъ удивленія:

— Что это такое?

— Это, дуся, Ольга... Помнишь, жила у насъ въ сторожкѣ?—мягко объяснилъ Павлинъ Егорычъ,—Архипъ-то былъ... Внучка-то его?

Беременная женщина пожала плечами и, прошептавъ: „это—безобразіе“, пошла обратно. Потомъ Клара услыхала еще, какъ она, удаляясь къ дому, думала вслухъ и нарочно очень громко:

— Шляется всякая сволочь...

Тогда Клара не вытерпѣла и въ какомъ-то изступленіи истерическимъ голосомъ крикнула ей вслѣдъ:

— Эй, ты! Честная! Я была такая же! Твой мужъ сдѣлалъ меня сволочью!—и цинично захохотала прямо въ лицо испуганному и растерявшемуся Павлину Егорычу...

— Помнишь вѣдь? помнишь! Притворяешься, мерзавецъ!—сказала она съ хохотомъ.

Павлинъ Егорычъ проворно шагнулъ въ калитку и, защелкнувъ ее на щеколду, закричалъ сторожа:

— Николай! Николай!

— Не ори! Прощай, мерзавецъ!—сказала Клара и пошла по аллеѣ, вздрагивая плечами и размахивая зонтикомъ. Навстрѣчу ей шелъ Николай, озабоченно и торопливо, махалъ рукой по-солдатски и ворчалъ:

— Что тебѣ еще?.. Орешь, словно рѣжутъ...

Клара вышла на площадку, гдѣ были разбиты цвѣтники, и гдѣ гуляла публика. Здѣсь она сѣла на лавочку и стала курить, жадно проглатывая дымъ. Спустя нѣсколько минутъ, показался и Николай. Онъ вышелъ на площадку, посмотрѣлъ вокругъ и сталъ прохаживаться около Клары, почесывая въ загривкѣ.

— Вотъ что, барышня!—началъ онъ, остановившись, наконецъ, передъ Кларой.—Вамъ приказано уйти отсель!

— Что такое?—нахмуривъ брови, спросила Клара и швырнула окурокъ папиросы на клумбу.

— А вотъ то самое, что приказано уйти—и больше ничего! — отвѣтилъ Николай, отыскивая въ цвѣтахъ окурокъ.

— Подите вы всѣ къ чорту!..

Публика съ любопытствомъ смотрѣла на эту сцену, но смотрѣла все-таки исподтишка: тѣ, что сидѣли поблизости, насторожили уши и вкось посматривали на Клару; тѣ, которые проходили мимо, замедляли шагъ и сокращали туръ, чтобы опять пройти мимо...

— Къ чорту? Это какъ же?—съ угрозою спросилъ Николай, уперевъ одну руку въ бокъ.

— Къ чорту! Очень просто!

— А въ такомъ случаѣ, я силкомъ выведу! — сказалъ Николай, дѣлаясь все смѣлѣе и рѣшительнѣе.

— Здѣсь честныя прогуливаются, а вамъ строго воспрещается,—сказалъ онъ, подступая къ Кларѣ.

Сельскій батюшка остановился и, будучи не въ силахъ побороть своего любопытства, спросилъ Николая:

— А дозвольте спросить, что онѣ сдѣлали?

— Неприлично ведутъ себя,—огрызнулся Николай, принявшій вопросъ батюшки за попытку вмѣшательства и заступничества.

— Что же, цвѣты рвутъ или по травѣ ходятъ?— допытывался батюшка.

— Не рвутъ и не ходятъ, а поведеніе у нихъ легкое—вотъ что!—сердито бросилъ Николай, глядя исподлобья на батюшку.

— Хм!— произнесъ тотъ и покачалъ своей соломенной шляпой.

— У насъ честныя прогуливаются, а такимъ не дозволено—вотъ что!

— Ахъ вы, честные! Чортъ съ вами! — громко, со смѣхомъ, сказала Клара и, поднявшись съ мѣста, распустила зонтикъ, подобрала шумящія юбки и быстрой походкой направилась къ выходу.

Николай шелъ позади, наблюдая, куда пойдетъ Клара. Убѣдившись, что она вышла изъ сада, Николай вернулся спокойный, удовлетворенный, съ улыбочкой подъ усами.

Отъ берега дальняго озера тянулись и уходили вглубь холмы, поросшіе орѣшникомъ, ельникомъ, березами и мѣстами образовывали красивыя ущелья, по песчаному дну которыхъ, прыгая черезъ камни и коряги, бѣжали къ озеру говорливые ручьи. Мѣсто это носило названіе Чортовой рощи. Почти у самаго берега поднимался изъ опоясывающей его зелени двухъэтажный домъ-ресторанъ съ легкими галлереями и замысловатыми балкончиками по фасаду; широкая лѣстница, перила которой всегда были украшены гирляндами изъ орѣховыхъ вѣтвей, вела на обширную веранду. Въ ку-

стахъ орѣшника, вокругъ дома, прятались отъ любопытныхъ глазъ бесѣдочки, столики и лавочки; позади дома имѣлась обширная усыпанная пескомъ площадь, гдѣ были расположены: открытая сцена, тиръ, кегельбанъ, кухня и другія постройки. Лѣтомъ Чортова роща служила любимымъ мѣстомъ загородныхъ прогулокъ и увеселеній для всѣхъ горожанъ, потому что удовлетворяла всевозможнымъ вкусамъ публики: кто хотѣлъ погулять въ уединеніи, могъ найти его вдали отъ ресторана, въ овражкахъ, ущельяхъ, въ большой шумливой березовой рощѣ; кто хотѣлъ провести время хотя и на лонѣ природы, но съ нѣкоторыми культурными удобствами, посидѣть въ обществѣ, маленько выпить, закусить, но все это—чинно, благородно, по-семейному,—тотъ могъ пріѣхать пораньше и пораньше уѣхать; а кто искалъ веселаго кутежа и разгула, тотъ могъ пріѣхать позднѣе и до разсвѣта не уѣзжать, а въ крайнемъ случаѣ даже и ночевать здѣсь, въ такъ называемомъ „отдѣльномъ кабинетѣ“... Соотвѣтственно этимъ вкусамъ, и публика на пароходикахъ, поддерживающихъ сообщеніе Чортовой рощи съ городомъ, была разная, смотря по времени: утромъ и послѣ обѣда ѣхали порядочные люди, съ женами, съ семьями, такіе благообразные, степенные и корректные, а ближе къ ночи—тоже порядочные люди, но уже безъ женъ и безъ дѣтей. Въ это же время туда ѣхали и женщины, подобныя Кларѣ, и часто порокъ и добродѣтель еще на пароходикѣ примирялись, подавая другъ другу руки...

Выйдя изъ ботаническаго сада съ затаеннымъ оскорбленіемъ на душѣ, Клара сѣла на пароходикъ и отправилась въ Чортову рощу. Тамъ—свободно, никто не посмѣетъ сказать „уходи“, потому что всякому она можетъ отвѣтить на это: „если не нравится, то уходи самъ“.

Время было послѣобѣденное, а потому на пароходикѣ была по преимуществу добродѣтельная публика.

Клара вела себя здѣсь съ полной непринужденностью, не желая скрывать, что она—нечестная, и бравируя тѣмъ, что она шокируетъ своимъ присутствіемъ всѣхъ этихъ нарядныхъ дамъ и дѣвушекъ, вокругъ которыхъ толпятся мужчины, всѣхъ этихъ добродѣтельныхъ и чадолюбивыхъ матерей, чувствующихъ себя такъ хорошо и спокойно подъ нѣжнымъ заботливымъ покровительствомъ мужей и отцовъ. Среди мужчинъ Клара опять встрѣтила нѣсколько знакомыхъ лицъ и теперь смотрѣла на нихъ пристально и насмѣшливо, возбуждая этимъ нервное безпокойство въ женщинахъ. Благочестивыя физіономіи этихъ знакомыхъ мужчинъ пробуждали въ Кларѣ желаніе встать, подойти къ нимъ, назвать ихъ по имени и протянуть свою руку... „Вотъ былъ бы скандалъ!“—думала Клара и, рисуя въ своей фантазіи глупое положеніе добродѣтельныхъ мужчинъ, начинала смѣяться, громко, задорно, откидываясь на спинку дивана. Всѣ какъ-то притихли и старались смотрѣть на воду или на землю, словно боялись чѣмъ-нибудь привлечь къ себѣ вниманіе этой неприличной женщины, для которой, конечно, нѣтъ ничего святого... И всѣ были очень рады, когда пароходикъ присталъ къ Чортовой рощѣ, и торопливо вышли на берегъ и разбрелись по кустамъ, чтобы поскорѣе избавиться отъ шокирующаго сосѣдства... Клара все это видѣла и отлично понимала, но это ее нисколько не волновало, а только подмывало еще болѣе бравировать... Было около пяти часовъ вечера, когда пароходикъ присталъ къ Чортовой рощѣ, и ресторанъ работалъ еще слабо. Отъ всѣхъ этихъ добродѣтельныхъ и семейныхъ компаній, всегда скуповатыхъ и умѣренныхъ, было мало поживы и хозяину, и лакеямъ: берутъ по одной порціи на двоихъ, чай и сахаръ обыкновенно привозятъ съ собой и требуютъ только посуду и очень много кипятку, долго разсматриваютъ карточку кушаній, закусокъ и винъ и, въ концѣ концовъ, выбираютъ то, что всего

дешевле стоитъ, сидятъ по часу за одной бутылкой пива, норовя прочитать всѣ газеты, и склонны не давать лакеямъ на чай, полагая, что тѣ получаютъ жалованье, и потому нечего ихъ баловать и развращать „чаями“... Впрочемъ, большинство даже не пользуется рестораномъ, а только бродитъ по верандѣ, топчетъ коврики и разсматриваетъ цѣны и объявленія...

И теперь здѣсь было сонно и тихо. Жидко говорили, жидко стучали посудой и какъ-то вяло звонили „человѣка“; оркестріонъ заводили рѣдко, оркестръ молчалъ, не стучалъ кегельбанъ, и открытая сцена оставалась завѣшанной занавѣсью, на которой зіяли дыры, продѣланныя артистами для разсматриванія публики. Лакеи съ салфетками въ опущенныхъ рукахъ тамъ и сямъ торчали въ бездѣйствіи и порой по-ребячески шалили другъ съ другомъ, скучая отъ нечего дѣлать; отдѣльные кабинеты второго этажа почти всѣ были пусты и растворены, и лишь въ двухъ-трехъ изъ нихъ огромнѣйшія семьи почтенныхъ лицъ города кушали съ говоромъ, смѣхомъ, дѣтскимъ крикомъ и звономъ ножей и тарелокъ...

Зато по кусточкамъ звучало мелодичное женское „ау!“ и въ листвѣ мелькали цвѣтныя платья и зонтики, въ березовой рощѣ бродили задумчиво дѣвы и юноши, а подальше, въ овражкахъ, густо заросшихъ орѣшникомъ, прятались счастливыя парочки, и тамъ раздавался шопотъ, хихиканье и поцѣлуи.

Обойдя веранду, Клара сѣла за одинъ изъ столиковъ и потребовала карточку. Поблизости, за такимъ же столикомъ, сидѣли мужъ, жена и сопровождающій молодой человѣкъ. Когда Клара громко застучала ножомъ о пустую тарелку, призывая лакея, всѣ они переглянулись и, дружно поднявшись съ мѣстъ, перешли на другой конецъ веранды. Клара посмотрѣла имъ вслѣдъ и громко расхохоталась...

— Честные прогуливаются,—сказала она и приня-

лась ѣсть, а потомъ позвонила лакея и повелительно, по-мужски, приказала:

— Коньяку и лимонаду!

Время близилось къ вечеру, и ресторанъ замѣтно оживлялся. Все чаще по широкой лѣстницѣ взбирались на веранду гуляющіе, все звонче стучала посуда, и чаще раздавались призывные звонки и постукиванья. Оркестръ проигралъ маршъ, загремѣли шары кегельбана, катясь съ возрастающимъ грохотомъ по накатанной дорожкѣ, пока не раздавался взрывъ отъ столкновенія съ бутылками. Публика занимала бесѣдки и столики въ кустахъ, около ресторана, и туда начали бѣгать лакеи съ подносами и бутылками... Однако, все это были еще люди нравственные и корректные, и всѣ они старательно обходили столикъ Клары, словно боялись испачкать около него свои нарядные костюмы. Клара сидѣла въ одиночествѣ и медленными глотками пила изъ бокала смѣсь коньяка съ лимонадомъ, а въ промежуткахъ смотрѣла съ веранды вдаль, гдѣ золотилось отъ заходящаго солнышка озеро, и за нимъ зеленые луга убѣгали подъ самый горизонтъ... Что-то грустное было въ этомъ золотистомъ отблескѣ озера, и въ розовѣющихъ облакахъ, и въ далекомъ горизонтѣ, гдѣ ярко бѣлѣла колокольня далекой сельской церкви... И эта грусть, разлитая въ природѣ, отражалась въ глазахъ Клары, неподвижно устремленныхъ куда-то далеко-далеко, и въ ея позѣ, поникшей и задумчивой...

Просидѣвъ долго молча, она вдругъ отвернулась отъ озера и, обратясь къ стоявшему вблизи лакею, сказала:

— Хотите со мной выпить?

Лакей всунулъ салфетку подъ мышку и, приблизившись къ столу, перегнулся и спросилъ:

— Что прикажете-съ?

— Какъ васъ зовутъ?

— Петромъ...—сказалъ лакей и, сдѣлавъ паузу, добавилъ:—Семеновичемъ...

— Хотите, Петръ Семеновичъ, выпить со мной?

Физіономія Петра расплылась въ широкую улыбку, онъ кашлянулъ въ ладонь, оглянулся и таинственно произнесъ:

— Теперь намъ нельзя... Нехорошо... А вотъ потемнѣе... съ нашимъ удовольствіемъ... И даже очень пріятно-съ!

— Дуракъ!—громко бросила Клара и, выкинувъ на столъ трехрублевую бумажку, встала и пошла по верандѣ. А Петръ смотрѣлъ ей вслѣдъ и шептался съ другимъ лакеемъ, лукаво подмигивая ему глазомъ.

Стемнѣло. Весь ресторанъ засіялъ отъ электрическихъ лампочекъ, похожихъ на огненные цвѣты; въ высотѣ повисли большіе молочнаго цвѣта шары, проливая далеко вокругъ себя ослѣпительно-яркій синеватый свѣтъ. Въ большомъ залѣ ресторана четыре сестры начали играть на мандолинахъ, а два брата аккомпанировать имъ на гитарахъ. Послѣ сестеръ гремѣлъ и брякалъ цимбалами оркестріонъ, похожій на живое чудовище; потомъ наигрывалъ струнный оркестръ. На открытой сценѣ начали появляться куплетисты въ подержанныхъ фракахъ и шансонетныя пѣвицы въ костюмахъ подростковъ-дѣвочекъ. Строго нравственная публика цѣлыми партіями потянулась къ берегу озера, а на смѣну ей, партіями же, приливала новая, болѣе веселая и свободолюбивая, состоявшая изъ мужчинъ разныхъ возрастовъ и положеній и изъ женщинъ, частью честныхъ, а частью нечестныхъ... Честныя являлись въ сопровожденіи двухъ мужчинъ, одинъ изъ которыхъ назывался мужемъ и состоялъ на охранѣ, а другой—любовникомъ и обслуживалъ. Веранда начала походить на встревоженный муравейникъ, къ которому и отъ котораго безпрерывно ползаютъ хлопотливые муравьи. Отдѣльные кабинеты, бесѣдки и столики въ ку-

стахъ ожили, начали шумно говорить и весело смѣяться. Лакеи стали суетливо сновать между столиками, лавировать между стульями и встрѣчными, сердито перебраниваясь на ходу между собою... Большая площадь предъ открытой сценой стала напоминать озеро шляпъ, фуражекъ, цилиндровъ, волнующееся мелкой рябью... Голоса людей, звонъ посуды, музыка, пѣніе, стукъ кегельбана, стрѣльба въ тиръ, звонки, шарканье ногъ и шелестъ платьевъ—все это мѣшалось въ нестройный хоръ звуковъ, и этотъ хоръ выросталъ и выросталъ по мѣрѣ приближенія къ полуночи... А когда наступила полночь, то разгулъ вспыхнулъ, какъ пожаръ, и объялъ своимъ пламенемъ всю эту толпу людей честныхъ, получестныхъ и нечестныхъ.

„Ахъ, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова!
Ахъ, Москва, Москва, Москва,
Бѣло-каменная“...

неслась съ эстрады пѣснь цыганъ и цыганокъ, и аккорды этой пѣсни разносились надъ толпою, вливая въ сердце этого сфинкса потребность разгула безъ удержу, безъ оглядокъ, безъ счетовъ съ карманомъ и совѣстью... Нечестная женщина окончательно вытѣснила честную и сдѣлалась хозяйкою всего собравшагося здѣсь общества. Теперь эта женщина свободно болтала съ приличными и корректными мужчинами, смѣялась съ ними, кокетничала, распоряжалась у нихъ за столомъ, и никто ея не чуждался и не обходилъ при встрѣчѣ; напротивъ, всѣ порядочные люди, штатскіе и военные, старые и молодые, сами искали общества этой женщины и изливали на нее все свое вниманіе и любезность, стараясь ей нравиться и конкурируя изъ-за нея между собою... Причудливыя шляпы такихъ женщинъ, съ яркими цвѣтами и кричащими фасонами, мелькали всюду, окруженныя котелками, цилиндрами и фуражками; беззаботныя контральто и визгливыя со-

прано такихъ женщинъ сливались съ басами, тенорами и баритонами, и разухабистый хохотъ и визгъ мѣшался съ солиднымъ и положительнымъ смѣхомъ, и казалось, что порокъ и добродѣтель, при звонѣ стакановъ, чокались и пили брудершафтъ... Порядочные люди словно вырвались изъ тюрьмы на свободу и опьянѣли отъ воли и простора. Всѣ преграды полетѣли къ чорту, и цинизмъ, необузданный и грубый, принялся топтать въ грязь все, что люди условились считать основами своей жизни. Исчезли приличія, исчезли всякія нравственныя обязательства человѣка передъ человѣкомъ, исчезли докучливыя требованія долга и не осталось ничего святого...

„Конфетка моя, леденистая!
Полюбила я его, румянистаго!“ –

съ дикимъ визгомъ и присвистомъ пѣлъ хоръ цыганъ и цыганокъ, и толпа стонала отъ восторговъ и глухо ревѣла, колыхаясь предъ открытою сценою...

Потомъ шесть молодыхъ женщинъ, одѣтыхъ въ трико и слегка задрапированныхъ легкими, взлетающими при каждомъ движеніи юбочками, изображали легкую кавалерію; въ киверахъ съ султанами, въ маленькихъ сапожкахъ, снабженныхъ шпорами, онѣ низкими контральтовыми голосами пѣли какую-то легкомысленную пѣсенку, въ тактъ музыкѣ прищелкивали шпорами, отдавали честь по-военному, потомъ вскакивали другъ на друга, всѣ разомъ взвизгивали и, изображая однѣ—лошадей, а другія—кавалеристовъ, маневрировали по сценѣ, стараясь какъ можно болѣе встряхивать юбочками и какъ можно выше поднять ноги.

„Гопъ! Гопъ! Ну пошелъ!
Эй! Посторонись!“—

выкрикивали онѣ и, обращая къ публикѣ свои нагло смѣющіяся лица, вызывали бурю восторговъ. Продѣ-

лавши нѣсколько фигуръ, онѣ, держась за ноги другъ друга, упрыгивали за кулисы... А на ихъ мѣсто выходила солистка въ трико, въ юбочкѣ, составленной изъ узкихъ ленточекъ на поясѣ, и въ корсажѣ, едва сдерживающемъ массивную грудь, и пѣла непристойную шансонетку, сопровождая каждый куплетъ припѣвомъ:

„Ахъ, какъ пріятно въ тетъ-а-тетѣ
Сидѣть въ отдѣльномъ кабинетѣ"...

и, дѣлая томные глаза, указывала голой рукою по направленію ресторана и поводила ногой, и тогда ленточки юбки, вздрагивая, раскрывались и поражали зрителей пріятной неожиданностью, и вся эта женщина въ трико тѣлеснаго цвѣта, съ голой грудью, спиной и руками, казалась совершенно обнаженной.

Мужчины, посмотрѣвъ легкую кавалерію и выслушавъ солистку, возвращались на веранду, къ своимъ столикамъ, съ веселымъ смѣхомъ, шутками и остротами, напѣвая „гопъ! гопъ!" и вслухъ производили оцѣнку тѣла исполнительницъ. Разгоряченные виномъ, красные, съ масляными глазами, они скользили блуждающимъ взоромъ по сторонамъ и разсматривали каждую женщину, попадавшую имъ на глаза, какъ разсматриваютъ лошадей. Съ нѣкоторыми изъ этихъ женщинъ они здоровались за руку и называли ихъ по имени, запросто—Сашей или Машей, какъ своихъ хорошихъ и близкихъ знакомыхъ или родственницъ, съ другими заговаривали и близко знакомились, приглашая присѣсть къ столику... Спросъ на такихъ женщинъ возрасталъ съ каждымъ часомъ...

У Клары тоже были здѣсь знакомые, и они приглашали ее или присѣсть тутъ же, на верандѣ, или поужинать въ отдѣльномъ кабинетѣ, но Клара упорно отказывалась.

Сегодня у ней было какое-то странное настроеніе: гулъ веселья, криковъ, музыки и смѣха, стоявшій на

верандѣ, казался ей чужимъ и далекимъ, и ей не хотѣлось войти въ него и слиться съ общимъ потокомъ. Она сидѣла одна за столикомъ, съ собственнымъ коньякомъ и лимонадомъ, и всѣмъ знакомымъ мужчинамъ отвѣчала съ раздраженіемъ:

— Нѣтъ!

Своимъ одиночествомъ, молчаливой задумчивостью и отчужденностью она сильно интриговала незнакомыхъ, и тѣ поминутно освѣдомлялись у лакеевъ, не знаютъ ли они, что это за „экземпляръ“ посиживаетъ тамъ, у столика, въ полномъ уединеніи, а разговаривая между собою, называли ее вдовой или таинственной незнакомкой.

— Позволите присѣсть?—впиваясь глазами въ Клару, обращался кто-нибудь изъ такихъ любознательныхъ, указывая рукою на свободный стулъ vis-à-vis.

— Занятъ!—холодно отвѣчала Клара, и тотъ, слегка раздосадованный и еще болѣе раздраженный, садился поблизости и, прихлебывая винцо, посматривалъ и ждалъ, чтобы узнать, кто этотъ другой, счастливый конкурентъ, успѣвшій уже абонировать интересный „экземпляръ“... Какой-то полный подполковникъ съ широчайшей шеей и одутловатымъ лицомъ подсѣлъ, не спрашивая разрѣшенія,—и тогда Клара демонстративно встала и велѣла лакею перенести свои бутылки и бокалъ на другой столикъ, оставивъ толстаго подполковника въ полномъ недоумѣніи.

Пріѣхали на лодкѣ студенты. Они заняли въ кустахъ, около ресторана, бесѣдку, и туда имъ потащили два лакея корзину съ пивными бутылками. Тамъ стало такъ шумно, словно вдругъ стая галокъ прилетѣла и, разсѣвшись на кустахъ, начала галдѣть.

Защелкали пробки, зазвенѣло стекло стакановъ, и скоро хоръ молодыхъ, свѣжихъ и сильныхъ голосовъ грянулъ:

„Изъ страны, страны далекой, съ Волги-матушки широкой,
Ради славнаго труда,
Ради вольности веселой собрались мы сюда".

При первомъ же взрывѣ этой пѣсни сердце Клары словно вздрогнуло, и по лицу ея скользнула улыбка. Опершись локтями на перила, она стала смотрѣть въ темноту ночи... Студенческая пѣсня перемѣшивалась съ громоздкой музыкой оркестріона, съ ухарскимъ цыганскимъ хоромъ, съ гуломъ криковъ, смѣха и звона посуды, и Клара усиленно всматривалась по направленію кустовъ, откуда неслась эта пѣсня, чтобы отдѣлить ее отъ всѣхъ другихъ звуковъ... Эта пѣсня звучала для нея слабымъ отголоскомъ чего-то юнаго, чистаго и дорогого, что исчезло и затерялось въ жизни, какъ терялась теперь эта пѣсня въ морѣ безшабашнаго разгула... Когда-то давно, очень давно, студенты пѣли эту самую пѣсню, а она слушала, и сердце ея трепетало, и душа рвалась куда-то, къ невѣдомому счастью!.. И теперь въ аккордахъ этой пѣсни, казалось, воскресало прошлое, и въ памяти возрождался затушеванный временемъ образъ высокаго голубоглазаго студента, котораго звали Савеліемъ и который промелькнулъ въ ея жизни, какъ ласточка въ небѣ, и скрылся, оставивъ на душѣ неясный слѣдъ далекаго воспоминанія о сладкой тревогѣ и благоговѣйномъ трепетѣ первой чистой дѣвичьей любви... Гдѣ теперь онъ, этотъ Савелій? Остался ли въ его памяти хоть маленькій уголокъ для дѣвушки, которую звали Ольгой?.. Нѣтъ. Конечно нѣтъ!..

Встряхнувъ головой, Клара стала пить коньякъ съ лимонадомъ большими, жадными глотками. Окончивъ одинъ бокалъ, она наливала новый и опять пила и курила. Пріятное опьянѣніе начинало кружить ей голову и обволакивать дымкой тумана все, что мелькало въ глазахъ и въ памяти, и грусть постепенно отходила въ сторону, а на смѣну ей являлось желаніе забыться, закружиться въ вихрѣ царящаго вокругъ веселья.

— Слушайте! Студентъ!—сказала Клара, взявъ за рукавъ проходившаго мимо съ озабоченнымъ лицомъ юношу въ студенческой фуражкѣ.

Студентъ остановился и, улыбаясь, подалъ ей руку.

— Хотя мы и незнакомы, но все равно... Можно безъ рекомендацій!...

— Я очень люблю студентовъ, — сказала Клара и показала рукой на стулъ, приглашая молодого человѣка присѣсть къ своему столику.

— Вы не безпокойтесь!—сказала она.—Не думайте, что я пригласила васъ, чтобы приставать и просить объ угощеніи. Нѣтъ... Я такъ, хочу только посидѣть съ вами... Хотите коньяку? Эй! Человѣкъ!

— Что прикажете?

— Подайте еще бокалъ!

— И бутылку пива!—съ достоинствомъ добавилъ студентъ, усаживаясь напротивъ Клары. Онъ былъ въ шинели и когда сѣлъ, то она скатилась съ его плечъ и застряла между спиною и стуломъ; сдвинувъ на затылокъ фуражку, онъ оперся руками о столъ, взглянулъ своими добрыми, умными глазами на Клару и спросилъ:

— Какъ васъ зовутъ?

— Меня?.. Не все ли вамъ равно?.. Кларой...

— Кларой? А по отчеству?

— Нѣтъ, не правда... Клара это такъ... А настоящее мое имя Ольга... да... Ольга Петровна... Я сегодня—именинница! — сказала Клара и предложила студенту выпить:—Чокнемся!

— Съ ангеломъ!

— Мерси... А васъ я знаю, какъ зовутъ... Савеліемъ!

— Нѣтъ. Василіемъ.

— А я буду называть васъ Савеліемъ... Хорошо?

— Если вамъ такъ нравится, пусть буду Савелій... Мнѣ все равно! Почему же вы любите студентовъ?— спросилъ студентъ.

И Клара неровнымъ голосомъ опьянѣвшаго человѣка

стала ему разсказывать, что когда она была честной дѣвушкой, то любила очень студента, котораго звали Савеліемъ; что онъ тоже любилъ ее и былъ ея женихомъ, но ему не позволили жениться на ней, и онъ утопился съ горя въ этомъ озерѣ.

— Вонъ тамъ, на срединѣ!—сказала она, показавъ рукой въ пространство, и глаза ея устремились куда-то вдаль, щеки запылали румянцемъ, и, быть можетъ, она сама вѣрила тому, что говорила...

— Кто же не позволилъ?

— Родители... Я была очень бѣдная и необразованная... Ну, да теперь все равно! Онъ тамъ!—махнувъ рукой, закончила Клара и потянулась съ бокаломъ, чтобы снова чокнуться со студентомъ.

— Выпьемъ, Савелій!.. Да! Вы, ей-Богу, очень похожи на Савелія!—сказала она и посмотрѣла на студента глазами, полными восхищенія и нѣжности.

Подошелъ лакей и, наклонившись къ уху Клары, сказалъ, что одинъ очень порядочный гость проситъ ее въ отдѣльный кабинетъ.

— Очень серьезный господинъ, за деньгами не постоитъ!—дополнилъ лакей рекомендацію гостя.

— Скажи, чтобы убирался къ чорту! –съ нервнымъ смѣхомъ отвѣтила Клара и опять стала смотрѣть на студента. Въ глазахъ ея вспыхивалъ огонекъ радости, и она испытывала такое чувство, словно нашла вдругъ то, что считала навсегда потерянным.

— А право же, вы очень похожи на Савелія!.. Очень!

— Мимо нѣсколько разъ проходилъ тотъ самый толстый подполковникъ, который подсѣлъ давеча къ столику Клары безъ разрѣшенія и который былъ страшно изумленъ, когда Клара пересѣла послѣ этого на другое мѣсто. Онъ скашивалъ глаза въ ея сторону и покашливалъ основательно и серьезно, и, вѣрно, его лакей и называлъ тѣмъ „серьезнымъ“ гостемъ, который

приглашалъ Клару въ отдѣльный кабинетъ. На веранду шумной гурьбой ввалились студенты изъ бесѣдки. Они долго бродили толпою взадъ и впередъ, отыскивая мѣсто, гдѣ можно было бы расположиться компаніей, но мѣстъ не было. Тогда одинъ изъ нихъ обратился къ Кларѣ и спросилъ:

— А что, господа, не разрѣшите ли намъ пристроиться около вашего столика?

— Очень рады!—отвѣтила Клара.

Молодежь притащила откуда-то стулья и со смѣхомъ и оживленіемъ разсѣлась вокругъ столика, оцѣпивъ его плотнымъ полукольцомъ и загородивъ своими спинами отъ остальной публики. На столѣ быстро выросла толпа пивныхъ бутылокъ, и всѣмъ сдѣлалось очень весело. Искренній хохотъ, веселыя шутки, юныя лица, оттѣнокъ нѣкоторой небрежности въ костюмахъ, движеніяхъ и жестахъ, близость въ отношеніяхъ и задушевность въ спорахъ придавали этой компаніи характеръ какой-то дружины вольныхъ людей и останавливали вниманіе и симпатіи окружающей публики. Клара сидѣла въ серединѣ, наливала студентамъ пиво, и улыбка удовольствія не сходила съ ея раскраснѣвшагося лица. Скрывая, обыкновенно, свое имя подъ псевдонимомъ Клары, теперь она хотѣла быть Ольгой Петровной и всѣмъ студентамъ сообщала, что сегодня—день ея ангела, а тѣ ее поздравляли и пили за ея здоровье пиво. Было что-то общее съ тѣмъ временемъ, когда студенты пріѣзжали въ ботаническій садъ, а Ольга разливала имъ чай,—и Кларѣ было хорошо и хотѣлось, чтобы все это продолжалось долго, безконечно...

Тотъ, котораго она упорно называла Савеліемъ, всталъ и началъ запѣвать, и Кларѣ казалось, что запѣлъ настоящій Савелій, и что вернулось все прежнее, а того, что случилось потомъ, вовсе не было...

„Наша жизнь коротка, все уноситъ съ собой,
Наша юность, друзья, пронесется стрѣлой“...

гордо выпрямившись, пѣлъ дребезжащимъ баскомъ этотъ новый Савелій и какъ-то потряхивалъ головой и закатывалъ глаза подъ лобъ, словно испытывалъ всю суетность жизни, а хоръ дружно, очень громко, съ какимъ-то ожесточеніемъ подхватывалъ:

„Проведемте-жъ, друзья, эту ночь веселѣй,
Пусть студентовъ семья соберется тѣснѣй!“

И стеклянныя двери, и окна, и веранда, и самый домъ, казалось, вздрагивали при каждомъ взрывѣ молодыхъ голосовъ, и пѣсня, покрывая весь пестрый хаосъ ресторанныхъ звуковъ, уносилась въ темную ночь, летала надъ спящимъ озеромъ и убѣгала куда-то далеко-далеко... Одушевленіе пѣвцовъ росло съ каждымъ новымъ куплетомъ, лица ихъ дѣлались серьезными, напряженными.

Клара вдругъ встала и, ухарски взмахнувъ рукою, врѣзалась въ хоръ мужскихъ голосовъ своимъ рѣзкимъ, высокимъ сопрано.

И отъ ея голоса хоръ, казалось, увеличился вдвое и сдѣлался болѣе гибкимъ и плавнымъ. Этотъ голосъ точно плакалъ подъ аккомпаниментъ мужскихъ голосовъ и на самыхъ высокихъ нотахъ дребезжалъ колокольчикомъ и позднѣе всѣхъ замиралъ, улетая на озеро... Клара сняла шляпку; изъ головы ея выскочили гребешки и шпильки, и коса, распустившись, упала ей на спину. Лицо ея, озаренное улыбкой, съ глазами влажными и сверкающими подъ слегка сдвинутыми бровями, казалось вдохновеннымъ, полнымъ смѣлости и удали, жажды простора и размаха...

Публика, собираясь съ разныхъ концовъ, останавливалась около студентовъ; кое-кто подтягивалъ; взоры всѣхъ искрились удовольствіемъ, и шеи вытягивались, чтобы увидѣть, что дѣлается тамъ, въ серединѣ... Въ числѣ любопытныхъ былъ и толстый подполковникъ: онъ держался за руку какого-то штатскаго господина

въ котелкѣ, и оба они старались пролѣзть поближе, тискаясь слѣдомъ за приставомъ, который стремился туда же и просилъ публику разойтись. Но публика вмѣсто того, чтобы расходиться, все росла и сгущалась... Вдругъ запѣлъ одинъ женскій голосъ:

„Мой миленькій пріѣхалъ, подарочекъ привезъ:
Колечко золотое, букетикъ алыхъ розъ!“

Приставъ засвисталъ, но громъ аплодисментовъ заглушилъ его свистки и сердитые крики.

„Разлука ты, разлука, чужая сторона,
„Никто насъ не разлучитъ, лишь мать сыра-земля!“

Глаза Клары были заволочены дымкой опьяненія, голосъ дрожалъ и словно плакалъ: прядь волосъ упала ей на щеку; руки, опущенныя внизъ, крѣпко сжимали спинку стула...

— Не велятъ пѣть? — задорно спросила она, оборвавъ пѣсню.

— Да-съ! Прошу прекратить это безобразіе!

Клара расхохоталась и, отпивъ изъ бокала, насмѣшливо спросила:

— Развѣ я пою плохо? Мнѣ хлопаютъ, всѣмъ нравится!..

Студенты загородили Клару и отталкивали полицейскихъ чиновниковъ. Ссора разгоралась, готовая перейти въ драку. А въ воздухъ со свистомъ взлетали ракеты и лопались въ синемъ небѣ, разсыпаясь разноцвѣтнымъ дождемъ, съ открытой сцены доносился голосъ женщины, вытягивающей подъ музыку:

„И позабывъ высокій санъ, онъ сѣлъ со мною на диванъ!“...

— Я, господинъ приставъ, именинница, и мнѣ хочется пѣть!—сказала Клара, и вся публика разразилась хохотомъ, и опять посыпались аплодисменты.

Приставъ говорилъ, что здѣсь много порядочныхъ

людей, что въ публичномъ мѣстѣ такое безобразіе не дозволяется и преслѣдуется закономъ, а Клара безумно хохотала ему въ лицо и говорила:

— Гдѣ порядочные люди? Я ихъ не вижу!..

А когда приставъ взялъ ее за руку, она грубо оттолкнула его въ грудь рукою и крикнула на всю веранду:

— Руки прочь!

Приставъ отшатнулся; раздался опять дружный взрывъ хохота, а потомъ случилось что-то странное, неожиданное, чего никто не могъ понять:

— Вотъ порядочный человѣкъ! Вотъ! — закричала Клара пьянымъ голосомъ, показывая пальцемъ на штатскаго господина въ котелкѣ, стоявшаго подъ-руку съ толстымъ подполковникомъ впереди другихъ.

— Здравствуй! Будь здоровъ! — завизжала вдругъ Клара, и звонъ разлетѣвшихся осколковъ пивной бутылки смѣшался со стономъ поникшаго окровавленной головой человѣка.

Когда этого человѣка поддержали, подхвативъ подъмышки, повели куда-то, Клара усталымъ голосомъ сказала:

— Мнѣ показалось, что это тотъ, богомольный изъ сада пріѣхалъ, а это—совсѣмъ не онъ, другой!.. Ну да чортъ съ вами!—Всѣ вы одинаковые...—тихо добавила она и махнула рукой. Потомъ она сѣла на стулъ и, опустивъ голову на руки, стала плакать и пьянымъ голосомъ настойчиво спрашивать кого-то:

— Что вы со мной сдѣлали? Что вы сдѣлали со мной?

Приставу принесли чернила и бумагу: ему надо было записать свидѣтелей. Но никому изъ порядочныхъ людей не хотѣлось даже косвенно фигурировать на судѣ въ такомъ грязномъ процессѣ, и къ кому приставъ ни обращался, всѣ говорили одно и то же:

— Нѣтъ, ужъ увольте-съ!

И, поворачивая спину, торопились уйти и затеряться въ толпѣ... Студенты тоже разбрелись. Клара осталась за столикомъ одна. Она сидѣла, такая жалкая, ничтожная, вздрагивала плечами и терла рукой глаза. А потомъ пришли городовые и увели ее съ веранды. И опять заиграла музыка, опять заговорили, засмѣялись, зазвенѣли посудой. Опять лакеи забѣгали во всѣ стороны съ салфетками, съ бутылками и подносами.. Съ эстрады снова донесся хоръ цыганъ, съ визгомъ и свистомъ выкрикивающихъ слова какой-то ухарской пѣсни...

Только долго еще темноту ночи прорѣзалъ женскій вопль, и отчаянные призывные крики „Савелій! Савелій!“ непріятно дергали по нервамъ, пока не замерли гдѣ-то въ темномъ пространствѣ...

ЛУННАЯ НОЧЬ.

I.

Черный ангелъ, печальный и кроткій, призрачной тѣнью скользитъ по безконечно-длиннымъ, закутаннымъ сумерками ночи аллеямъ кладбищенскаго парка... Чрезъ густую листву деревъ пробиваются серебристыя нити луннаго свѣта и пугливо трепещутъ по дорожкамъ, по стволамъ высокихъ, бѣлѣющихъ во мракѣ березъ, по густой травѣ и по дрожащимъ листочкамъ молодой поросли... И по мѣрѣ того, какъ черный ангелъ приближается,—лунный свѣтъ меркнетъ, убѣгаетъ далеко впередъ или прячется по сторонамъ, въ густыхъ зарослях запущеннаго парка, и ночь разстилаетъ предъ небожителемъ свой черный покровъ, скрывая отъ страшныхъ взоровъ его все, что одарено жизнью: деревья и листья, траву и цвѣты, ночныхъ мотыльковъ и спящихъ въ чащѣ вѣтвей птичекъ, и летучую мышь, упавшую изъ-подъ крыши церковной колокольни и съ бѣшеной быстротою несущуюся надъ паркомъ и надъ облитыми луннымъ сіяніемъ мраморными гробницами и памятниками, и всякую тварь и былинку... И по мѣрѣ того, какъ вѣстникъ смерти приближается,—вѣтерокъ стихаетъ и перестаетъ играть съ листьями и цвѣтами, сверчокъ оканчиваетъ свою жалобно-дребезжащую пѣснь, трусливая ящерица замираетъ подъ лопухами у корней стараго дуба, а переползающая дорогу змѣя притворяется мертвою... Лишь старая цер-

ковь, что поднимается своею колокольнею надъ густымъ паркомъ, не смущается страшнымъ гостемъ: молчаливая и торжественная, какъ всегда, она стремится въ высь къ небу; голубоватый отблескъ луннаго свѣта играетъ на серебряныхъ куполахъ ея; кресты сіяютъ, какъ звѣзды на синемъ бархатѣ небесъ, и старыя стекла забранныхъ желѣзными рѣшотками оконъ отливаютъ разноцвѣтными огнями и искрами, словно въ эту глухую ночь въ храмѣ зажигаются невидимою рукою тысячи свѣчъ предъ суровыми ликами Божьихъ угодниковъ и святыхъ мучениковъ...

Когда на горизонтѣ небесъ сверкнетъ первая полоска разсвѣта, черный ангелъ развертываетъ свои крылья, встряхиваетъ ими и темнымъ призракомъ взлетаетъ въ высь; тамъ онъ исчезаетъ въ блѣднѣющихъ сумеркахъ ночи...

Свѣтлѣетъ горизонтъ, тухнутъ одна за другою звѣзды, легкія тучки начинаютъ румяниться утренней зорькой, а потомъ вдругъ солнце брызнетъ яркимъ потокомъ горячихъ лучей, раскраситъ землю въ яркія краски и заставитъ ее страстно трепетать въ своихъ жгучихъ объятіяхъ...

И тогда свѣтлый ангелъ незримымъ призракомъ прилетаетъ въ густой паркъ кладбища,—и этотъ садъ мертвыхъ наполняется голосами жизни... Весело поетъ въ кустахъ бузины безпечный чижикъ; старый, доживающій послѣдніе дни сторожъ кладбища мурлыкаетъ, присѣвъ на лавочку, пѣсенку; кузнечикъ задорно стрекочетъ въ густой, сочной травѣ, и звонко перекликаются серебристые голоса дѣтей, безпечно, какъ птички, играющихъ въ этомъ страшномъ саду чернаго ангела... Гулко, звонко стучитъ молотокъ о камень, приготовляемый для надгробнаго памятника; шумитъ листва подъ дыханіемъ теплаго лѣтняго вѣтра, и распустившіяся на могильномъ холмѣ ярко-пунцовыя розы киваютъ привѣтливо на всѣ стороны.

Свѣтлый ангелъ плачетъ на могилахъ, и его горячія слезы, падая на землю, проникаютъ въ ея нѣдра, и отъ этихъ животворящихъ слезъ медленно, но неизмѣнно пробуждается изъ тлѣна новая жизнь и жадно прислушивается къ шопоту листвы деревъ угрюмаго парка, къ веселой и дружной пѣснѣ птицъ, къ ароматному дыханію розъ и къ шороху трудолюбиваго муравья, съ усиліемъ перетаскивающаго по прошлогоднимъ листьямъ свое сокровище — громадное бѣлое яйцо...

И въ то время, когда ворота кладбища растворяются, чтобы принять добычу чернаго ангела, въ то время, когда печальный погребальный перезвонъ на колокольнѣ плачетъ по новой угасшей жизни, щемя и надрывая сердце живыхъ людей своимъ рѣзкимъ диссонансомъ, когда плачъ и стенанія входятъ въ ворота кладбища, гдѣ въ память безчисленныхъ страданій и мимолетныхъ радостей человѣка насыпается новый холмикъ свѣжей влажной земли,—тогда старый, доживающій послѣдніе дни своей земной юдоли сторожъ, затворяя ворота, глубоко вздыхаетъ, смотритъ въ безстрастное молчаливое небо и, прислушиваясь къ грустнымъ аккордамъ разносящагося подъ крышей зелени погребальнаго пѣнія и къ веселому щебетанію птичекъ, крестится и думаетъ:

— Велика премудрость Твоя, Господи!..

Полночь...

Лунный свѣтъ серебритъ вершины стройныхъ тополей и играетъ на вздрагивающей листвѣ осинъ и скользитъ по кустамъ, падая на траву и цвѣты парка. На полянкахъ, вдоль узкихъ дорожекъ и по бокамъ широкихъ аллей, бѣлѣетъ мраморъ безчисленныхъ мавзолеевъ, плитъ и памятниковъ; изъ кустовъ густой молодой зелени тамъ и сямъ выглядываютъ колонны, статуи и купола увѣнчанныхъ крестами склеповъ, узоры полуразрушенныхъ изгородей... Уединенныя скамейки,

покосившіяся, одиноко стоятъ за рѣшотками, забытыя и покинутыя тѣми, кто когда-то повѣрялъ имъ свое безграничное горе и, глухо, беззвучно рыдая, припадалъ къ обвалившемуся теперь камню... Яркія звѣзды пытливо смотрятъ съ небесъ на этотъ уголокъ смерти и дрожатъ трепетнымъ сіяніемъ, гаснутъ и загораются снова.

И старый сторожъ кладбища, сидя на порогѣ своего маленькаго, съ однимъ окошечкомъ, домика, смотритъ на синія бездонныя небеса и на эти звѣзды, гаснущія и вспыхивающія, и думаетъ о всемогуществѣ и премудрости Божіей и еще о томъ, что эти звѣзды, быть можетъ, дивные глаза ангеловъ-хранителей, устающіе смотрѣть на землю и на людей и время отъ времени утомленно смежающіеся, чтобы сейчасъ же снова раскрыться и хранить тварь Господню... Когда человѣкъ умираетъ, на небѣ падаетъ одна звѣздочка: это ангелъ-хранитель почившаго человѣка улетаетъ съ своего поста къ престолу Всевышняго, чтобы просить за грѣшную, освобожденную отъ тлѣна душу его...

Межъ безчисленныхъ сонмовъ этихъ звѣздъ, гдѣ-нибудь слабо мерцаетъ звѣздочка старика Никодима. Скоро она уже слетитъ съ небесъ, исчезнетъ въ безпредѣльномъ морѣ эѳира,—и дѣдушка Никодимъ не будетъ больше сидѣть здѣсь, смотрѣть на небо и думать о томъ, что сокрыто отъ человѣка вѣковѣчною тайною...

Старый Никодимъ знаетъ, что дни его сочтены, и знаетъ, что скоро его уставшія кости отнесутъ на вѣчный отдыхъ туда, подъ горку, въ дальній уголокъ парка, гдѣ красивый овражекъ, перерѣзанный въ разныхъ направленіяхъ узкими, теряющимися въ высокой травѣ и цвѣтахъ тропками, оглашается веселымъ журчаніемъ прозрачнаго, торопливо скачущаго по камешкамъ-галькамъ ключа да немолчнымъ щебетаніемъ птичекъ; гдѣ хлопотливая пчелка жужжитъ, перелетая съ цвѣтка на цвѣтокъ по усѣявшимъ откосы овра-

га медвянику и дикой кашкѣ; туда, гдѣ старикъ спугнулъ недавно парня съ дѣвушкой, позабывшихъ о смерти и о всемъ на свѣтѣ... Никодимъ остановился тогда въ изумленіи и сердито прикрикнулъ:

— Ахъ, вы, срамники! Нешто не знаете, что сюда люди умирать приходятъ, а не цѣловаться?

— Мы, дѣдушка, не знали... Мы землянику ищемъ...

— Землянику!.. Охальники, чтобъ вамъ никогда не умирать и все только цѣловаться! Маршъ! Живо!

— Что же, мы уйдемъ... Не ругайся!..

— Вотъ нашли мѣсто!.. А?.. скажи пожалуйста!..

Не спится старому дѣду...

Когда смерть недалеко, сонъ оставляетъ человѣка... Вѣрно, Господь хочетъ, чтобы больше оставалось человѣку времени молиться и просить о сложеніи грѣховъ. А гдѣ очиститься отъ всѣхъ грѣховъ, какіе успѣетъ человѣкъ сдѣлать до старости?.. Невозможно... Охо-хо-хо!..

У попа всѣ окна ставнями затворены.

Въ одномъ окнѣ черезъ щель огонь свѣтится... Значитъ, не спитъ еще отецъ Варсонофій... Можетъ быть, онъ думаетъ, почему Никодимъ не караулитъ, думаетъ, что спитъ Никодимъ...

Съ неохотой тревожитъ свои кости старый Никодимъ, съ кряхтѣніемъ поднимается съ порога и тихо шагаетъ къ церкви. Бьетъ въ колотушку, и удары ея звонко разносятся въ мертвой тишинѣ, отскакиваютъ отъ затѣненной мракомъ ночи стѣны попова дома, и кажется, что караулятъ двое: одинъ здѣсь, а другой гдѣ-то далеко, далеко. Загадочно смотрятъ черезъ желѣзныя рѣшотки на старика узкія, длинныя окна Божьяго дома, и за стеклами ихъ, кажется, совершается что-то непостижимое и великое... Тихо тамъ и торжественно, страшно... Никодимъ робко смотритъ въ эти окна и съ трепетнымъ благоговѣніемъ, снявъ картузъ, крестится и идетъ дальше.

Спятъ могилы, спятъ деревья, спятъ надгробные памятники... Спятъ теперь всѣ добрые люди, уставшіе за долгій трудовой день. Кому охота идти теперь къ мертвымъ, чтобы отнимать у нихъ послѣднее загробное добро?... А былъ случай: весной кружку съ деньгами отъ церкви отодрали, недавно вѣночекъ съ могилы у попадьи унесли...

„Бѣдный ты, разнесчастный человѣкъ“, — думаетъ старикъ о виновникѣ злого дѣла, который въ слѣпотѣ своей не остановилъ руки передъ святынею...

Длиннымъ коридоромъ, межъ двухъ стѣнъ старыхъ липъ и кленовъ, медленно шагаетъ Никодимъ и бьетъ въ свою колотушку, давая знать злому человѣку, что онъ еще не уснулъ и что ему не спится въ эту лунную ночь, полную дрожащихъ тѣней и бликовъ свѣта, яркаго мерцанія звѣздъ и тихаго шопота листвы, въ эту странно-задумчивую и величавую ночь...

Вспоминается старику, какъ онъ, вотъ такъ же, какъ теперь, ходилъ съ колотушкой по пустыннымъ улицамъ спящаго города... Тѣ же и здѣсь улицы: есть главная, гдѣ спятъ непробуднымъ сномъ люди богатые и важные, на могилахъ которыхъ найдется чѣмъ поживиться злому человѣку, а есть улицы глухія и забытыя, съ плохонькими, покосившимися домиками, съ длинными, обросшими зеленымъ мхомъ и зеленью заборами, съ ямами, гдѣ живетъ нужда и страданіе и гдѣ незачѣмъ особенно стучать въ колотушку, потому что, кому нужно чужое добро, тотъ уходитъ на богатыя улицы, съ красивыми, какъ эти памятники и склепы, домами, статуями и колоннами, съ широкими, загроможденными серебромъ и золотомъ окнами... Живутъ люди на свѣтѣ по-разному: богатые съ богатыми, важные съ важными, бѣдняки съ бѣдняками-горемыками, и когда падаютъ съ неба ихъ звѣздочки, переселяются сюда... И хотя всѣ люди одинаково передъ Богомъ грѣшники окаянные, а ложатся всякій поближе къ

своему, и за гробомъ остается то же богатство и то же убожество...

Прошелъ старикъ по двумъ главнымъ улицамъ, а къ своему овражку не пошелъ... Тамъ нѣтъ ни памятниковъ, ни чугунныхъ изгородей, ни вѣнковъ, — тамъ однѣ провалившіяся ямы да сосновые кресты безъ поперечинъ, да обломки тяжелыхъ необдѣланныхъ сѣрыхъ камней. Нечего тамъ сторожить... Пусть спятъ съ миромъ горемыки усталые!

Съ вечера тамъ долго куковала на рябинѣ кукушка, и ея пѣсня, такая же жалобная и печальная, какою бываетъ жизнь бѣдняка-горемыки, плакала надъ вашими могилами...

Присѣлъ старикъ на лавочку отдохнуть, подымить трубкой... Грѣхъ, говорятъ, этимъ баловствомъ заниматься... Конечно, — грѣхъ, да какъ же въ міру отъ грѣха уберечься?..

Положилъ Никодимъ свою колотушку на траву возлѣ лавочки и полѣзъ за кисетомъ. Луна спряталась за тучки, и тѣни побѣжали въ перегонку другъ за другомъ и по дорожкѣ, и по деревьямъ, и по лавочкѣ, и по тяжелымъ сапогамъ Никодима. Посмотрѣлъ онъ на небо, гдѣ тихо проплывали грядами легкія тучки, и ему показалось, что не эти тучки, а сама луна катится по небу, купаясь въ темныхъ клубящихся облачныхъ волнахъ... Можетъ же такое несуразное показаться человѣку!.. Никогда старикъ не боялся ни мертвыхъ, ни ночи въ такомъ страшномъ мѣстѣ, потому что развѣ можно бояться? А тутъ вдругъ оторопь взяла, больно потемнѣла ночь...

Набилъ, однако, старикъ трубочку, всунулъ въ беззубый ротъ свой и чиркнулъ сѣрнячекъ о лавочку. Затрещала спичка, удушливый запахъ сѣры отогналъ прочь ароматъ цвѣтовъ, и сперва синій, а потомъ красный и желтый огонекъ блеснулъ во тьмѣ ночи, освѣтилъ сѣдую бороду, усы и выглянувшій изъ-подъ

козыря шапки носъ Никодима и погасъ... Тлѣющій уголь спички, отброшенный въ сторону, огненной змѣйкой прорѣзалъ темноту и, описавъ полукругъ, упалъ и скрылся въ травѣ... Отблескъ огня въ трубкѣ то озарялъ неровнымъ свѣтомъ старое лицо Никодима, то меркъ, и тогда Никодимъ совершенно исчезалъ во мракѣ...

Никодимъ зналъ, что каждую ночь по кладбищу черный ангелъ ходитъ. Объ этомъ онъ слыхалъ еще отъ своего отца, который былъ такимъ же, какъ онъ, сторожемъ на этомъ самомъ кладбищѣ, и который похороненъ здѣсь же, въ овражкѣ, гдѣ вечеромъ такъ грустно куковала кукушка... Когда Никодимъ былъ молодъ, когда у него не было еще ни такой широкой бороды, ни такихъ нависшихъ усовъ, и когда такъ хотѣлось жить, что и совсѣмъ не хотѣлось умирать,—тогда онъ боялся чернаго ангела... А теперь... Теперь пора умирать, потому, что и кости болятъ, и поясницу ломитъ, и сонъ убѣгаетъ прочь, и хлѣбъ ужъ не такой вкусный сталъ, и жить охота проходитъ... Чего же теперь бояться?..

Гдѣ-то пѣтухъ прокричалъ, и въ тишинѣ ночи было слышно, какъ онъ захлопалъ своими жесткими крыльями... Вѣтерокъ пахнулъ на поблекшее лицо старика своимъ теплымъ дыханіемъ и принесъ съ собой рѣзкій ароматъ спѣлой земляники... Много ея нынѣшнимъ лѣтомъ уродилось на старыхъ могилахъ, по краямъ заросшихъ травою ямъ, и никто не трогаетъ, брезгуютъ; одни глупые ребятишки лакомятся.

Тихій шорохъ прошлогоднихъ листьевъ, догнивающихъ на землѣ подъ высокими липами, заставилъ старика бросить думу о земляникѣ и пугливо насторожиться. Можетъ быть, то крупная капля дождя тяжело упала съ неба, а можетъ быть, ящерица или какая-нибудь тварь проснулась и поползла?.. Нѣтъ. Межъ частыми стволами деревъ быстро скользнула какая-то тѣнь и исчезла во мракѣ, мимолетная и загадочная...

Осѣнилъ себя старикъ крестнымъ знаменіемъ и

вздохнулъ: вотъ и онъ сподобился увидать чернаго ангела!... Рѣдкіе люди видятъ... Не за нимъ ли прилетѣлъ посланникъ Божій, страшный вѣстникъ смерти? Шестьдесятъ восемь лѣтъ прожилъ Никодимъ на бѣломъ свѣтѣ, только два годка осталось до семидесяти. Неужели не доживетъ? Ровно бы семь десятковъ было...

— Твоя воля, Господи!—прошепталъ старикъ, поднимаясь съ лавочки.

Тихо побрелъ онъ къ своей одинокой сторожкѣ. Тамъ онъ будетъ долго стоять на колѣняхъ и молиться передъ такимъ же, какъ самъ онъ, старымъ и поблекшимъ образомъ Николая Чудотворца, потомъ приляжетъ на жесткую и скрипучую постель и будетъ вздыхать и охать до самаго солнышка и будетъ думать о своей жизни, о своихъ грѣхахъ передъ Господомъ и о томъ страшномъ днѣ, когда солнце и луна померкнутъ, и звѣзды упадутъ съ неба...

А звѣзды опять горятъ на небѣ ярко. Тучки проползли къ сѣверу и раскрыли небесную синеву, и снова луна облила своимъ печальнымъ свѣтомъ и деревья, и памятники, и Божій домъ съ блистающими въ вышинѣ крестами, и крышу прячущагося за деревьями попова дома...

Поповъ домъ бросаетъ широкую полосу тѣни на каменистую гладкую площадь передъ крыльцомъ его, а на ступеняхъ крыльца шевелится что-то, словно человѣкъ сидитъ.

Вздрогнулъ Никодимъ и кашлянулъ, чтобы ободрить себя.

И что это онъ сегодня пугаться сталъ?..

Это отецъ Варсонофій...

Въ черномъ легкомъ подрясникѣ, съ разсыпавшимися по плечамъ прядями волнистыхъ темныхъ волосъ, опершн голову на руку, сидитъ о. Варсонофій въ нѣмомъ и грустномъ созерцаніи теплой лунной ночи...

II.

Съ тѣхъ поръ, какъ о. Варсонофій потерялъ молодую жену, онъ сдѣлался угрюмымъ и замкнутымъ; никто не слыхалъ, чтобы онъ высказывалъ словами свое горе и никто не видалъ, чтобы онъ когда-нибудь плакалъ по любимой женщинѣ... Только на лицѣ о. Варсонофія легла какая-то тѣнь, да въ сѣрыхъ добрыхъ глазахъ его остановилась какая-то тяжелая дума, и чуть замѣтныя мелкія первыя морщинки собрались около этихъ умныхъ глазъ...

— Не спишь, батюшка?—спросилъ Никодимъ.

Шевельнулась тѣнь на крыльцѣ. Когда старикъ подошелъ поближе,—о. Варсонофій смутился, и Никодиму показалось, что онъ торопливо стряхнулъ широкимъ рукавомъ подрясника слезы съ глазъ своихъ...

— Не спится, старикъ,—глухо отвѣтилъ мягкій и кроткій голосъ...

Отецъ Варсонофій вздохнулъ и мелькнувшей въ сумракѣ ночи кистью худой руки своей откинулъ назадъ волосы...

— Свѣтлая ночь! — сказалъ Никодимъ, постоявъ нѣкоторое время въ раздумьѣ.

— Да. Хорошо...—шопотомъ отвѣтилъ батюшка и, кашлянувъ, громче добавилъ:

— Надо бы, старикъ, на могилѣ у Вѣры Павловны лавочку поставить... Посидѣть когда можно, подумать...

— Поставимъ, батюшка... Недолго... Царствіе ей небесное, голубушкѣ нашей!—вымолвилъ, вздохнувъ, Никодимъ и подумалъ: тоскуетъ все... Вѣрно онъ это, батюшка, сейчасъ листьями въ липахъ шумѣлъ, — на могилу къ женѣ ходилъ! Подумалъ, стукнулъ звонко въ колотушку и пошелъ прочь. Длинная, несуразная тѣнь старика протянулась черезъ дорогу, заколыхалась и задвигалась вмѣстѣ съ нимъ, большимъ темнымъ

пятномъ мелькнула на бѣлой стѣнѣ церкви и исчезла за деревьями...

А о. Варсонофій долго и пристально смотрѣлъ на сіявшій въ синихъ небесахъ золотой крестъ Божьяго дома, и тяжелая дума застыла съ упрекомъ въ его неподвижномъ взорѣ... Потомъ онъ вдругъ безсильно свѣсилъ свою голову на руки и сталъ беззвучно плакать, вздрагивая приподнятыми плечами. Упавшія съ головы пряди волосъ закрыли лицо о. Варсонофія, и никто не видалъ этого лица, искаженнаго страшнымъ призракомъ прокравшагося въ душу сомнѣнія и страстной тоской по утраченной земной радости.

Когда Никодимъ во второй разъ обходилъ кладбище и поровнялся съ поповымъ домомъ, крыльцо его было пусто. Но ставни одного изъ трехъ оконъ были распахнуты настежь, и это окно горѣло бѣлымъ квадратомъ на темномъ фасадѣ дома...

Все еще не спитъ батюшка. Душно въ комнатахъ,—раскрылъ окно... На бѣлой занавѣси рисуется тѣнь отца Варсонофія, неподвижная, задумчивая... Вѣрно, все книги божественныя читаетъ онъ,—ищетъ утѣшенія въ горѣ своемъ.

Вотъ пошатнулась тѣнь на занавѣси и исчезла.

Нѣжно, едва слышно запѣла вдругъ въ тишинѣ ночи скрипка, запѣла такъ грустно, грустно... Казалось, она боялась, какъ бы кто-нибудь не подслушалъ ея тихой грусти, и сдерживала готовыя хлынуть рыданія... Гдѣ-то далеко-далеко пѣла эта скрипка, и по временамъ ея тоскливая пѣснь была такъ тиха и такъ нѣжна, что казалось, вотъ-вотъ она оборвется, смѣшается съ шелестомъ колеблемой легкимъ вѣтеркомъ листвы и унесется, растаетъ въ лунномъ свѣтѣ...

Никодимъ стоялъ съ опущенною головою, и слушалъ. И ему казалось, что поетъ не скрипка, а человѣкъ, и что онъ плачетъ и зоветъ кого-то... И старикъ долго стоялъ, и ему становилось грустно и чего-то

жалко, но онъ не могъ понять: божественное или мірское, суетное, играетъ отецъ Варсонофій.

Мастеръ играть на скрипкѣ батюшка, все бы слушалъ и слушалъ! И Никодимъ все стоялъ и не уходилъ прочь...

Но вотъ скрипка запѣла вдругъ громко и разомъ смолкла. Въ наступившемъ безмолвіи было слышно, какъ она упала на столъ и какъ зазвучала всѣми струнами.

Силуэтъ отца Варсонофія опять появился на занавѣси и, низко-низко склонившись, началъ вздрагивать плечами.

Никодимъ глубоко вздохнулъ и задумчиво побрелъ дальше. И по временамъ ему казалось, что скрипка все еще жалобно плачетъ гдѣ-то, то позади, то въ сторонѣ. Онъ пріостанавливался, оглядывался назадъ и вслушивался.

Но было тихо. Только листочки шептались о чемъ-то между собой, и раскрытое окно батюшки попрежнему свѣтилось черезъ вѣтви деревьевъ.

Въ сторожкѣ тихо и свѣтло. Маленькая комнатка съ низенькимъ потолкомъ и съ выбѣленными стѣнами озаряется голубоватымъ блескомъ льющагося въ окно луннаго свѣта. Въ переднемъ углу передъ старымъ образомъ теплится огонекъ: слабыя колебанія лампадки и мерцаніе огонька за цвѣтнымъ стекломъ ея бросаютъ на стѣну розоватыя, голубоватыя и темныя полоски, и эти полоски движутся, и кажется, что онѣ мѣняютъ цвѣта...

Никодимъ лежитъ неподвижно на нарѣ вверхъ лицомъ. Сѣдая борода его покоится на груди; сомкнуты плотно глаза; губы шепчутъ слова молитвы, и усы, прикрывшіе беззубый ротъ, шевелятся... Дремлетъ старикъ чуткой дремой и сквозь эту дрему слышитъ, какъ зоветъ чей-то голосъ, глухой и далекій... Можетъ быть, то грезы сна...

— Спишь, старикъ?

— Господи, Іисусе Христе,—произноситъ Никодимъ и съ трудомъ раскрываетъ отяжелѣвшія вѣки глазъ.

Прямо передъ нимъ, на порогѣ двери, стоитъ человѣкъ въ черной мантіи, съ опущенной на грудь головою и со скрещенными руками.

Громко стучитъ старое сердце, и трепетъ пробѣгаетъ по дряхлому тѣлу Никодима: черный ангелъ, страшный вѣстникъ смерти, пришелъ за нимъ.

Осѣнилъ себя широкимъ крестомъ Никодимъ и спустилъ съ нары ноги.

— Лежи, лежи, старикъ...

— Ты это, батюшка? Напугался я немного... О Господи!

— Спи, старикъ! Я только посижу около тебя... Тяжело стало что-то вдругъ мнѣ... одному... Съ человѣкомъ захотѣлось побыть,—тихо произнесъ о. Варсонофій и присѣлъ на нару.

— Посиди, батюшка!

— Сна нѣтъ. Все думаешь, думаешь... И сердце болитъ, старикъ... И чудится все, что кто-то ходитъ по комнатамъ и подъ окнами.

По бѣлой стѣнѣ комнатки быстро скользнула тѣнь.

— А вѣдь кто-то, батюшка, и впрямь ходитъ у насъ...—тревожно произнесъ Никодимъ и, подойдя къ окошечку, растворилъ его и вслушался: шорохъ торопливыхъ шаговъ мѣшался съ шелестомъ листвы и терялся въ немъ...

— Надо сходить, посмотрѣть...

Отецъ Варсонофій не отвѣтилъ. Онъ о чемъ-то думалъ и смотрѣлъ въ землю... Вышелъ Никодимъ изъ сторожки и пошелъ медленно, вглядываясь въ кусты и въ сумракъ подъ высокими липами...

Тихо кругомъ. Только кузнечикъ стрекочетъ въ густой травѣ, да листочки, дрожа на лунномъ сіяніи,

словно дышатъ и шепчутся. Вотъ и поповъ домъ. Надо обойти кругомъ... Тутъ густо разросся бузинникъ, сирень и шиповникъ; узенькая тропочка вьется около самой стѣнки и забѣгаетъ въ сторону, въ кусты... Никодимъ хорошо знаетъ всѣ тропочки. По одной изъ нихъ онъ пройдетъ къ сараю, а отсюда — на главную дорогу къ воротамъ и посмотритъ, хорошо ли запертъ тяжелый замокъ...

— Что за человѣкъ? Стой!..

Никодимъ хотѣлъ закричать какъ можно громче, но его голосъ прозвучалъ хрипло и слабо, потому что старикъ испугался: ему показалось, что тѣнь человѣка скользнула отъ оконъ попова дома, промелькнула межъ кустовъ и упала въ траву...

— Вижу, братъ! Вставай, а то хуже будетъ!..—строго прокричалъ Никодимъ. Но никто не вставалъ. Старикъ, сердито откашливаясь, пошелъ по тропинкѣ и сталъ ощупывать встрѣчные кусты палкой. Вотъ и ворота кладбища, массивныя, высокія, увѣнчанныя чернымъ крестомъ.

За высокой чугунной изгородью разстилалось поле, сплошь поросшее низкорослой травкой. Лунный свѣтъ колыхался надъ нимъ серебристымъ туманомъ, и какія-то тѣни торопливо пробѣгали по лугу. Синее небо опрокинулось надъ нимъ широко, свободно и величаво. Яркія звѣзды горѣли въ вышинѣ, и едва вырисовывались вдали тонкими линіями контуры бѣлыхъ, какъ снѣгъ, зданій, церквей и башенъ города; возвышенная часть его подъ лучами луннаго блеска казалась какимъ-то призрачнымъ, волшебнымъ, повисшимъ въ эѳирѣ замкомъ. Черезъ поле тянулась изогнутой лентою пыльная грунтовая дорога. По дорогѣ трусила маленькая лошадка; телѣга съ миніатюрнымъ человѣкомъ погромыхивала колесами, и подъ ними клубилась серебристая пыль, бѣжала за телѣгой и, отставая, опускалась наземь...

За оградой, почти у самыхъ воротъ, стоялъ высокій оборванный человѣкъ, безъ шапки, и смотрѣлъ на небо; фигура этого человѣка рѣзко вырисовывалась на синемъ фонѣ небесъ; кудрявая голова и большія кисти рукъ какъ-то бросались въ глаза своей несуразностью; черезъ темную неопоясанную рубаху тамъ и сямъ бѣлѣло на лунномъ свѣтѣ голое тѣло; разстегнутый воротъ открывалъ грудь; ноги были босы.

Старикъ, тихо подойдя къ воротамъ, взялъ въ руки тяжелый замокъ и попробовалъ, крѣпко ли онъ запертъ, Громкій лязгъ желѣза заставилъ оборванца перевести свой взоръ съ небесъ на чугунную рѣшотку.

— Что за человѣкъ?.. Чего тебѣ здѣсь надо, братецъ?—крикнулъ Никодимъ.

— Божій человѣкъ,—отвѣтилъ за оградой сиплый голосъ тихо и смиренно.

— Божьи люди спятъ теперь, братъ... Не ты ли это, братъ, подъ окнами у попа сейчасъ ходилъ?.. Божій!.. Сейчасъ видно, что Божій...

— Гдѣ же намъ, псамъ голоднымъ и бездомовымъ, ходить?—тихо отвѣтилъ голосъ,—и поникла кудрявая голова.

— Волкъ ты, братецъ мой, и больше ничего! И когда-нибудь угодишь въ капканъ!—строго сказалъ Никодимъ.

— Уходи съ Богомъ!—добавилъ онъ еще строже.

Оборванный человѣкъ протянулъ къ воротамъ руку, и при лунномъ свѣтѣ было видно, какъ заколыхались свѣсившіеся съ рукава его рубахи клочья.

— Всѣ мы, человѣкъ Божій, грѣшники окаянные!.. Дай ты мнѣ, голодному волку, кусочекъ хлѣбца ржаного!

Въ голосѣ большого человѣка прозвучала жалобная нотка. Какъ-то дрогнулъ вдругъ этотъ грубый, сиплый голосъ, и поникла еще ниже кудрявая голова.

И жалко вдругъ стало Никодиму этого большого оборваннаго человѣка.

— Такъ бы и сказалъ! Пришелъ бы и сказалъ: дай хлѣбца! Экій ты, братецъ мой! Развѣ жалко дать человѣку хлѣбца? Погоди, принесу!..—сказалъ Никодимъ и пошелъ отъ воротъ къ своей сторожкѣ дѣловой, развалистой походкой.

— Посоли, Божій человѣкъ!—крикнулъ ему вслѣдъ за оградой. Никодимъ качнулъ головой и прибавилъ шагу. Скоро онъ скрылся за деревьями...

Оборванный человѣкъ опустился на траву и вполголоса запѣлъ тоскливую пѣсенку... Глядя на рисующійся вдали городъ, на синее небо и на звѣзды, онъ чувствовалъ себя совершенно одинокимъ, и злая тоска щемила ему сердце, и, быть можетъ, онъ сталъ бы теперь плакать, если бы его глаза, суровые и озлобленные, не разучились плакать... Откуда-то выползла старая бродячая собака и въ недовѣрчивомъ раздумьѣ остановилась вдали, устремивъ взоръ свой на тоскующаго человѣка.

— Ну, поди сюда, псина! — произнесъ человѣкъ и слегка прищелкнулъ языкомъ. Старый песъ шевельнулъ хвостомъ и сдѣлалъ нѣсколько прыжковъ на трехъ ногахъ своихъ.

— Ну, не бойся! Поди сюда, другъ! Ахъ ты, такой-сякой, поджарый!

И столько добродушія и ласки звучало въ голосѣ большого оборваннаго человѣка, что недовѣрчивый песъ приблизился и виновато лизнулъ ему грязную руку!

— Жрать хочешь? а? Нечего, братецъ, намъ съ тобой жрать... У-у, ты, рыжая скотина!..

Человѣкъ присѣлъ на корточки и сталъ ласково гладить собаку, чесать ей за ухомъ, а та легла на спину и довѣрчиво закрыла свои слезящіеся глаза.

— Вотъ погоди, сейчасъ хлѣбца раздобудемъ, горемыка-трехногая! Что, обломали тебѣ люди добрые ножку-то? Больно?

Песъ слабо визгнулъ и снова лизнулъ человѣку руку, словно просилъ не бередить незажившей еще раны.

— Ну, ну?. Не трону... Эхъ, народъ какой: искалѣчили старика...

И человѣкъ сочувственно покачивалъ своей кудрявой головой и съ сожалѣніемъ чмокалъ губами, разсматривая больную собачью ногу. „Идетъ!“ — прошепталъ онъ и всталъ на свои длинныя ноги.

Шаги Никодима, мягкіе и торопливые, звучали въ ночной тишинѣ какъ-то странно. Долговязая тѣнь прыгала на дорогѣ, и Никодимъ былъ еще далеко, когда эта тѣнь уже проскользнула черезъ рѣшотку изгороди. Старикъ шелъ безъ шапки, и его лысая голова блестѣла на лунномъ свѣтѣ.

— Возьми, ѣшь на здоровье! — сказалъ онъ, приблизившись къ оградѣ.

Оборванный человѣкъ взялъ изъ продѣтой въ рѣшотку руки Никодима ломоть ржаного хлѣба и полушутливо пробасилъ:

— Спасибо, старина! Я былъ голоденъ,—вы накормили меня, я былъ нагъ,—вы одѣли меня, я былъ босъ, вы обули меня... Только бы ушелъ поскорѣй, провалился!.. Вѣрно? Ну, иди себѣ спать. Прощай!

— Богъ съ тобой! Иди, пока что...

Оборванецъ пошелъ прочь отъ воротъ, по лугу. За нимъ заковыляла на трехъ ногахъ и собака.

Длинная несуразная фигура человѣка казалась теперь, въ открытомъ полѣ, еще выше и какъ-то покачивалась и колыхалась, рѣзко вырисовываясь на синемъ фонѣ небеснаго горизонта.

Долговязыя тѣни человѣка и собаки плыли по серебристому лугу и то обгоняли другъ друга, то сливались вмѣстѣ и прыгали по кустикамъ рѣпья и лопуховъ, изгибались на ложбинахъ и, наконецъ, когда человѣкъ съ собакой свернули въ сторону, по напра-

вленію къ заброшеннымъ кирпичнымъ сараямъ,—тѣни потянулись за ними длинными темными хвостами...

Долго старикъ стоялъ съ непокрытою головою у запертыхъ воротъ кладбища и черезъ переплетъ рѣшотки смотрѣлъ вслѣдъ удалявшемуся человѣку. Потомъ вздохнулъ, сладко зѣвнулъ, закрывъ ротъ ладонью, и покачалъ лысой головой.

— Какихъ только людей на бѣломъ свѣтѣ нѣтъ!..— прошепталъ онъ и тихо пошелъ отъ воротъ...

На востокѣ блѣднѣло небо. Звѣзды стали меркнуть и потухать. Вѣтерокъ, прохладный и влажный, зашелестилъ листочками, а первая птичка осторожно пискнула гдѣ-то и смолкла.

Скоро будетъ свѣтать.

ЛОШАДКА.

Лошадка!.. Маленькая, дешовенькая, изъ папье-маше, съ грубо намазаннымъ уборомъ шеи, съ острыми, какъ у кошки, ушами не на томъ мѣстѣ, гдѣ растутъ уши у лошади, съ однѣми передними ногами и съ длиннѣйшею палкою вмѣсто хвоста, — какъ памятна мнѣ эта игрушка, предназначаемая обыкновенно для дѣтей бѣдныхъ родителей!.. Она, эта бѣдная лошадка, вмѣсто предполагаемой радости, принесла мнѣ столько горя, столько нравственныхъ мукъ и жгучихъ слезъ, оскорбленій! Всякій разъ, когда я предъ рождественскими праздниками прохожу мимо игрушечныхъ магазиновъ, въ окнахъ которыхъ столько заманчивыхъ для дѣтскаго взора бездѣлушекъ, елочныхъ бомбоньерокъ, блестящихъ звѣздъ,—я до сихъ поръ вспоминаю дешовенькую лошадку изъ папье-маше, о которой хочу разсказать вамъ.

Мы жили тогда въ захолустномъ уѣздномъ городкѣ, гдѣ отецъ мой служилъ акцизнымъ чиновникомъ. Помню, мнѣ казалось тогда, что мой папаша—очень важный человѣкъ въ городѣ: когда мы шли съ нимъ по улицѣ, будочники отдавали намъ честь, а папаша только махалъ рукою; его называли „вашимъ высокоблагородіемъ“, и онъ сильно кричалъ на приходившихъ къ нему просителей и говорилъ, что не оставитъ во рту трехъ зубовъ, или что такъ дастъ по мордѣ, что не два, а три глаза вылѣзутъ на лобъ... Все это убѣ-

ждало меня въ могуществѣ отца, и я гордился этимъ и важничалъ по-дѣтски... Въ дѣйствительности, мой отецъ былъ далеко не важной персоной: всего—акцизный надсмотрщикъ!..

Моимъ уличнымъ пріятелемъ былъ Яшка, сынъ дьячка, жившаго по сосѣдству съ нами, и этому Яшкѣ я всегда давалъ понять, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло.

— Мой папаша твоего папашу можетъ казнить и... трехъ зубовъ у него не оставитъ! — кричалъ я, когда, играя на дворѣ, мы ссорились съ Яшкой.

На Яшку эта ужасная угроза, впрочемъ, не дѣйствовала, тѣмъ болѣе, что онъ находилъ поддержку въ своемъ родителѣ:

— Я васъ обоихъ съ папашей въ свой карманъ положу! — отвѣтилъ однажды дьячокъ на мою угрозу Яшкѣ, наблюдая черезъ низкій, раздѣлявшій наши дворы заборъ за нашей ссорою.

— А не положишь! — отвѣтилъ я дьячку, пораженный такимъ аргументомъ.

— Что-то? у-у-у!! Вотъ я сейчасъ...

Дьячокъ такъ страшно закричалъ это „у-у“, что я на всякій случай поспѣшилъ оградить себя отъ опасности: убѣжалъ на черное крыльцо, притворилъ за собою дверь и смотрѣлъ въ щелочку, не лѣзетъ ли дьячокъ черезъ заборъ, чтобы поймать меня и запрятать въ свой карманъ. Обстоятельство это, впрочемъ, не подорвало въ моихъ глазахъ авторитета и могущества папаши, такъ какъ самъ дьячокъ скоро упалъ въ моемъ мнѣніи: когда онъ пришелъ поздравить отца съ ангеломъ, такой приглаженный и припомаженный, съ тонкой, торчавшей позади, какъ хвостикъ, косичкой,— я стоялъ за дверями и смотрѣлъ, не положитъ ли дьячокъ въ карманъ папашу. Дьячокъ отдалъ отцу просфору, низко-низко кланялся, говорилъ тихо, склонялъ къ папашѣ голову и спрашивалъ „какъ-съ?“ такъ пугливо... Отсюда было очевидно, что дьячокъ только

храбрился, когда говорилъ о своемъ карманѣ. Я рѣшилъ выйти изъ засады и повести дѣло напрямикъ:

— Ты говорилъ, что можешь папашу въ карманъ положить... Ну положи!—сказалъ я, выйдя въ залъ и остановившись передъ смущеннымъ дьячкомъ въ вызывающей позѣ.

— Хе-хе-хе! Развѣ это можно? Какъ же можно человѣка—въ карманъ?—отвѣтилъ дьячокъ.

— А ты самъ же говорилъ тогда! Помнишь, черезъ заборъ-то?

— Вотъ, когда у тебя возсіяетъ свѣтъ разума,—поймешь... Карманъ не великъ, даже и тебя не посадишь...

Дьячокъ вывернулъ и показалъ мнѣ свой карманъ.

— А папаша тебѣ трехъ зубовъ не оставитъ,—сказалъ я убѣжденно.

— Хе-хе-хе! Да у меня всего-то зуба три...

— И три глаза у тебя на лобъ вылѣзутъ, если...

— Перестань! Иди отсюда!—строго сказалъ отецъ.

Я ушелъ, но теперь для меня было ясно, что дьячокъ только храбрился, и что папаша—всемогущъ... Но вернемся къ лошадкѣ...

Приближалось Рождество, пятое Рождество въ моей жизни. До этого времени я хотя и слыхалъ о какихъ-то елкахъ, но никогда не былъ на нихъ. Поэтому вы легко можете себѣ представить мой восторгъ, когда мать заговорила съ отцомъ о томъ, какъ меня одѣть и какъ одѣться самой, чтобы идти въ клубъ на елку... Я зналъ, что на елкѣ можно получить дивные подарки: солдатиковъ, большую лошадь, на которую можно сѣсть и болтать ногами, желѣзную дорогу... Съ этого дня я началъ жить ожиданіемъ и считалъ дни и ночи, которые оставалось прожить до елки... Наконецъ, въ сочельникъ, мнѣ объявили, что на второй день праздниковъ мы ѣдемъ съ мамашей въ клубъ. Когда мать говорила съ отцомъ, не заказать ли мнѣ курточку, я

вертѣлся, восторженно подпрыгивалъ на мѣстѣ и пѣлъ свою единственную пѣсню:

На улицѣ двѣ курицы
Съ пѣтухомъ дерутся...

и хлопалъ въ ладоши.

На своего пріятеля, Яшку, я смотрѣлъ теперь еще болѣе свысока и еще сильнѣе чувствовалъ свою важность и преимущество.

— Знаешь, я пойду въ клубъ на елку!—заявилъ я Яшкѣ при первой же встрѣчѣ съ нимъ на дворѣ.

— Эка штука! У попа тоже будетъ елка, и мы пойдемъ...

— У попа что?!—возразилъ я.—А въ клубъ не имѣешь права: туда дьячковскихъ дѣтей не пускаютъ.

Богъ вѣсть, когда и какимъ образомъ въ моемъ дѣтскомъ умишкѣ успѣли сложиться эти понятія о правахъ и преимуществахъ, но я былъ глубоко убѣжденъ, что дьячковскій сынъ—существо низшаго порядка...

Наступилъ и давно желанный день. Часовъ съ пяти вечера мы стали собираться въ клубъ. Мать сперва одѣла меня. Хотя мнѣ и не сшили курточки, какъ это проектировали, тѣмъ не менѣе я, напомаженный, причесанный съ проборомъ на боку — какъ причесывался и отецъ — въ голубой шелковой рубашечкѣ и брючкахъ на выпускъ, казался себѣ верхомъ изящества и прелести. Въ то время, какъ мать оправлялась передъ зеркаломъ, я заглядывалъ въ него сзади и оставался вполнѣ доволенъ собою. Пришелъ отецъ, погладилъ меня по головѣ и, когда я сталъ жаловаться, что онъ испортилъ мнѣ прическу, причесалъ меня снова, посмотрѣлъ и сказалъ:

— Молодчина! Не заправить ли, мать, ему брюки въ сапожки? Не идетъ какъ-то... — замѣтилъ онъ, обозрѣвъ меня издали.

— Пожалуй...

Но я былъ другого мнѣнія и поднялъ цѣлый скандалъ изъ-за впервые еще спущенныхъ на голеница брючекъ.

— Мамаша! Будетъ тебѣ смотрѣться въ зеркало! — торопилъ я мать, подергивая ее за платье.

— Оставь! Не дергай!

— Опоздаемъ вотъ! Всѣ игрушки раздадутъ, — высказалъ я свою тревогу.

— Этого не можетъ быть...

И мать, продолжая стоять передъ зеркаломъ, разсказала мнѣ, что игрушки раздаютъ только подъ конецъ елки и раздаютъ ихъ по билетикамъ, такъ что нечего бояться.

— Какъ же это по билетикамъ? А если я хочу — желѣзную дорогу? Меня не послушаютъ?

— Это ужъ кому какое счастье. Если вынешь билетикъ съ желѣзною дорогою, то и дадутъ ее, а если вынешь—съ куклой, то получишь куклу...

— Куда мнѣ куклу, я не дѣвчонка! — замѣтилъ я и, пока мать доканчивала свой туалетъ, побѣжалъ въ полутемный залъ и здѣсь горячо молился Іисусу Христу, чтобы мнѣ досталась желѣзная дорога. Я былъ увѣренъ, что Іисусъ Христосъ такъ именно это и устроитъ.

Потомъ мы сѣли на извозчика и поѣхали въ клубъ. Сани остановились передъ крыльцомъ ярко освѣщеннаго дома въ пять оконъ по фасаду. Мое сердце сильно билось. Клубъ показался мнѣ цѣлымъ замкомъ. Когда мы поднимались вверхъ по лѣстницѣ, уже глухо звучала музыка—рояль — и доносился хаотическій шумъ дѣтскихъ голосовъ, смѣха, крика и бѣготни. Я незамѣтно перекрестился еще разъ и еще разъ напомнилъ Богу о желѣзной дорогѣ. Вся моя важность, сознаніе своихъ правъ и преимуществъ сразу улетучились, лишь только мы съ матерью вошли въ залитый огнями залъ,

посрединѣ котораго возвышалась звѣздною пирамидою елка. Залъ былъ переполненъ большими и маленькими людьми, стоялъ такой гамъ, что въ моихъ ушахъ звенѣло, и я не могъ слышать, что шептала мнѣ на ухо мать. Она одернула сзади мою голубую рубашечку. Я держался за ея платье и боялся выпустить его изъ руки. Здѣсь столько было „важныхъ человѣковъ"!..

— Это, мамаша, генералъ?—спрашивалъ я мать, показывая пальцемъ то на исправника, то на воинскаго начальника. Но мать не отвѣчала, а лишь отстраняла мою руку съ пальцемъ:

— Не надо показывать пальцемъ!

— А это кто, съ бородой?

— Опять—палецъ! Опусти! Нехорошо!

Къ сожалѣнію, я тогда безъ пальца не умѣлъ въ такихъ случаяхъ обходиться. Мать это просто обезкураживало, да оно и понятно: бѣдная уѣздная дама предъ лицомъ мѣстнаго бомонда должна была выказать всю свою порядочность, благовоспитанность, а я вылѣзалъ со своимъ предательскимъ пальцемъ.

— Поди и играй съ дѣтьми!—нѣсколько разъ говорила мнѣ мать, но я, впервые выступившій въ столь блестящемъ обществѣ, не рѣшался выпустить изъ рукъ платье матери.

— Экій дикарь! Стыдно!

— А скоро будутъ раздавать игрушки?—таинственно спросилъ я мать, потребовавъ ее наклониться къ моимъ губамъ.

— Кто не будетъ играть, тому не дадутъ и билетика на игрушки...

Я опечалился. Какъ мнѣ играть? Не съ кѣмъ. Я умѣлъ играть только съ Яшкой, а тутъ были дѣти въ курточкахъ, съ тоненькими ножками, завитыя, въ бѣлыхъ кисейныхъ платьицахъ и въ лентахъ. Меня выручило новое знакомство: къ матери подошла бѣдноодѣтая барыня въ зеленомъ платьѣ, съ чернымъ бан-

томъ на головѣ; она держала за руку такого же дикаря, какъ я, въ рубашечкѣ.

— И вашъ не отстаетъ?

— Да, держится за платье... Надо ихъ познакомить.

Мать взяла наши руки, соединила ихъ и сказала:

— Ступайте!

Кругомъ насъ бѣгали, визжали и смѣялись дѣти. Я взглянулъ на своего новаго знакомаго и сказалъ:

— У тебя тоже нѣтъ курточки?

— Нѣтъ!

Мы внимательно осмотрѣли другъ друга съ ногъ до головы и почувствовали взаимную симпатію.

— Пойдемъ бѣгать вокругъ елки!—предложилъ мой знакомецъ, исподлобья взглянувъ на меня.

— Пойдемъ!

Дѣти, взявшись за руки, кружились, сломя голову, вокругъ елки. Мы хотѣли войти въ кругъ, но это намъ не удалось: дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, которой я протянулъ свою руку, сказала:

— Я съ тобой не хочу. У тебя нѣтъ перчатокъ и ты испачкаешь меня...

— Давай съ тобой одни играть,—предложилъ я товарищу.

— Какъ?

— Пойдемъ смотрѣть игрушки...

— Тебя какъ зовутъ?

— Колей.

— А меня—Мишей... У тебя кто отецъ?

— Не знаю...

Игрушки стояли на двухъ столахъ, въ дальнемъ углу зала. Около этихъ столовъ толпились уже дѣти, вытягивали шейки и заглядывали въ самые сокровенные уголки этого игрушечнаго царства... Тутъ же было нѣсколько дамъ, разсматривавшихъ игрушки съ такимъ же возбужденнымъ любопытствомъ и жадностью, какъ и дѣти. Это были—матери.

Боже мой, чего здѣсь только не было! Былъ водовозъ съ лошадью и бочкой, была мельница, былъ домъ, новый, съ крыльцомъ, съ окнами, съ трубой, однимъ словомъ — настоящій маленькій домъ; была обезьяна, играющая на органѣ, нѣсколько барабановъ, ружей, краски, пароходъ,—и не пересчитать всего!

— А желѣзная дорога есть? — рѣшился я спросить толстую сѣдую барыню, которая наблюдала за этимъ игрушечнымъ кладомъ и развлекала окружившихъ ее дамъ игрушками, заводя ихъ и демонстрируя.

— Есть, голубчикъ... Вотъ она!

Дѣйствительно, подъ самымъ моимъ носомъ стояла желѣзная дорога. И какъ я не замѣтилъ ея раньше?!.. Паровозъ, изъ трубы несутся клубы бѣлаго дыма изъ ваты, вагоны—зеленые, желтые, синіе...

— Она ходитъ?

— Ходитъ. А тебѣ хочется желѣзную дорогу?

— Хочется, — сказалъ я, потупивъ въ полъ взоры.

— Не знаете, чей это мальчикъ? — спросила толстая дама другую даму, тонкую.

— Акцизнаго!—отвѣтила та съ презрѣніемъ.

— Ахъ, акцизнаго! А я вѣдь думала, что — Павла Григорьевича...

— Нѣтъ, что вы!...

— Она ходитъ? — повторилъ я вопросъ, видя, что толстая барыня забыла о нашемъ съ ней разговорѣ.

— Ходитъ, ходитъ... Идите! Играйте!

— Развѣ заводится?—спросила одна изъ дамъ.

— Да.

Толстая барыня завела пружину, и вагоны покатились... Я былъ въ восторгѣ и чуть было не запѣлъ „На улицѣ двѣ курицы“... Ахъ, если бы мнѣ достался билетикъ съ этой желѣзной дорогой! Я мысленно прижималъ поѣздъ къ своей груди и боялся, не раздѣляетъ ли моихъ чувствъ по отношенію къ желѣзной дорогѣ и мой новый знакомый.

— А тебѣ хочется—желѣзную дорогу? — спросилъ его я.

— Я лучше—домъ!

У меня отлегло отъ сердца. Пусть его беретъ домъ! Онъ ничего не понимаетъ.

— А если тебѣ достанется желѣзная дорога, а мнѣ—домъ,—ты перемѣнишься?

— Перемѣнюсь. Мнѣ нужно домъ: у меня есть солдатики, и они живутъ въ коробкѣ, а если былъ бы домъ, я клалъ бы ихъ туда...

Скоро я освоился и пересталъ стѣсняться.

— Дѣти! Кто хочетъ пить?

Насъ поили какой-то сладкой бѣлой, какъ молоко, жидкостью, которая мнѣ очень понравилась. Замѣтивъ, что графины, изъ которыхъ насъ поили, стоятъ себѣ на столѣ, какъ и стаканы,—я нѣсколько разъ, и уже безъ всякаго разрѣшенія, пилъ этотъ дивный напитокъ; игралъ въ кошки-мышки и хохоталъ такъ громко, что мать подходила ко мнѣ и сзади, на ухо, говорила, что кричать—нехорошо. Въ теченіе двухъ часовъ я успѣлъ не только наиграться до испарины, но даже завелъ крупную ссору съ однимъ мальчикомъ, заявившимъ мнѣ, что ему дадутъ желѣзную дорогу.

— Врешь! Дадутъ,—кому достанется!

— Мнѣ достанется! Мама сказала, чтобы—мнѣ...

— Посмотримъ!

— А ты совсѣмъ дуракъ, потому что не понимаешь про билетикъ!

— А ты самъ дуракъ, и если будешь такъ ругаться, то я скажу папѣ, и тебя отсюда выгонятъ!

Часовъ въ восемь вечера насъ построили въ шеренгу, попарно, и подъ звуки персидскаго марша мы проходили по комнатамъ, въ одной изъ которыхъ каждаго изъ насъ надѣлили пакетомъ съ конфектами и орѣхами. Потомъ мы всѣ снова собрались въ залѣ, и какой-то господинъ, обрывая съ елки звѣзды, бомбонь-

ерки, золотые орѣхи и пряники, торопливо совалъ ихъ въ безчисленное множество тянувшихся къ нему дѣтскихъ ручонокъ. Я старался какъ можно выше поднять и дальше протянуть свою руку, но въ нее ничего не попадало... Это меня огорчало, но я утѣшалъ себя тѣмъ, что скоро мы будемъ вынимать билетики и, Богъ дастъ, мнѣ достанется желѣзная дорога.

На углу, около столовъ съ игрушками, уже сгрудилась толпа ребятишекъ, и стоялъ настоящій содомъ. Вѣрно, тамъ вынимаютъ уже билетики и, можетъ быть, кто-нибудь уже завладѣлъ желѣзной дорогой.

— Коля! Идемъ билетики вынимать!

— Пойдемъ!

— Смотри: если мнѣ достанется домъ, а тебѣ—желѣзная дорога,—мы перемѣнимся!—напомнилъ я товарищу, и мы стали протискиваться къ столамъ съ игрушками. Въ залѣ уже не было никакого порядка, всѣ бѣгали, суетились, чѣмъ-то сильно озабоченные. Кое-гдѣ слышались пронзительные звуки дудокъ, трескотня барабановъ, выстрѣлы пробочныхъ пистолетовъ. Навстрѣчу намъ лѣзъ весь красный, съ сіяющимъ отъ счастья лицомъ, мальчикъ, которому достался водовозъ съ лошадью и бочкой.

— Мнѣ билетикъ! Мнѣ!—кричалъ я, съ отчаяніемъ простирая къ толстой барынѣ свою руку.

— Тише! Тише!.. Всѣмъ будетъ! Всѣмъ!

— Я еще не бралъ билетика! — звонко кричалъ я, стараясь изо всѣхъ силъ привлечь къ себѣ вниманіе захлопотавшейся барыни.

— И я—тоже!—кричалъ мой товарищъ.

Мы работали локтями, стараясь пробиться черезъ ряды конкурентовъ ближе къ столу, и, наконецъ, пролѣзли таки впередъ.

— Мнѣ билетикъ! Мнѣ! Я не бралъ!—кричалъ я барынѣ и махалъ руками.

— На! Иди! Невоспитанный мальчикъ!

Съ этими словами толстая барыня сунула въ мою руку какую-то палку и занялась другими дѣтьми. Что-бъ могло это значить? Я не уходилъ.

— Ты получилъ, такъ и ступай! Не мѣшай другимъ! - замѣтила мнѣ толстая барыня.

Это меня совершенно обезкуражило. Съ трудомъ пробиваясь черезъ шумливую толпу дѣтей, я вышелъ на свободу и началъ разсматривать полученную мною отъ барыни вещь. Это была—палка, на одномъ ея концѣ была лошадка, а на другомъ—колесико. Ко мнѣ подошла мать и сказала:

— Ну-ка покажи, что тебѣ досталось?

— Это мнѣ не досталось, а дала барыня! Я еще не бралъ билетика... Куда мнѣ эту палку?! Такихъ лошадей на свѣтѣ не бываетъ... Тутъ надо хвостъ, а у ней—палка вставлена...

— Это, другъ, нарочно сдѣлано: на палочку сядешь верхомъ и поѣдешь... Вотъ тутъ и колесико есть!

— Больно мнѣ нужно на палочкѣ верхомъ кататься! Я ее отдамъ Яшкѣ,—говорилъ я, оттопыривъ губы.

— Нехорошо. Подбери губы! Будь доволенъ тѣмъ, что дали!

— Но я еще не вынималъ билетика! Можетъ быть, мнѣ достанется желѣзная дорога,—съ мольбою въ голосѣ отвѣтилъ я матери, но въ этотъ моментъ ко мнѣ подскочилъ тотъ самый мальчикъ, съ которымъ мы поссорились изъ-за желѣзной дороги и, дернувъ меня за рукавъ, крикнулъ:

— Что! Я тебѣ говорилъ! Это что? видишь?

Какъ же было не видѣть: въ его рукахъ была желѣзная дорога!

— А у тебя что? а-а! Лошадка! Дрянь какая!—сказалъ мой врагъ и понесъ куда-то желѣзную дорогу. Я былъ такъ потрясенъ этимъ обстоятельствомъ, что нѣ-

которое время стоялъ въ столбнякѣ; потомъ, заподозривъ конкурента въ мошенничествѣ, я побѣжалъ ему вдогонку и закричалъ:

— А ты билетикъ бралъ?.. а?.. я скажу... Онъ утащилъ желѣзную дорогу!

Мать схватила меня за руку и повлекла назадъ, сердито читая мнѣ нотацію.

— Но онъ, мамаша, не бралъ билетика! Онъ утащилъ желѣзную дорогу?—громко протестовалъ я, оглядываясь вслѣдъ скрывшемуся противнику.

— Съ чего ты взялъ? замолчи!

— Я знаю,—онъ не бралъ билетика... Вѣдь это—кому какое счастье!—уже со слезами на глазахъ говорилъ я матери и упирался, желая доказать всю несправедливость этого захвата желѣзной дороги.

— Иди, иди! Поѣдемъ домой... Не умѣешь себя держать!..

Мать потянула меня за руку и насильственно вытащила въ переднюю. Здѣсь я окончательно возмутилея, швырнулъ въ сторону доставшуюся мнѣ лошадку и расплакался горькими слезами.

— О чемъ?—спрашивали мою мать толпившіеся въ передней въ поискахъ за своими шубами гости.

—Такъ, капризничаетъ... Спать хочетъ,—отвѣчала мать.

— Нѣтъ, не капризничаю... и спать не хочу,—сквозь слезы протестовалъ я.—А какое же это счастье, когда мнѣ и билетика не давали, а взяли желѣзную дорогу да подарили мальчику... А я тоже хочу желѣзную дорогу!.. Зачѣмъ ему отдали безъ билетика... Будто онъ лучше всѣхъ!..

И я плакалъ отъ досады и несправедливости, которую большіе допустили по отношенію меня, маленькаго человѣка.

— Ну что ты ревешь?! Перестань!—сердилась мать.

— Да-да! Я не сталъ бы, если бы онъ получилъ съ билетикомъ, а онъ та-а-акъ...

Швейцаръ торопился скорѣе выпроводить оскорбленнаго гостя и, надѣвая на меня шубу, обращался со мною, какъ съ вещью: перевертывалъ, приподнималъ на воздухъ и, вѣроятно, чтобы не такъ громко звучалъ мой ревъ, — плотно обвязалъ мою голову и лицо башлыкомъ.

— Вотъ Богъ и нака-а-же-е-тъ!—гнусаво кричалъ я черезъ башлыкъ, когда меня кто-то несъ на рукахъ внизъ по лѣстницѣ.—Дураки-и-и!..

— Молчать! Я тебя, пакостникъ, выдеру!

— А дураки-и-и!—кричалъ я, болтая ногами.

Меня ткнули въ сани, на извозчика, рядомъ съ матерью. Слезы горькой обиды и жгучаго оскорбленія катились изъ моихъ глазъ, когда лошадь тронула санки и повезла меня изъ клуба, гдѣ я подвергся столь жестокому оскорбленію.

Помню, по возвращеніи домой, я снова началъ плакать и жаловаться на *них* папашѣ. Но папаша не хотѣлъ понять меня: онъ думалъ, что я плачу отъ зависти.

— Не хорошо, братецъ! Въ другой разъ не пущу на елку.

— И пусть! Я и самъ не пойду!.. Какое это счастье?.. Дали па-а-алку, а онъ... чего захотѣлъ, то и да-а-ли!

Отецъ держалъ въ рукахъ лошадку изъ папье-маше и говорилъ:

— Очень хорошая игрушка. Можно кататься, сѣсть и ѣхать...

— Ну и катайся! А я не буду!.. А мамаша наврала: сказала, что билетикъ дадутъ, и что достанется, а они взяли и дали па-а-лку!..

Долго бѣдная лошадка стояла въ углу на своей палкѣ, и я не удостаивалъ ее своимъ вниманіемъ. Всякій разъ, когда мой взглядъ упадалъ въ уголъ, гдѣ стояла эта лошадка, въ моемъ маленькомъ сердцѣ

вспыхивало чувство обиды и оскорбленія... Однажды, въ такую минуту, воспользовавшись тѣмъ, что никого въ комнатѣ не было, я подскочилъ къ этой лошадкѣ, схватилъ за палку и съ озлобленіемъ выдернулъ ее изъ лошадинаго туловища, потомъ снова насадилъ лошадку и началъ постукивать палкой въ полъ такъ сердито, что остріе палки вышло насквозь, черезъ всѣ внутренности ни въ чемъ неповиннаго коняки...

Теперь я уже выросъ и не плачу даже въ томъ случаѣ, когда жизнь преподноситъ мнѣ „лошадку изъ папье-маше“. Но, помня объ этой лошадкѣ, я не вожу своихъ дѣтей на общественныя елки, гдѣ дѣтское „счастье“ опредѣляется всевластною рукою какой-нибудь Марьи Петровны.

ПРЕДАТЕЛЬ.

I.

Задребезжалъ звонокъ, возвѣщавшій объ окончаніи уроковъ. Первоклассники получили нѣсколько единицъ за латинскіе „вокабулы“, помолились за „родителей и учителей, ведущихъ ихъ къ познанію блага“, и шумной толпою ринулись вонъ изъ класса.

Всѣмъ было весело, не исключая даже и тѣхъ, которые проштрафились по „вокабуламъ“: въ кругу друзей и товарищей легко переносились „латинскія напасти“, — отовсюду сочувствіе, полное единомысліе и солидарность!..

Всѣмъ весело. Грустно одному только Заплатину Ивану...

Заплатинъ Иванъ идетъ позади, отдѣлившись отъ своихъ одноклассниковъ, смотритъ на паркетный полъ и шагаетъ очень медленно. Никто на него не обращаетъ вниманія, никто не предлагаетъ ему идти домой вмѣстѣ, никто не окрикнетъ по фамиліи.

Заплатинъ Иванъ совершенно забытъ... Заплатинъ Иванъ не существуетъ для нихъ болѣе... Что диванъ, что Заплатинъ Иванъ,—имъ все равно... Во время перехода отъ класса до швейцарской Заплатинъ Иванъ услыхалъ только одну фразу, да и то эта фраза не была обращена непосредственно къ нему, а была сказана резонерски-спокойнымъ тономъ въ пространство. Когда

Заплатинъ Иванъ спускался съ послѣдней ступени широкой лѣстницы съ перилами въ швейцарскую, — его торопливо обогналъ Сметанинъ Николай и довольно отчетливо произнесъ:

— Дуть слѣдуетъ предателей!..

Заплатинъ Иванъ притворился, что не слышитъ, — даже не обернулся, и ничего не отвѣтилъ. Но краска стыда, внезапно покрывшая его щеки, выдала притворство Заплатина Ивана...

Да, онъ слышалъ, отлично слышалъ... Но что же могъ онъ отвѣтить?.. Ничего, рѣшительно ничего... Это, дѣйствительно, правда,—онъ выдалъ...

Дѣло было такъ.

Вчера, во время „большой перемѣны“, въ первомъ основномъ классѣ поднялась страшная возня около классной доски. Петровъ и Григорьевъ стали бороться. Петровъ хватилъ „подъ ножку“ и повалилъ Григорьева. Кто-то закричалъ въ этотъ моментъ „куча мала!“—и скоро оба борца исчезли подъ грудою повалившихся первоклассниковъ. Кто-то, воодушевившись, закричалъ во все горло „ура“, другіе поддержали... А Соколовъ вошелъ въ такой экстазъ, что не вытерпѣлъ и пустилъ въ окно мокрой тряпкой, которой стирается съ доски мѣлъ. Стекла со звономъ и дребезгомъ посыпались на подоконникъ и на полъ, а первоклассники разомъ отрезвѣли и въ одно мгновеніе разсыпались въ стороны, заняли свои мѣста на партахъ и уткнули носы въ раскрытые учебники...

Но было поздно!..

Торопливо вбѣжавшій въ классъ надзиратель, по прозванію класса—„козья борода“, успѣлъ уже замѣтить главныхъ „зачинщиковъ“...

Петровъ и Григорьевъ, какъ лежавшіе на самомъ низу „кучи“, не успѣли во-время занять свои позиціи на заднихъ партахъ и не оправились еще отъ волненія... Они и попали, такъ сказать, въ первую голову.

Попалъ еще Сметанинъ Николай и ни въ чемъ неповинный Заплатинъ Иванъ. Послѣдній былъ только зрителемъ происшедшей свалки, и даже потерпѣвшимъ, ибо мокрая тряпка, прежде чѣмъ разбить стекло, мазнула Заплатина Ивана по физіономіи. Непосредственнаго участія онъ не принималъ... Однако, „козья борода“ записала и Заплатина, который, неожиданно увидавъ надзирателя, такъ и остался на мѣстѣ, съ испуганно-раскрытыми глазами и полуоткрытымъ ртомъ, пораженный какимъ-то столбнякомъ...

Пришелъ въ классъ инспекторъ. Онъ вызвалъ съ мѣстъ всѣхъ виновниковъ катастрофы и спокойно, но угрожающе, потребовалъ сознаться, кто разбилъ стекло. Всѣ стоически выдерживали пронизывающій взглядъ инспектора, настаивая на своей полной невинности.

— Ей-Богу же, Александръ Андреичъ, не я!..

— Не ты?... Я спрашиваю въ послѣдній разъ...

— Не я...

— И не знаешь, кто?

— Не знаю.

— А зачѣмъ смотришь вбокъ? Гляди прямо!

— Я прямо.... Не знаю... Не видалъ. Я стоялъ задомъ.

— Гм... И ты, Петровъ, стоялъ задомъ?

— И я задомъ... Ей-Богу, задомъ...

Оказалось, что всѣ опрашиваемые были въ моментъ катастрофы „задомъ“ и потому не могли назвать сидѣвшаго теперь, какъ ни въ чемъ не бывало, на „камчаткѣ“, истиннаго преступника.

Только Заплатинъ Иванъ не выдержалъ и сталъ хныкать.

— И ты—задомъ? — сердито спросилъ его инспекторъ.

— Я не задомъ... нѣтъ,—заикаясь, пробормоталъ Заплатинъ Иванъ...

— Значитъ,—передомъ?...

— Ничего сдѣлать не умѣютъ!.. Это ужасно...

— Я сказалъ, а меня ругаютъ... дразнятъ предателемъ... ябедой...

— Ахъ, Ваня, будетъ!.. Ты ужасно надоѣдаешь... И всегда въ то время, когда мнѣ некогда... Ты видишь вѣдь, что я занята?.. Нельзя развѣ объ этомъ послѣ... Груша, вотъ здѣсь еще!..

Ваня замолчалъ. Онъ еще нѣкоторое время ковырялъ пальцемъ обивку софы, потомъ всталъ и тихо, задумчиво побрелъ изъ будуара...

Ваня пошелъ посмотрѣть, что дѣлаетъ папа...

Онъ тихонько пріотворилъ дверь отцовскаго кабинета и заглянулъ туда.

Папа тоже „собирается“. Лицо у него—доброе и веселое. Папа былъ, видимо, доволенъ собою. Онъ стоялъ передъ зеркаломъ и закручивалъ „въ струнку“ свои усики...

Ваня вошелъ въ кабинетъ.

— Что, Иванъ Петровичъ, скажете хорошенькаго?— шутливо-добродушно спросилъ папа Ваню, отходя отъ зеркала, и любовно погладилъ Ваню по головѣ и потрепалъ по щечкѣ.

— Ты собрался?—печально спросилъ Иванъ Петровичъ.

— Готовъ, готовъ, дружокъ мой...

— Мама тоже скоро готова будетъ... — тихо произнесъ Ваня...

Они помолчали.

Ваня сѣлъ въ большое кресло предъ письменнымъ столомъ, и изъ-за спинки кресла чуть-чуть выставилась его гладко остриженная, какъ точеная, голова...

— У насъ сегодня стекло разбили, — немного помолчавъ, вымолвилъ со вздохомъ Ваня.

— Ужъ не вы ли это, Иванъ Петровичъ, набѣдокурили?..

— Нѣтъ, папа... Это — Соколовъ разбилъ... А меня

понапрасну инспекторъ хотѣлъ безъ обѣда оставить...

На глазахъ Ивана Петровича блеснули слезинки: такъ тяжело было воспоминаніе объ этой несправедливости...

— Эге-ге-ге, Иванъ Петровичъ!.. Чего же это вы нюни-то распускаете? Вѣдь дѣло объяснилось?.. Ты сказалъ, что не ты?..

— Сказалъ, папа... А они меня дразнятъ, папа... ябедой... предателемъ...

— Кто же это они? а? Кто, милый мальчикъ?

— Ученики... Я сказалъ правду, а они... со мной... го... говорить не хот...я-я-ятъ...

— Ну, и ты не говори съ ними!.. Ну, о чемъ же, мальчикъ, плакать? Вѣдь ты сказалъ правду? Правда, другъ, прежде всего!.. Никогда не лги, — это первое... Ты вѣдь у меня—молодецъ... Ну, о чемъ же ты? Полно, полно!! Перестань!..

И отецъ сталъ трепать правдиваго Ивана Петровича за подбородокъ...

А Иванъ Петровичъ окончательно расплакался...

Въ это время въ передней задребезжалъ звонокъ и оборвалъ трогательную сцену. Отецъ точно испугался чего-то и бросилъ Ваню, Ваня торопливо утиралъ слезы рукавомъ блузы. Папа подбѣжалъ къ двери и громкимъ шопотомъ закричалъ:

— Груша! Груша!!

— Здѣсь, баринъ...—отвѣтила горничная.

— Дома нѣтъ!.. Мы уѣхали въ клубъ! Слышишь?

— Слушаюсь! — сказала Груша, и пошла въ переднюю.

Она быстро вернулась и принесла папѣ визитную карточку. Папа прочиталъ, что было въ ней написано, и, разсердившись, бросилъ ее на столъ (папу просили „ради Бога пріѣхать къ больному сейчасъ же“. Ванинъ папа былъ докторъ).

— Ни минуты покоя! Они не понимаютъ, что и я—человѣкъ, что и мнѣ нуженъ отдыхъ,—заворчалъ папа.

Ваня взялъ въ руки визитную карточку и сталъ читать ее...

— А если, папа, онъ умретъ?..

— Не суйся, пожалуйста, туда, гдѣ тебя не спрашиваютъ, — съ сердцемъ оборвалъ Ваню папа и прибавилъ:

— Ступай, скажи, что уѣхалъ въ клубъ, — а если спросятъ, въ какой клубъ,—скажи:—не знаю... Ступай вмѣстѣ съ Грушей!..

Въ кабинетъ вошла мама, величественная, гордая, съ сіяющимъ лицомъ, плечами и руками, блиставшая дорогими камнями и золотомъ, распространявшая вокругъ тонкое, нѣжное благоуханіе ландыша, — и папа пересталъ сердиться.

Груша ушла, а Ваня остался... Ему вдругъ почему-то не захотѣлось идти въ переднюю, а захотѣлось побыть съ папой и мамой...

— Ты готовъ, Пьеръ?—спросила мама.

— Готовъ!.. Отъ Ждановыхъ сейчасъ были... Утромъ былъ и опять извольте ѣхать... Кажется, сказалъ достаточно ясно, что нечего тутъ напрасно валандаться...

— Ну, сказалъ, что дома нѣтъ, вотъ и все!.. Есть изъ-за чего горячиться!..—весело замѣтила мама...

— Сказалъ, такъ не вѣрятъ: карточку суютъ еще!.. Они думаютъ, что за 25 рублей въ мѣсяцъ я буду два раза въ день путешествовать!..

— Ну, кажется, путь свободенъ... Ѣдемъ!..

Папа поцѣловалъ маму, а Иванъ Петровичъ сталъ размышлять: „зачѣмъ папа сказалъ неправду, что его нѣтъ дома?—лгать скверно“.

Его размышленія, впрочемъ, были прерваны мамой...

— Ну, Ванекъ, прощай!.. Веди себя безъ насъ лучше... Уроки-то всѣ выучилъ?

— Осталось Ros'у склонять... Первое склоненіе...

— Ну, вотъ *розу* выучи свою и ложись спать...

Мама подробно разсказала Ванѣ, что и какъ онъ долженъ дѣлать въ ихъ отсутствіе, и чего не долженъ дѣлать...

Потомъ папа съ мамой поцѣловали Ваню и уѣхали...

III.

Въ столовой, за круглымъ, покрытымъ клеенкою столомъ, сидѣли старая нянька съ чулкомъ и Ваня съ латинской грамматикой. Няня, согнувшись, проворно двигала костлявыми пальцами, нанизывая петельку за петелькой на чулочныя иглы, Ваня училъ склонять свою Ros'у...

Впрочемъ, ученіе шло туго, и Ваня машинально повторялъ „Rosa, Rosae, Rosae, а въ сущности, онъ не покидалъ проклятаго вопроса: скверно поступилъ онъ, выдавши Соколова, или хорошо—сказавъ правду?

— Михѣевна, ты врешь?..

— Чего, батюшка, вру?..

— Нѣтъ, ты когда-нибудь врала?..

— Зачѣмъ, Ваничка, врать!..

— Никогда?.. Ни разу?..

— Не помню, чтобы врала...

— А папа вретъ?..

— Ай-ай! Рази про отца родного можно такъ говорить!..

— Ты скажешь,—никогда папа не вралъ?..

— Ахъ, Ваничка, что вы это говорите!.. Рази хорошо?!.

— Я не виноватъ, что папа вретъ... А онъ вретъ... Давеча совралъ...

— Полноте, Ваничка!... Учите-ка уроки лучше...

— Давеча его пригласили лѣчить, а онъ сказалъ, что дома нѣтъ... Что?

— Потому, что вашъ папа устамши, и ему надо отдохнуть...

— Мало ли что!.. Я не про то говорю... А все-таки, вѣдь онъ былъ дома?...

— Ну, такъ что же... нельзя...

— Значитъ, онъ совралъ?...

— Зачѣмъ же, совралъ...

— А ну тебя!.. Ничего не понимаешь... Съ тобой не сговоришь...

Nominativus—Rosa
Genitivus—Rosae
Dativus—Rosae...

— Ты, Груша, зачѣмъ врешь?—прервалъ склоненіе Ваня, увидя подошедшую къ столу горничную...

— Когда?..

— А давеча?.. Сказала, что папа уѣхалъ, а онъ былъ дома...

— Мнѣ-то что!.. Что мнѣ приказываютъ, то и скажу... Правдой не проживешь, баринъ...

— Какъ это не проживешь?.. А я вотъ проживу!..— сказалъ Ваня. — По-твоему какъ? — хорошо, что я выдалъ Соколова... Онъ стекло разбилъ, а я сказалъ про него?...

— Вотъ и нехорошо...

— Товарищей выдавать нехорошо, — вставила доселѣ молчавшая нянька, — надо другъ за дружку стоять... Мало ли что промежду товарищами бываетъ... Надо ужъ другъ за дружку...

— Значитъ, я—предатель, по-твоему?

— Выходитъ, что такъ...

Ваня смолкъ. Онъ уставился въ грамматику и читалъ падежи склоненія. Но читалъ безъ всякаго вниманія, и потому память совершенно бездѣйствовала...

Послѣ грамматики Ваня схватилъ „Законъ“ и хотѣлъ повторить.

Папа говоритъ, что лгать скверно, а самъ вретъ...

А нянька съ Грушей говорятъ, что онъ — предатель... И самому ему теперь чувствуется, что онъ сдѣлалъ нехорошо, выдавши Соколова, хотя и сказалъ правду...

Эти мысли и чувства всецѣло овладѣли Иваномъ Петровичемъ, и „проклятый вопросъ" о правдѣ всталъ передъ нимъ мучительной загадкой... Иванъ Петровичъ повернулся на спину и закрылъ глаза. Ему было такъ совѣстно, что лучше было лежать съ закрытыми глазами. И онъ лежалъ, долго-долго...

Съ кряхтѣніемъ и оханьемъ поднялась по лѣстницѣ въ дѣтскую няня...

— Ты что, Ваничка, дѣлаешь?..

Ваничка молчалъ.

— Экій грѣхъ, никакъ, заснулъ... Иванъ Петровичъ! А, Иванъ Петровичъ!..

Нянька потрогала Ваню за руку.

— Надо раздѣть, а то барыня опять сердиться будутъ...—подумала вслухъ старуха.

Притворяться болѣе было нельзя, и нянька ужасно удивилась, когда Иванъ Петровичъ сердито огрызнулся:

— Самъ я раздѣнусь!.. Убирайся отъ меня!..

— Я думала, вы уснули...

— Ничего не уснулъ...

Нянька ушла внизъ, а на смѣну ей скоро появилась въ дѣтской горничная Груша.

— Иванъ Петровичъ!.. А вы раздѣньтесь!..

— Убирайся ты отъ меня!..

— Нехорошо... Господа не спятъ въ брюкахъ... Барыня пріѣдутъ,—разсердятся... — убѣждала Ивана Петровича горничная.

— А я вотъ сплю въ брюкахъ...—упрямо отвѣтилъ Иванъ Петровичъ.

— Вы хоть сапоги-то сымите!...

— Не желаю...

Груша еще разъ попыталась нарисовать Ивану Пе-

тровичу весь ужасъ мамы, если она застанетъ его спящимъ, нераздѣтаго, пыталась даже собственноручно снять съ „безстыдника-барина“ сапоги и брюки...

Но Иванъ Петровичъ упрямо лягался и кричалъ:

— Отвяжись же, Груша!.. Я тебя не трогаю, ну и ты не лѣзь ко мнѣ!..

— А вы не лягайтесь, баринъ... Безстыдникъ какой!..

— Я хочу махать ногами, а ты сама подставляешь лицо... Смотри, я буду не виноватъ, если...

— Безстыдникъ!..

Груша разсердилась и ушла.

Иванъ Петровичъ остался одинъ и снова углубился въ разрѣшеніе „проклятаго вопроса“... Долго онъ думалъ, по временамъ вздыхалъ и чесался... Наконецъ, къ ужасу няньки и горничной, уснулъ-таки въ сапогахъ и брюкахъ...

ОБОСТРЕННЫЯ ОТНОШЕНІЯ.

Миша упорно молчалъ... Онъ не желалъ вовсе разговаривать... Его звали обѣдать, онъ категорически отказался:

— Не желаю...

Его звали пить послѣобѣденный чай, — онъ отвѣтилъ очень спокойно, съ твердой рѣшимостью въ тонѣ:

— Пейте, пожалуйста, чай, кофе, а меня оставьте въ покоѣ: мнѣ ничего не нужно.

Старшая сестра, Нина, получившая такой отвѣтъ отъ Миши, неестественно громко расхохоталась и сказала:

— Ты думаешь, кому нужно?... Сдѣлай одолженіе: можешь прекратить и ѣду, и питье,—никто не заплачетъ.

Сказала и весело вспорхнула и скрылась за дверью. Миша, впрочемъ, уловилъ какъ въ ея голосѣ, такъ и въ этомъ черезчуръ безпечномъ отвѣтѣ, и въ томъ, какъ она порхнула,—нѣчто говорящее въ свою пользу... Конечно, она притворяется, показывая видъ, что и папѣ, и мамѣ, и всѣмъ „не больно нужно“, что онъ не обѣдаетъ и не пьетъ чаю... Навѣрно, всѣ очень безпокоятся и не знаютъ, какъ склонить его къ согласію обѣдать и пить чай... Ну, и пусть помучаются... Сами виноваты. Единица изъ латинскаго еще не такая вина, чтобы срамить его при всѣхъ и говорить, что онъ

лучше пойдетъ въ сапожники... Ну, въ сапожники, такъ и ладно, и прекрасно, а обѣдать онъ все-таки не будетъ...

Миша сидитъ въ гостиной на диванѣ, смотритъ на развернутый номеръ „Будильника“ и прислушивается къ тому, что дѣлается въ сосѣдней комнатѣ. Тамъ, навѣрное, говорятъ о немъ и о томъ, что онъ не обѣдаетъ, ничего не ѣстъ и не пьетъ, и что онъ, въ сущности,—„способный мальчикъ“.

— Гдѣ же Михаилъ?... все еще дуетъ губы?—слышится голосъ матери.

— Они сердятся, — какъ-то протяжно и съ ударéніемъ отвѣчаетъ Нина.

— Надо ему все-таки оставить чего-нибудь,—баситъ голосъ отца.

„Ага!.. Оставить!.. Больно-то мнѣ нужно!..“ — мысленно произноситъ Миша. „Зачѣмъ же сапожнику оставлять?..“

— Михаилъ!..—кричитъ отецъ.

Миша молчитъ. Отецъ повторяетъ окрикъ.

— Что? — глухо, но съ достоинствомъ, отвѣчаетъ Миша, ниже наклоняясь къ „Будильнику“.

— Иди сюда!.. Будетъ дуться-то!..

— Я не дуюсь, а читаю... Сапожнику неприлично сидѣть за столомъ...

— Болванъ!..

— И прекрасно... болванъ, такъ болванъ, — вслухъ отвѣтилъ вспыхнувшій Миша и тихонько добавилъ, шевеля губами: „отъ болвана слышу“...

— Прочванится...—звонко доносится голосъ сестры.

— Молчи ты, безмозглая,—шепчетъ Миша, и страшная ненависть къ сестрѣ вспыхиваетъ вдругъ въ его сердцѣ. Миша жаждетъ мести... Если бы не было тутъ отца, онъ бы показалъ ей... И чего она лѣзетъ? Кажется, ее никто не спрашиваетъ?!

Миша сердито откашливается, бросаетъ „Будиль-

никъ“ на столъ, потомъ шаритъ по своимъ карманамъ и вытаскиваетъ карандашъ. Подъ одной изъ каррикатуръ, гдѣ изображенъ молодой человѣкъ подъ лавкой,—а около лавки—дама и пояснено текстомъ, что молодой человѣкъ рѣжетъ ножемъ „вензель“ этой дамы подъ лавкой, ибо верхняя сторона уже вся изрѣзана,—Миша подписываетъ: „Это—Нинка, а это Володька Пѣтушковъ. Оба дураки непроходимые“. Затѣмъ развертываетъ номеръ такъ, чтобы всякій замѣтилъ эту каррикатуру,—и уходитъ въ свою комнату.

Замѣтивъ на столѣ шляпу Нины, Миша швыряетъ ее на полъ.

— На мой столъ этакой дряни не класть!—говоритъ онъ громко, хотя знаетъ, что никто его не услышитъ.

Миша чувствуетъ себя врагомъ рѣшительно всѣхъ... Ему кажется, что домъ раздѣлился на два враждебныхъ лагеря: въ одномъ онъ, Миша, въ другомъ—всѣ остальные. Поэтому, когда въ комнату Миши вошла горничная,—онъ встрѣтилъ ее враждебно.

— Михаилъ Павлычъ!..

— Проваливай!..

— Къ вамъ гость пришелъ...

— Проваливай, говорятъ.

— Не ѣмши—вотъ и сердитесь...

Миша отлично понялъ, что горничную подсылали къ нему... Раскаялись и стараются какъ-нибудь исправить... Онъ—не маленькій. Пусть помучаются!..

А ѣсть, дѣйствительно, хочется... Развѣ зайти въ кухню?.. Нѣтъ, не стоитъ: кухарка скажетъ горничной, горничная—Нинкѣ, и начнутъ потѣшаться...

Лучше протерпѣть... Пусть придетъ самъ папа, или даже мама, и скажутъ: „не сердись, Миша... Ты знаешь, что если не будешь ѣсть и пить, то можешь захворать, и знаешь, какъ это огорчитъ насъ... Ну, извини, больше этого не будетъ“... Тогда Миша, конечно, согласился бы и сейчасъ же пошелъ бы въ столовую. Ко-

нечно, ему оставили... Сегодня, кажется, борщъ готовили...

Миша проглотилъ слюну и, подойдя къ двери, сталъ поджидать, когда послышатся мягкіе шаги матери... Отецъ-то не придетъ, это ужъ вѣрно, а вотъ мама можетъ прійти и попросить извиненія...

Но мама не шла, а ѣсть хотѣлось...

Вмѣсто ожидаемыхъ делегатовъ, появился въ дверяхъ красивый сетеръ „Фальстафъ“. Тихой, лѣнивой поступью вошелъ онъ въ комнату, понюхалъ Мишу и вяло помахалъ хвостомъ...

„Фальстафъ“ — любимецъ отца, и его мѣсто—подъ письменнымъ столомъ отцовскаго кабинета. Чего же онъ лѣзетъ сюда?.. Пусть идетъ къ своему хозяину и виляетъ хвостомъ. Нажрался какъ!.. Даже брюхо раздуло...

— Пшелъ!—сердитымъ шопотомъ крикнулъ вдругъ Миша и толкнулъ ногой собаку такъ больно, что та визгнула сперва громко, а потомъ тише и, обиженно поджавъ хвостъ, медленной рысью оставила комнату...

А ѣсть хочется...

Миша долго сосалъ палецъ лѣвой руки, сосредоточенно обдумывая свое положеніе... Наконецъ, поймалъ счастливую мысль, которая избавляла его отъ всякихъ компромиссовъ съ врагами. Одноклассникъ Миши, Ивановъ, недавно продалъ на толкучемъ рынкѣ братнину алгебру Малинина и Буренина и купилъ себѣ тамъ же кинжалъ...

А Миша можетъ продать свою книгу, прошлогоднюю, и купить себѣ въ булочной пирожковъ и ватрушекъ, и даже пирожнаго... Можно еще зайти въ молочную... А они будутъ мучиться... И пусть!.. Сами виноваты... въ другой разъ не станутъ...

Порывшись въ своемъ книжномъ шкафчикѣ, Миша вытащилъ, наконецъ, одну тощенькую книжонку... „Понадобится, да нескоро... Тогда забудутъ, что покупали,

и можно будетъ--новую",—подумалъ Миша и окончательно обрекъ учебникъ на продажу...

Идти черезъ столовую ему не хотѣлось... Тамъ всѣ сидятъ и подумаютъ, что онъ навязывается и хочетъ какъ-нибудь помириться... Наплевать!.. Миша отлично обойдется и безъ дверей...

Миша вылѣзъ въ окно, запряталъ въ пазуху книгу и отправился на толкучій рынокъ. Время близилось къ вечеру... Скоро могутъ запереть лавки, надо торопиться... Миша летѣлъ на всѣхъ парахъ... Проходя около строющагося дома, онъ, для сокращенія пути, двинулся по грудѣ досокъ и мусора и запнулся... Въ результатѣ была дыра на сапогѣ, на самомъ видномъ мѣстѣ... Въ другой разъ подобное несчастіе огорчило бы Мишу, тѣмъ болѣе, что сапоги куплены недавно и вручены ему съ предупрежденіемъ, чтобы беречь... Теперь—наплевать!... Пусть!.. Пускай покупаютъ новые... Они, конечно, скажутъ: „ходи безъ сапогъ, какъ сапожникъ"... Но вѣдь онъ отлично понимаетъ, что купятъ... Имъ же будетъ стыдно, если онъ, сынъ присяжнаго повѣреннаго, будетъ ходить въ худыхъ сапогахъ... Не бойтесь, купятъ...

Вотъ и толкучій рынокъ. Здѣсь такъ оживленно, весело... Галдятъ, кричатъ, ругаются... Просто—содомъ какой-то!..

— Пира-аги гаря-ячія!.. -- гнусаво и пронзительно выкрикиваетъ широколицый мужикъ, въ грязномъ фартукѣ, съ жирнымъ носомъ. Этотъ мужикъ посмотрѣлъ на Мишу и предложилъ:

— Хошь пироговъ?.. Съ пылу, съ жару--пятакъ за пару!..

— Съ чѣмъ?—пріостановившись, спросилъ Миша...

— Возьми у меня! Баринъ! У него холодны, а у меня горячи!—завизжала баба и встала съ корчаги, въ которой хранились горячіе пироги...

— Потомъ куплю!.. Некогда...—произнесъ Миша и

полѣзъ между густой толпою грязнаго пестраго люда къ воротамъ, въ гостиный дворъ съ лавками старьевщиковъ.

Въ сильномъ волненіи и впопыхахъ подошелъ онъ къ лавочкѣ букиниста... Тотъ стоялъ у своего шкафчика въ выжидательной позѣ. Старикъ, въ очкахъ, съ глубокомысленнымъ взоромъ, этотъ лавочникъ походилъ, по крайней мѣрѣ, на профессора. Завидѣвъ гимназиста, онъ спрятался внутрь своего шкафика и, раскрывъ какую-то книгу, углубился...

— Покупаете книги?

— А что продаете?

— Азію, Африку и Америку! Совсѣмъ новая...—впопыхахъ проговорилъ Миша...

— Смирнова?

— Да...

— Европу взялъ бы еще... А этихъ много, — произнесъ лавочникъ, нехотя принимая отъ Миши книгу...

— Старое изданіе... Гривенникъ дамъ, — добавилъ онъ, перелиставъ нѣсколько страницъ.

— Велѣли — за двадцать!.. Меньше—не отдавать,— застѣнчиво отвѣтилъ Миша.

Лавочникъ позѣвнулъ и подалъ книгу Мишѣ.

— Ну—пятнадцать!.. Вѣдь она совсѣмъ новая?!

Лавочникъ ничего не отвѣтилъ...

— Ну, ладно... гривенникъ...

— Себѣ въ убытокъ,—позѣвывая, произнесъ лавочникъ, положилъ на прилавокъ два пятака, а покупку небрежно бросилъ на полку и опять уставился въ книгу.

— Я, можетъ быть, и Европу принесу,—проговорилъ Миша, запрятывая пятаки въ карманъ.

— Несите... Только какая Европа опять? Другая и гривенника не стоитъ... Это какое изданіе... Словарей нѣтъ ли? Шульца? Ариѳметики? Посылайте товарищей,—я всѣхъ больше даю...

— Пришлю...

Миша вышелъ и отправился осматривать съѣдобный товаръ. Не дошелъ до пироговъ и соблазнился халвой съ макомъ. На три копѣйки купилъ халвы и съѣлъ ее съ большимъ удовольствіемъ. А вотъ и баба съ пирогами...

— Съ чѣмъ есть?

— Съ груздями, съ говядиной, съ морковью.

— Почемъ?

— Пятакъ пара...

— Съ морковью не люблю... Давай одинъ съ говядиной, другой съ груздями!

Съѣвши оба пирога, Миша захотѣлъ пить. На оставшіяся, за всѣми расходами, двѣ копѣйки онъ выпилъ двѣ кружки какого-то розоваго квасу. Вторую кружку едва допилъ... Было немного противно и приторно, но оставлять все-таки было жалко.

— Уфъ!..—выпустилъ Миша, съ трудомъ допивши послѣднюю кружку квасу.

— Что? въ носъ вдарило?—хвастливо спросилъ квасникъ и громко и пѣвуче закричалъ:

— Ква-су ядре-наго, хал-однаго, прохладительнаго!..

Вернувшись домой, Миша нашелъ на своемъ столѣ тарелку съ кускомъ холоднаго мяса, хлѣбъ, стаканъ молока и три вафли. Единственно, что соблазняло Мишу—это вафли. Это—любимое блюдо Миши, но самолюбіе не позволяетъ ему воспользоваться вафлями. Если бы еще не помнили, сколько вафлей дали: двѣ или три,—онъ одну съѣлъ бы... Отъ каждой вафли Миша отрѣзалъ осторожно по краямъ по узкой ленточкѣ и съѣлъ. Отхлебнулъ глотокъ молока. Вкусно... Но наплевать!..

Розовый ядреный квасъ то и дѣло „ударялъ въ носъ“ Мишѣ, а халва съ макомъ и пироги съ груздями и тухлой говядиной будоражили Мишинъ желудокъ...

— Фу, ты!.. — сердито говорилъ Миша и время отъ времени плевалъ на полъ...

— Гдѣ ты пропадалъ?—спросила Нина, появляясь въ комнатѣ.

— Это—мое дѣло... Я тебя не спрашиваю, гдѣ ты шляешься...

Нина мимоходомъ взглянула на столъ, гдѣ стоялъ Мишинъ обѣдъ въ неприкосновенности.

— Мама велѣла тебѣ съѣсть кусокъ мяса!..

— Я могу и не ѣсть... Я — болванъ и сапожникъ... Вы присяжные повѣренные, а я — сапожникъ... и болванъ... Значитъ,—и нечего!..

— Ну, какъ хочешь...

— И прекрасно!.. Гуляйте съ вашимъ Пѣтушковымъ, а меня оставьте въ покоѣ...

— Дуракъ!..—бросила съ раздраженіемъ Нина и ушла.

Миша чувствовалъ себя способнымъ выдерживать осаду враговъ и отражать всѣ приступы ихъ своимъ полнымъ равнодушіемъ къ ѣдѣ. Пироги съ груздями и мясомъ, халва съ макомъ — явились его союзниками...

Можетъ быть, такъ продолжалось бы еще очень долго. Но случилось непредвидѣнное обстоятельство, положившее конецъ взаимнымъ обостреннымъ отношеніямъ.

У Миши сталъ побаливать животъ и чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе... Рѣзь въ животѣ заставила его лечь на постель, вверхъ спиною, и тихо охать. Миша не хотѣлъ выдавать своего безоружнаго положенія и долго крѣпился и охалъ въ подушку... Но пироги съ груздями и квасъ ядреный, прохладительный, дѣлали свое дѣло. Миша начиналъ стонать громче и бить кулаками въ подушку.

— Ахъ, да что это за наказанье!.. — плаксиво гнусилъ онъ время отъ времени и дрыгалъ ногами.

Къ ночи Миша уже кричалъ, не сдерживаясь, и всѣ враги толпились около его постели, кромѣ отца, который былъ, по обыкновенію, въ клубѣ. Мать мѣрила Мишѣ температуру, сестра Нина терла горчичники, горничная побѣжала за докторомъ. Даже „Фальстафъ“ пришелъ навѣстить больного и, вертясь между хлопочущими врагами, смотрѣлъ на Мишу своими умными глазами печально и сочувственно.

— Что же ты надѣлалъ? — тревожно спрашивала мать, страшно боясь въ глубинѣ души, не выпилъ ли Миша какого-нибудь ядовитаго вещества, чѣмъ онъ грозилъ иногда во время такихъ же обостренныхъ отношеній...

— Ты чего-нибудь принялъ? А? Миша! Скажи же, голубчикъ! Поскорѣй!..

— Я, мама... Охъ! Ай-ай-ай!.. Я продалъ, мамочка, Азію, Африку и Америку... охъ!.. Ай-ай-ай!.. И купилъ пироговъ съ груздями...

— Что ты! Миша! Онъ бредитъ... Господи!.. Что же докторъ? Пошлите за отцомъ въ клубъ... Охъ, Господи...

Мать наклонялась надъ Мишей, держала свою руку на его лбу и цѣловала Мишу въ щеку. Сестра, со слезами на глазахъ, бѣгала по комнатамъ и, останавливаясь предъ окномъ, тревожно смотрѣла на улицу, ожидая появленія доктора.

Пріѣхалъ, наконецъ, и докторъ.

— Ну-съ, молодой человѣкъ, гдѣ у васъ больно? Перевернитесь!..

Миша послушно перевернулся. Докторъ его осмотрѣлъ, ощупалъ, выслушалъ...

— Что вы сегодня кушали?...

— Ахъ, докторъ, онъ совершенно ничего не ѣлъ сегодня... Какъ пришелъ изъ гимназіи, — ничего въ ротъ не бралъ...

— Это тоже нехорошо... Можетъ быть, вы, молодой

человѣкъ, все-таки скушали что-нибудь? Скажите по совѣсти...

— Да... я ѣлъ пироги съ груздями... Я продалъ Азію, Африку...

— Что такое?..—шопотомъ спросилъ встревоженный отецъ, прискакавшій на извозчикѣ изъ клуба, гдѣ онъ бросилъ партію неоконченной.

Спустя часъ, въ домѣ все стихло... Миша съ компрессомъ на животѣ лежалъ въ постели, а около него сидѣли мать и сестра... Обѣ онѣ ухаживали за Мишей и послушно исполняли всѣ капризныя требованія его...

Боль въ животѣ спадала, и Миша начиналъ чувствовать полное удовлетвореніе...

ОДУВАНЧИКЪ.

Сказка.

Его звали Одуванчикомъ. Онъ одиноко торчалъ на берегу весело журчавшаго ручья и смотрѣлъ въ зеркало прозрачной, какъ горный хрусталь, и холодной ключевой воды. Тамъ онъ видѣлъ куски голубого неба, клочки бѣлыхъ облаковъ, пушистыхъ и легкихъ, отраженіе береговыхъ травъ и кустовъ тальника; а ночью— онъ съ грустью и подолгу смотрѣлъ, какъ въ черной водѣ ручья, казавшагося таинственной бездной, трепетали звѣзды, — и безотчетная грусть поднималась гдѣ-то въ глубинѣ души его... Тогда онъ думалъ о томъ, что эти золотыя звѣзды будутъ такъ же ярко горѣть, когда о немъ не останется даже воспоминанія... И въ эти ночи онъ сильнѣе чувствовалъ свое одиночество, и сильнѣе его сердце жаждало любви и сочувствія...

Онъ былъ поэтъ и, какъ всѣ захолустные поэты, имѣлъ на головѣ цѣлую копну поэтически-всклокоченныхъ волосъ... Онъ не хотѣлъ знать о томъ, что прошло уже то время, когда поэты не стриглись, о томъ, что теперь длинные волосы относятся уже не къ области поэзіи, а скорѣе политики... несмотря на то, что онъ вышелъ уже изъ того возраста, когда не называютъ по имени, а всегда — „молодымъ человѣкомъ“, несмотря на зрѣлость лѣтъ, онъ увлекался, какъ истинный поэтъ-художникъ, гоняясь за призрачной мечтой,

созданной легкой и обманчивой фантазіей... Пунцовая Гвоздика, Ромашка, Куриная Слѣпота, Иванова Марья,—всѣ онѣ когда-то были предметами увлеченій безкорыстнаго поэта и вдохновляли его на маленькія художественныя произведенія, которыя и до сей поры распѣваются по лѣсу многими звонкоголосыми птичками. Однажды онъ даже увлекся Божьей Коровкой, но та посмѣялась надъ его чувствомъ и улетѣла такъ же скоро, какъ скоро и неожиданно подсѣла къ нему. Въ свое время это произвело на поэта удручающее впечатлѣніе, и онъ написалъ грустную элегію, которую поетъ Иволга. Но теперь онъ уже утѣшился, сказавъ себѣ мысленно: „Довольно увлеченій! Пора молодости миновала!“

И съ этого времени онъ видѣлъ счастіе только въ созерцаніи прекраснаго...

Утро было великолѣпно. Солнце свѣтило ослѣпительно ярко. Небеса были безоблачны, а воздухъ напоенъ ароматомъ цвѣтовъ и зелени. Вся природа ликовала и радовалась. Каждый кустикъ и травка, жучокъ и бабочка, каждая птичка—всѣ спѣшили насладиться радостями жизни... Радовался бархатный лугъ, радовался сверкавшій на солнцѣ ручей и рѣчка, что змѣйкою убѣгала къ лѣсу. А лѣсъ тянулся далеко-далеко и, задернутый голубоватою дымкою, утопалъ въ синевѣ ранняго весенняго утра... Слезы счастія блистали алмазами на каждомъ листочкѣ и цвѣткѣ. Солнце своими горячими лучами отирало эти слезы, унося ихъ невидимками въ безпредѣльный міръ эѳира. Красивый мотылекъ, трепеща крылышками, замиралъ на мѣстѣ, раздумывая, гдѣ-бъ ему присѣсть, чтобы удобнѣе отдаться восторгамъ созерцанія жизни. Трудолюбивая пчелка съ хлопотливымъ жужжаніемъ проносилась мимо, боясь потерять даромъ даже одно мгновеніе такъ прекрасной, но краткосрочной весны... А высоко-высоко въ голубомъ эѳирѣ прозрачныхъ небесъ

купался жаворонокъ. Онъ поднялся туда, чтобы съ высоты взглянуть на пиръ жизни, и теперь пѣлъ гимнъ въ честь красавицы весны и еще о томъ, какъ велико на землѣ счастіе и какъ хочется жить и любить всѣмъ сердцемъ своимъ.

Поэтъ въ описываемое утро занимался созерцаніемъ и чувствовалъ избытокъ счастія и радости.

— Какой-то дуракъ сказалъ, что на землѣ нѣтъ счастія, что счастіе — пустая фантазія мечтаній!.. А я повѣрилъ... Какая ложь! Мое сердце трепещетъ отъ счастія, отъ счастія я хочу плакать...

Кругомъ было тихо. Только жаворонокъ пѣлъ свою пѣсню о любви и счастіи, да кузнечикъ неугомонно стрекоталъ въ гущѣ травы и листочковъ.

Поэтъ созерцалъ и прислушивался.

— Да, истинное счастіе, вѣчное, а не мимолетное, заключается въ созерцаніи... — подумалъ вслухъ поэтъ и оглянулся вокругъ...

И вдругъ его взоры встрѣтились съ очаровательными Анютиными Глазками... Ахъ, что за милые, чудные были эти глазки! Смѣло ручаюсь, что всякій, имѣющій голову, могъ потерять ее, любуясь этими перлами красоты!.. Голубые, какъ весеннее небо, такіе же прозрачные, глубокіе, ласкающіе. Кто заглядывалъ въ эти глаза, чей взоръ пытался проникнуть въ тайну ихъ смысла и содержанія, тотъ невольно отдавалъ себя во власть этимъ кроткимъ, добрымъ и ласкающимъ глазамъ, хотя бы онъ былъ такъ же могучъ и силенъ духомъ, какъ кузнецъ Вакула, сумѣвшій осѣдлать самого чорта, былъ крѣпокъ тѣломъ... Да, эти кроткіе и невинные глазки были могущественны и деспотичны, и, будь поэтъ хоть немножко суевѣренъ, онъ безъ малѣйшаго колебанія призналъ бы за ними свойства волшебнаго чародѣйства... Стоило только разъ встрѣтиться съ этими чародѣями-глазами, — и вы теряли уже спокойствіе, васъ тянуло къ нимъ, вы ихъ

искали, они смотрѣли на васъ въ сумеркахъ звѣздной весенней ночи, не давая вамъ спать, они будоражили вашу душу, возбуждая то неопредѣленно-безпокойное, безконечно-пріятное и вмѣстѣ съ тѣмъ томящее чувство, которое вы испытываете, слушая въ чудную весеннюю лунную ночь божественныя мелодіи шопеновскихъ ноктюрновъ или дивные аккорды серенадъ Шуберта; вся разница въ томъ, что въ первомъ случаѣ дивная музыка волшебныхъ глазокъ звучала прямо въ вашемъ сердцѣ, проникая туда безъ посредства слуховыхъ органовъ.

Однако, какъ ни кротки показались поэту эти глазки,—мы отъ себя скажемъ, что порой съ нихъ искрами пробѣгало коварство, хитрость и кокетство. Ужъ, видно, ни одни хорошенькіе глазки безъ этого не обходятся!). Анютины Глазки такъ вызывающе, лукаво выглядывали порою изъ густой зелени, что примѣрные супруги, неразлучные Иванъ да Марья начинали безпокоиться: Иванъ скашивалъ взоры въ сторону, а Марья инстинктивно опасаясь за цѣлость и неприкосновенность семейнаго союза, начинала злиться и злословить: „Вотъ говорятъ, что Анютины Глазки очень хороши... Я этого не нахожу. По-моему, даже очень нахальный взглядъ... А знаешь, Ваня, говорятъ... и т. д.“

Такъ вотъ эти самые глазки и увидѣлъ Одуванчикъ раннимъ весеннимъ утромъ. Поэтъ вздрогнулъ и смутился... „Боже мой!—подумалъ онъ, — какіе глаза, какіе чудные неземные глаза!..“

А глазки смотрѣли прямо на поэта, смотрѣли немного насмѣшливо, немножко лукаво, но во всякомъ случаѣ одобрительно... Подулъ легкій игривый вѣтерокъ,— поэтъ закачалъ своей косматой головой и крикнулъ:

— Доброе утро, m-lle!..

— Мерси! — отвѣтилъ мелодичный нѣжный голосъ, а обворожительные глазки опять инквизиторски устремились на поэта.

„Смотри, смотри, Ваня!“—подтолкнувъ локтемъ супруга, шопотомъ сказала Марья своему Ивану,—„кокетничаетъ съ каждымъ встрѣчнымъ...“

— Какъ провели ночь?—спросилъ поэтъ.

— Мерси! Плохо... Я всю ночь не спала: вѣроятно, у лягушекъ какой-нибудь праздникъ: не смолкали до самаго утра.

— Да, у нихъ великій праздникъ любви, и потому пиръ не прекращается до зари...

— А ты, Маша, не знаешь, что это за косматый господинъ съ ней говоритъ? — тихо спросилъ супругу Иванъ.

— Да развѣ ты, Ваня, не знаешь: это нигилистъ.

— Тсс!..

— Ахъ, что такое любовь?! — томно и грустно произнесли Анютины Глазки и потупились въ землю.

Одуванчикъ вздохнулъ...

— Меня никто не любилъ, никогда... — произнесъ онъ, тактично умалчивая о томъ, что самъ онъ увлекался тысячу разъ.

— Я слышала, что вы поэтъ? Скажите, не ваши ли произведенія воспѣвалъ вчера вотъ на этомъ кустѣ Соловей?—сказала красавица.

— Нѣтъ, не мои... Это всемірной знаменитости... А я... я безвѣстный. Вотъ ежели изволили слышать Малиновку и Иволгу, — это мои лучшія вещи... Дятелъ очень благосклонную рецензію о нихъ далъ...

— Кто этотъ г. Дятелъ?

— Нашъ извѣстный критикъ...

— Какъ же я его не знаю? — наивно и капризно воскликнула красавица.

— Ахъ, мерзавка! Ахъ, безсовѣстная! Посмотри, Ваня, какую корчитъ дѣвочку, а вѣдь ей уже двадцать второй!..—прошептала Марья Ивану.

— А ваши произведенія, которыя поетъ Малиновка, я знаю... Очень часто даже наслаждаюсь ими. Особенно

пріятно слышать Иволгу вечерней порою, когда бѣлыя облака загорятся яркимъ румянцемъ и когда такъ вѣетъ прохладою...

Они разговорились. Какъ и слѣдовало ожидать, поэтъ былъ очарованъ и, какъ водится, вдохновился и написалъ посвященіе. Красивый Мохаонъ отнесъ его на своихъ крыльяхъ красавицѣ, а та долго кивала поэту головкой...

Скоро поэтъ убѣдился, что не всегда можно удовлетвориться однимъ созерцаніемъ прекраснаго... Ему хотѣлось стать рядомъ съ Анютиными Глазками, встать такъ близко, какъ стояли Иванъ съ Марьей, даже больше: онъ мечталъ о томъ, какъ прекрасно было бы имѣть одинъ общій стебель и совмѣстные корешки. Бѣдный мечтатель совсѣмъ упустилъ изъ виду, что онъ — простой Одуванчикъ, и что у него нѣтъ даже листьевъ, чтобы украсить свою некрасивую долговязую фигуру, а она—роскошный цвѣтокъ, привыкшій къ благоухающему обществу. Волшебныя чары глазокъ отуманили его голову, и онъ жилъ мечтами и грезами внѣ времени и пространства. Онъ забылъ, что обстановка его поэтической жизни крайне призрачна, и что до сихъ поръ онъ не занимаетъ еще опредѣленнаго положенія, мѣста въ систематикѣ растеній... Онъ слѣпо вѣрилъ, что такіе чудные глазки, взглядъ которыхъ проникаетъ въ самое сердце, способны понимать его душевный міръ и цѣнить его неосязаемыя богатства: талантъ, умъ и т. п. ерунду...

И какъ жестоко былъ наказанъ поэтъ за свое поэтическое легкомысліе!..

Однажды подъ вечеръ, когда побагровѣвшее солнце уже спряталось за лѣсомъ, а по лугу торопливо побѣжали долговязыя тѣни, когда небеса окрасились чудными пурпуровыми, фіолетовыми и аквамариновыми красками, а на ближайшемъ болотѣ начался шумный пиръ лягушекъ, — поэтъ размечтался о счастьи... Да,

онъ глубоко убѣдился, что любитъ безповоротно и серьезно, какъ убѣждался много разъ прежде...

Они стояли другъ противъ друга и молчали. Обоимъ было какъ-то неловко. „Конечно, она его понимаетъ и ждетъ“. И Одуванчикъ хотѣлъ, было, уже раскрыть свою душу, разсказать, что давно уже просилось наружу.

Но красавица предупредила его.

— Неужели вамъ не надоѣло одиночество? Вы всегда грустите одинъ-одинешенекъ... Мнѣ, право, жалко бываетъ смотрѣть на васъ!

И онъ вздохнулъ и намѣревался, было, уже отвѣтить, что сердце его давно жаждетъ близости съ другимъ сердцемъ, что оно рвется къ ней, что безъ нея... и т. п. ерунду, которую поэты говорятъ въ такихъ случаяхъ.

— А скажите, мосье Одуванчикъ, гдѣ вы служите?

— Мм... Я... Я не служу... Я свободный художникъ и выше этого званія никогда не желалъ бы имѣть!..

— Свободный художникъ!.. Какъ это мило! И что же хорошо оплачивается ваше мѣсто? Сколько вы получаете въ мѣсяцъ?..

— Я?..

Одуванчикъ потерялся. До сихъ поръ онъ еще никогда не считалъ, сколько получаетъ.

— Это не служба, это только мое призваніе.

— Такъ, значитъ, вы безъ мѣста?

Чудные глазки моргнули, и мелодичный голосокъ звонко расхохотался.

— Вы—большой чудакъ!—насмѣшливо проговорилъ нѣжный голосъ, и съ ногъ до головы глазки осмотрѣли поэта. Потомъ ихъ взоры встрѣтились, и въ это мгновеніе онъ разрѣшилъ ту тайну, которая скрывалась въ бездонной глубинѣ чарующихъ глазокъ... И глубина перестала для него быть глубокой: его взоръ проникъ до самаго дна, и тамъ онъ увидалъ обыкновенную грязь и тину...

И разлетѣлись вдребезги всѣ его поэтическія грезы, разсѣялось, какъ дымъ, чарующее обаяніе красоты, показались смѣшными мечты о брачномъ пирѣ при фосфорическихъ огняхъ изъ „Ивановскихъ червячковъ“ и подъ звуки стройныхъ соловьиныхъ пѣсенъ...

— Нѣтъ, видно, прелестные глазки не созданы для свободныхъ художниковъ,—подумалъ поэтъ и печально поникъ головою... А глазки уже не смотрѣли больше на бѣднаго поэта ласково и одобрительно.

Впрочемъ, и самъ поэтъ Одуванчикъ не долго горевалъ: онъ снова предался созерцанію прекраснаго, придя къ старому выводу, что истинное счастіе только въ этомъ и заключается...

А время летѣло съ быстротою птицы. Дни проходили за днями.

И когда въ одно прекрасное утро поэтъ взглянулъ въ зеркало свѣтлаго ручейка, то, къ своему ужасу, увидѣлъ себя совершенно плѣшивымъ.

3 6105 002 453 681

3460
C5
1903
V.3

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D DEC 12 1998

DEC 3 1998

MAY 30 1999

MAY 3 5 1999

JUN 27 1999

JUL 13 1999